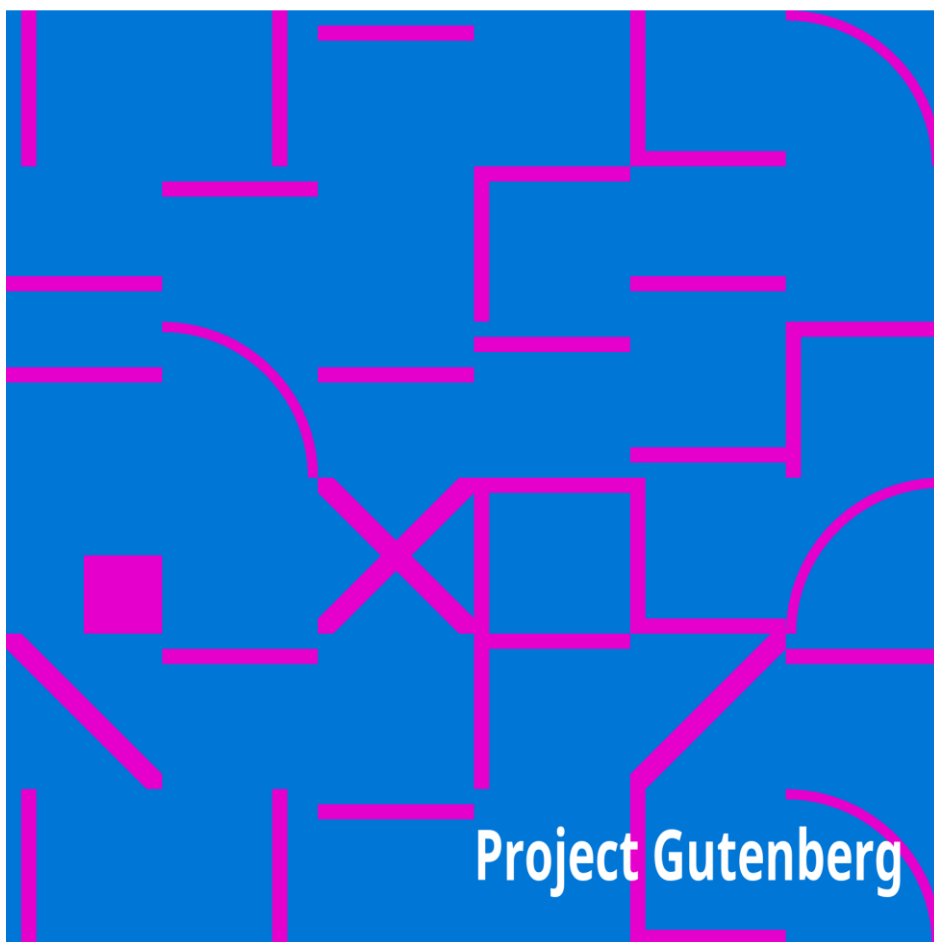


Жизнь Цицерона, том I

Энтони Тrollop

The Life of Cicero, Volume One

Anthony Trollope



The Project Gutenberg eBook of The Life of Cicero, Volume One.

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинстве других частей света без каких-либо затрат и почти без ограничений. Вы можете копировать ее, дарить или повторно использовать в соответствии с условиями Лицензии Проекта Гутенберга, прилагаемой к этой электронной книге или в режиме онлайн на сайте www.gutenberg.org. Если вы находитесь не в Соединенных Штатах, то перед использованием этой электронной книги вам придется ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь.

Название: Жизнь Цицерона, том первый

Автор: Энтони Тrollop

Дата выхода: 1 сентября 2005 [eBook #8945]

Последнее обновление: 18 апреля 2011 г.

Язык: Английский

Кредиты: Подготовлено Тедом Гарвином, Марком Д'Хуге, Стивом Уитакером и команда распределенной корректуры PG Online

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА GUTENBERG EBOOK THE LIFE OF CICERO, VOLUME ONE ***

THE LIFE OF CICERO

BY ANTHONY TROLLOPE

В ДВУХ ТОМАХ

Том I.

НЬЮ-ЙОРК

ХАРПЕР И БРАТЯ, ФРАНКЛИН СКВЕР

1881

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА I.

	СТРАНИЦА
ГЛАВА I.	
Введение.	7
ГЛАВА II.	
Его образование.	40
ГЛАВА III.	
Состояние Рима.	62
ГЛАВА IV.	

Его ранние выступления - Секст Росций Америн - Его доходы.	80
ГЛАВА V.	
Цицерон как квестор.	107
ГЛАВА VI.	
Веррес.	125
ГЛАВА VII.	
Цицерон как эдил и претор.	162
ГЛАВА VIII.	
Цицерон как консул.	184
ГЛАВА IX.	
Катилина.	206
ГЛАВА X.	
Цицерон после консульства.	240
ГЛАВА XI.	
Триумвират.	264
ГЛАВА XII.	
Его изгнание.	297

ПРИЛОЖЕНИЯ.

Приложение А.	335
Приложение Б.	340
Приложение С.	342
Приложение D.	345
Приложение Е.	347

ЖИЗНЬ ЦИЦЕРОНА.

Глава I.

ВВЕДЕНИЕ.

Я сознаю некоторую дерзость, пытаюсь таким образом изложить дальнейшую жизнь Цицерона, которую, как я чувствую, мне, вероятно, не удастся оправдать никакими новыми сведениями; и по этой причине предприятие, хотя оно давно обдумывалось, было отложено, чтобы оставить его тем, кто придет после меня, чтобы сжечь или опубликовать, как они сочтут нужным; или, если оно появится при моей жизни, я могу стать черствым, в силу возраста, к критике.

Проект моей работы возник еще до жизни мистера Форсайта и был впервые предложен мне, когда я просматривал предыдущие тома "Истории римлян под властью империи" декана Меривейла. В статью о работе декана, подготовленную для одного из тогдашних журналов, я вставил апологию характера Цицерона, которая оказалась слишком длинной в качестве эпизода и была отброшена мной не без сожаления. С тех пор тема росла в моей оценке, пока не достигла своих нынешних размеров.

Я могу с уверенностью сказать, что моя книга возникла из любви к этому человеку, из искреннего восхищения его добродетелями, его поведением, а также его дарами. Должен признать, что обсуждении его характера с литераторами, к чему я был склонен, я не нашел ни одного, кто бы полностью согласился со мной. Они признавали его интеллект и трудолюбие; но в его патриотизме они сомневались, его искренность оспаривали, а его мужество отрицали. Возможно, мне следовало бы промолчать в ответ на их вердикт; но я скорее был вынужден обратиться к публике и попросить ее согласиться со мной против моих друзей. Дело не только в том, что Цицерон затронул все вопросы, интересующие людей, и придал новое изящество всему, чего коснулся; что как оратор, ритор, эссеист и корреспондент он был превосходен; что как государственный деятель он был честен, как защитник бесстрашен, а как правитель непорочен; что он был человеком, чья интеллектуальная часть всегда преобладала над телесной; что вкус его был превосходен, мысли правильны и предприимчивы, а язык совершенен. Все это уже было сказано о нем другими биографами. Плутарх, который знаком нам так же хорошо, как если бы он был англичанином, и Миддлтон, который очень любил свой предмет, и последний мистер Форсайт, который изо всех сил старался быть честным по отношению к нему, могли бы сказать нам достаточно. Но в Цицероне была человечность, что-то почти христианское, шаг вперед из мертвой интеллектуальности римской жизни в моральное восприятие, в естественные привязанности, в домашний уют, филантропию и сознательное исполнение долга, которые, кажется, еще не были полностью оценены. Возлюбить ближнего своего, как самого себя, до появления учения Христа - вот чего должен был достичь человек; и то, что он сделал это, я утверждаю для Цицерона и надеюсь донести до сознания тех, кто найдет время для чтения еще одной книги, добавленной к постоянно пополняющимся томам о римской эпохе.

У некоторых последних писателей, оставивших Цицерону его литературные почести, была привычка лишать его тех, которые были оказаны ему как политическому деятелю. Маколей, выражая свое удивление плодовитостью Цицерона, а затем переходя к восхвалению "Филиппиков" как сенаторских речей, говорит о нем, что он, похоже, возглавлял "умы второго порядка". Мы не можем судить об этой классификации, не зная, скольких великих людей мира можно отнести к первому рангу. Но Маколей, вероятно, хотел выразить мнение, что Цицерон уступает, потому что сам он никогда не доминировал над другими, как это делали

Марий, Силла, Помпей, Сезар и Август. Но что, если Цицерон стремился к благу других, в то время как эти люди желали власти только для себя?

Декан Меривейл говорит, что Цицерон был "сдержанным и благопристойным", а другой священнослужитель, Сидней Смит, с такой же насмешкой высмеивает премьер-министра тори за то, что тот был верен своей жене. Ничто так не открыто для горькой шутки, как эти скромные добродетели, благодаря которым нельзя добиться никакого блеска, а можно только сохранить счастье многих. И декан заявляет, что сам Цицерон не был, за исключением одного или двух раз, и то "лишь на мгновение, реальной властью в государстве". Люди, узурпировавшие власть, такие как те, кого я называл, были "реальной властью", и именно против такой узурпации Цицерон всегда был готов выступить. Мистер Форсайт, который, как я уже говорил, старается быть беспристрастным, говорит нам, что "главным недостатком морального облика Цицерона было отсутствие искренности". Отсутствия искренности не было. Недостаток искренности был. Кто из людей был свободен от подобных обвинений с тех пор, как история и жизнь людей были впервые написаны? Моей целью будет показать, что, хотя в этом даре он был менее чем богоподобен, по сравнению с другими людьми, окружавшими его, он был искренен, как и самоотречен; что, если хорошо изучить эти две добродетели, будет указывать на одну и ту же фазу характера.

Но из всех современных писателей мистер Фрауд был наиболее суров к Цицерону. Его очерк жизни Сезара - это одно сплошное порицание Цицерона. Наш историк, со всем тем великолепием языка, которым он так отличается, покрыл бедного оратора злословием. Я думаю, что ни один период в жизни Цицерона не был столь трогательным, как тот, когда он колебался, стоит ли ему, служа республике, присоединиться к Помпею перед битвой при Фарсалии или нет. В это время он писал своему другу Аттику различные письма, полные мучительных сомнений в том, чего требовал от него долг перед родиной, дружба к Помпею, верность своей партии и собственное достоинство. Что касается одного из этих отрывков, то г-н Фрауд утверждает, "что Цицерон недавно говорил о том, что дальнейшая жизнь Сезара является позором для государства". "Было также замечено, что он давно подумывал об убийстве как о самом лучшем средстве покончить с ним", ¹ говорит г-н Фрауд. "Было замечено" относится к заявлению, сделанному несколькими страницами ранее, в котором он переводит некоторые слова, написанные Цицероном Аттику. ² "Он считал позором для них, что Сезар жив". Таков его перевод; и в своем негодовании он вкладывает другие слова, как бы в уста своего литературного собрата двухтысячелетней давности. "Почему никто не убил его?" Сами латинские слова добавлены в примечании: "Cum vivere ipsum turpe sit nobis". ³ Горячее негодование так увлекло переводчика, что он упустил сам смысл языка Цицерона. "Когда даже вдохнуть жизнь в такое время - позор для нас!" Именно это имел в виду Цицерон. Мистер Фрауд в предыдущем отрывке приводит еще один отрывок из письма Аттикусу, ⁴ "Cæsar was mortal". ⁵ Таков предполагаемый перевод. Затем г-н Фрауд рассказывает, как Цицерон "с восторгом приветствовал возможное убийство Цезаря", и далее говорит: "Мы читаем эти слова с печалью и в то же время с жалостью". Но Цицерон никогда не мечтал об убийстве Цезаря. Слова отрывка таковы: "Hunc primum mortalem esse, deinde etiam multis modis extinguere posse cogitabam". "Прежде всего я подумал, что этот человек смертен, а затем, что есть сто способов, которыми его можно уложить на лопатки". Все последние авторитеты, как мне кажется, предполагали, что "hunc" или "этот человек" - это Помпей. Я должен был бы сказать, что это доказывается сутью всего письма - одного из самых интересных, когда-либо написанных, поскольку оно рассказывает о работе ума великого человека в особый кризис его жизни, - если бы не знал, что бывшие ученые редакторы предполагали, что имелся в виду Сезар. Но будь то Сезар или Помпей, здесь нет ничего общего с убийством. Речь идет о стабильности республики, говорит Цицерон своему

другу. Когда речь идет о столь великом деле, как может человек беспокоиться о человеке, который может умереть в любой день или перестать иметь значение в результате какого-либо несчастного случая? Цицерон говорит о последствиях того или иного шага со своей стороны. Неужели, говорит он, ради Помпея я обрушу полчища варваров на свою страну, принесу в жертву Республику ради друга, который сегодня здесь, а завтра может уйти? Или ради врага, если читатель считает, что "гунн" относится к Цезарю. Аргумент тот же. Должен ли я рассматривать отдельного человека, когда на кону стоит республика? Мистер Фрауд говорит нам, что читает "эти слова с печалью и в то же время с жалостью". Думаю, так же поступил бы каждый, сочувствуя сомнениям патриота в отношении своего лидера, своей партии и своей страны. Мистер Фрауд поступает так, потому что на основании этих сомнений он делает вывод, что Цицерон готовит убийство Цезаря!

Естественно, что о человеке следует судить по его собственным словам. О человеке, который много говорит и так говорит, что его слова слушают и читают, будут судить именно так. Но не слишком ли многого мы требуем, чтобы, когда на карту поставлен характер человека, его собственные слова были тщательно проверены, прежде чем они будут использованы против него.

Автор биографической заметки о Цицероне в Британской энциклопедии передает потомкам утверждение, что во времена первого триумvirата, когда наш герой противостоял махинациям Цезаря и Помпея против свобод Рима, его можно было купить. Авгурство купило бы его. "Так жалка, - говорит биограф, - была взятка, ради которой он пожертвовал бы своей честью, своими мнениями и государством!" Более язвительной формулировки не было в истории, чтобы персонаж великого человека был выставлен на всеобщее поругание. И на каком основании? Мы бы ничего не узнали о взятке и коррупции, если бы не несколько игривых слов в письме самого Цицерона к Аттику. Он пишет с одной из своих вилл своему другу в Рим и спрашивает о новостях дня: Кто будет новыми консулами? Кто займет вакантное место авгур? Ах, говорит он, они могли бы поймать на эту приманку даже меня;⁶ как он сказал в другой раз, что у него столько долгов, что он годится для мятежника; и еще, как мне сейчас придется объяснить, что он может быть поставлен под сомнение по цинцианскому закону из-за подаренных книг! Это было как раз в тот момент его жизни, когда он отказывался от всех предложений о государственной службе, к которой стремилась его душа, потому что их делал ему Сезар. Именно тогда он отказался от "Вигинтивирата", о котором Квинтилиан упоминает к его чести. Именно тогда он отказался стать лейтенантом Цезаря. Именно тогда он мог бы стать четвертым вместе с Цезарем, Помпеем и Крассом, если бы не считал себя обязанным не служить против Республики. И все же биограф не колеблясь накладывает на него позорное клеймо из-за одного шуточного слова в письме, адресованном другу, наполовину шуточном, наполовину патетическом. Если поступки человека всегда честны, то, конечно, его нельзя обвинять в нечестности на основании какого-то легкого слова, сказанного в доверительном общении. Легкие слова принимаются за серьезные, потому что они встречают взгляд современного критика, облеченный в величие мертвого языка; и таким образом получается, что сам их смысл понимается неправильно.

Мой друг мистер Коллинз в своем очаровательном томике о Цицероне говорит о "тихих уклонениях" от цицероновского закона,⁷ и рассказывает, что письма Цицерона учат нас не доверять его словам, когда он хвастается. Как одно связано с другим? Он не называет никаких тихих уклонений. Мистер Коллинз выдвигает предположение, которое ставит под сомнение честность Цицерона, не имея на то никаких доказательств. Анонимный биограф вообще неверно истолковывает Цицерона. Мистер Фрауд обвиняет Цицерона в предвидении

убийства, основывая свое обвинение на словах, которые он не удосужился понять. Цицерона обвиняют на основании его собственных частных писем. Именно потому, что у нас нет частных писем других людей, их не обвиняют подобным образом. Мировая вежливость требует, не скажу, что требует, определенных отклонений от прямого выражения; и чаще всего они делаются в частных разговорах и в частной переписке. Цицерон соблюдает эти правила; но его послания уже не являются частными, и поэтому он подвергается обвинениям в лживости. Именно потому, что письма Цицерона, написанные исключительно для уединения, были признаны достойными того, чтобы их обнародовали, и были выдвинуты подобные обвинения. Когда несправедливость этих критиков поражает меня, я почти жалею, что письма Цицерона не сохранились.

Поскольку я уже ссылался на свидетельства тех, кто в наши дни выступает против Цицерона, я постараюсь представить читателю свидетельства о его характере, которые давали писатели, в основном из его собственной нации, занимавшиеся его именем в течение ста пятидесяти лет после его смерти - со времен Августа до времен Адриана - периода, который был очень насыщен литературой и в котором имя политического деятеля и литератора, несомненно, стало бы предметом обсуждения. Читатели увидят, на каком языке о нем говорили те, кто пришел после него. Полагаю, они поверят, что если бы мне были известны свидетельства с другой стороны, записи, неблагоприятные для этого человека, я бы их предоставил. Первый отрывок, на который я буду ссылаться, не носит имени Цицерона; и, возможно, я ошибаюсь, воздавая честь Цицерону на основании поэтического отрывка, столь знаменитого, в котором нет прямой аллюзии на него самого. Но мысль о том, что Вергилий в следующих строках говорит о том, как Цицерон успокаивал толпу, поднявшуюся разрушить театр, когда рыцари заняли свои первые места в соответствии с законом Оттона, возникла не у меня. Я привожу строки в переводе Драйдена с примечанием к оригиналу.⁸

"Как когда в смятении поднимается толпа невежественная, Безумны движенья их, и языки их громки, И камни и клейма в грохочущих залпах летят, И все деревенское оружие, что ярость может предоставить; Если же появляется какой-нибудь серьезный и благочестивый человек, Они утишают свой шум и внимают ему; Он трезвыми словами успокаивает их гневное настроение, И утоляет их врожденное желание крови".

Если это не портрет Цицерона по данному случаю, то точное описание его положения и успеха. У нас есть фрагмент Корнелия Непоса, биографа эпохи Августа, в котором он заявляет, что после смерти Цицерона люди должны были сомневаться, кто больше потерял - литература или Республика.⁹ Ливий сказал о нем только, что он будет лучшим писателем латинской прозы, наиболее похожим на Цицерона.¹⁰ Веллий Патеркул, писавший во времена Тиберия, отзывается о достижениях Цицерона с наивысшей почестью. "В этот период, - говорит он, - жил Марк Цицерон, который всем был обязан самому себе; человек из совершенно новой семьи, отличавшийся как способностями, так и чистотой жизни".¹¹ Валерий Максим приводит его в качестве примера всепрощающего характера.¹² Возможно, самая теплая похвала в его адрес принадлежит перу Плиния Старшего, из обращения которого к памяти Цицерона я процитирую лишь несколько слов, поскольку буду более подробно останавливаться на нем, говоря о его консульстве. "Приветствую тебя, - говорит Плиний, - который первым среди людей был назван отцом твоей страны".¹³ Марциал в одном из своих дистихов говорит путешественнику, что если у него будет книга с письмами Цицерона, то ему может показаться, что он путешествует с самим Цицероном.¹⁴ Лукан в своих напыщенных стихах рассказывает о том, как Цицерон осмелился говорить о мире в лагере Фарсалии. Читатель может подумать, что Цицерон не должен был говорить ничего подобного, но Лукан упоминает его со всем почтением.¹⁵ Не Тацит, как я думаю, а некий

автор, чье сочинение *De Oratoribus* было написано примерно во времена Тацита, и чей труд дошел до нас под именем Тацита, сказал нам о Цицероне, что он был мастером логики, этики и физических наук.¹⁶ Все помнят отрывок из Ювенала,

"Sed Roma parentem Roma patrem patriæ Ciceronem libera dixit".

"Рим, даже будучи свободным, объявил его отцом своей страны".¹⁷ Даже Плутарх, который, как правило, говорит о Цицероне с оттенком ревности, заявляет, что он подтвердил предсказание Платона: "Каждое государство будет избавлено от бедствий, если сила удачно соединится с мудростью и справедливостью в одном человеке".¹⁸ Похвалы Квинтилиана в адрес этого человека настолько смешаны с восхищением критика перед героем письма, что я бы не стал упоминать их здесь, если бы не то, что они помогут выяснить, каким было общее мнение о Цицероне в то время, когда он был написан. Он говорит о Демосфене,¹⁹ а затем продолжает: "В отношении Цицерона я также не вижу, чтобы он когда-либо не выполнял долг добропорядочного гражданина. Об этом свидетельствует блеск его консульства, редкая честность его управления провинциями, его отказ от должности при Сезаре,²⁰ твердость его ума во время гражданских войн, не поддаваясь ни надежде, ни страху, хотя эти горести тяжело навалились на него в старости. Во всех этих случаях он делал для Республики все, что мог". Флор, писавший после двенадцати Цесарей, во времена Траяна и Адриана, чье быстрое изложение римских событий трудно назвать историей, в нескольких словах рассказывает, как заговор Катилины был подавлен авторитетом Цицерона и Катона в противовес авторитету Цесаря.²¹ Затем, пройдя в нескольких коротких главах через всю последующую историю Римской империи, он в патетических словах рассказывает о смерти Цицерона. "В Риме было принято вывешивать на ростре головы тех, кто был убит; но теперь город не смог сдержать слез, когда на том месте, откуда горожане так часто слушали его речи, появилась голова Цицерона".²² Таково свидетельство об этом человеке, данное писателями, которые, как можно предположить, знали о нем больше всех, поскольку были ближе всего к его времени. Все они писали после него. Саллюст, который, безусловно, был его врагом, писал о нем при жизни, но никогда не писал в его защиту. Очевидно, общественное мнение запрещало ему это делать. Саллюст никогда не восхвалял Цицерона, как те последующие авторы, чьи слова я цитировал, и был подвергнут упрекам в зависти за то, что слишком легкомысленно отнесся к делам и словам Цицерона в своем рассказе о заговоре Катилины; но то, что он сказал, было в заслугу Цицерону. Люди слышали об опасности, и поэтому, говорит Саллюст,²³ "они задумали доверить консульство Цицерону. Ведь до этого вельможи завидовали и считали, что консульство будет осквернено, если оно достанется *новому человеку*, каким бы выдающимся он ни был. Но когда пришла опасность, зависть и гордость должны были уступить". Затем он заявляет, что Цицерон произнес против Катилины самую блестящую и в то же время полезную для республики речь. Это была слабая похвала, но, исходящая от Саллюстия, который порицал бы, если бы мог, она столь же красноречива, как и любой панегирик. Сохранился отрывок, приписываемый Саллюстию, полный яростных оскорблений в адрес Цицерона, но сейчас никто не представляет, что его написал Саллюстий. Он называется "Декламация Саллюста против Цицерона" и несет в себе внутреннее доказательство того, что он был написан в более поздние годы. Она пригодилась кому-то, чтобы подделать притворные инвективы между Саллюстом и Цицероном, и здесь она заслуживает внимания прежде всего потому, что дает Диону Кассию основание для самых жестких слов, которые он сказал в адрес оратора.²⁴

Дион Кассий был греком, писавшим в царствование Александра Севера, более чем через два с половиной века после смерти Цицерона, и он, несомненно, достаточно зло отзывается о нашем герое. Что послужило особой причиной ревности с его стороны, сейчас, вероятно,

не узнать, но о характере его ненависти можно судить по приведенному в примечании отрывку, который настолько нецензурен, что его можно вставить только под завесой его собственного языка.²⁵ Среди прочих нелепостей Дион Кассий говорит о Цицероне, что в последние годы жизни он бросил молодую жену, моложе себя на сорок лет, чтобы без помех наслаждаться обществом другой дамы, которая была старше его почти на столько же, на сколько моложе его жена.

Теперь я спрашиваю, приведя столь убедительное свидетельство, не о характере этого человека, а о том, как его оценивали те, кто вскоре после его смерти оказался в его собственной стране; показав, как я полагаю, что показал, что к его имени всегда относились с особым достоинством и уважением не только любители старой Республики, но и приспешники Империи; обнаружив, что те, кто имел дело с его именем, никогда не обвиняли его ни в неискренности, ни в трусости, ни в нечестности, разве я не вправе сказать, что те, кто в более поздние времена обвинял его, должны были показать свой авторитет? Авторитет они всегда находили в его собственных словах. Они полагались именно на его собственные свидетельства против себя - на его собственные свидетельства, а иногда и на свои собственные догадки. Когда нам говорят о его трусости, ведь эти его человеческие колебания, как человеческие, так и человеческие, были обнажены перед нами, когда они дрожащими пальцами вырывались из его груди! Он трус для критиков, потому что они писали, не давая себе времени вникнуть в истинный смысл его собственных слов. Если бы мы знали только его поступки, а не слова - как он противостоял судьям на суде Верреса, с каким мужеством он встретил ответственность за свои поступки во времена Катилины, как он присоединился к Помпею в Македонии из чувства долга, как он бросил вызов Антонию, когда вызов Антонию был чреват смертью, - тогда мы не называли бы его трусом! Его осуждают из его собственных уст. Тогда, конечно, его слова должны быть поняты. Королева Кристина в одной из своих сентенций говорит о нем, что "Цицерон был единственным трусом, который был способен на великие поступки". Королева Швеции, чьи фразы никогда не стоят многого, достаточно хорошо знает свою историю, чтобы понять, что поступки Цицерона были благородными, но не понимает значения слов настолько, чтобы извлечь из выражений самого Цицерона их истинное значение. Самый храбрый из нас, если он занимает высокое положение, должен много сомневаться, прежде чем он сможет узнать, чего потребует от него истинная храбрость; и эти сомнения человек слова будет выражать, если ему будет дан *единомышленник*, такой, как Цицерон в Аттикусе.

В связи с биографией мистера Форсайта я должен, отдавая должное и ему, и Цицерону, процитировать один отрывок из этой работы: "Пусть те, кто, подобно де Квинси,²⁶ Моммзену и другим, пренебрежительно отзываются о Цицероне и так щедро восхваляют Цезаря, вспомнят, что Цезаря никогда не мучила совесть". Именно здесь мы находим то продвижение почти до христианства, о котором я говорил, и то превосходство ума, которое делает Цицерона самым подходящим для любви из всех римлян.

Человеку трудно понять, что такое совесть, даже для своих личных целей, если он ставит под сомнение всякую веру в будущую жизнь. Почему человек должен поступать правильно, если не ради награды здесь или в будущем? Почему что-то должно быть правильным или неправильным? Стоики пытались преодолеть эту трудность, заявляя, что если человек сможет победить все свои личные желания, он станет счастливым, а значит, достигнет единственной цели, к которой человек может рационально стремиться. В школе было много ученых, но, вероятно, ни одного верующего. Нормального грека или римлянина может удержать от этого закон, который означает страх наказания, или мнение соседей, которое означает бесчестье. Он мог осознать, что комфорт сочетается с невинностью, а болезнь и

нужда - с похотью и жадностью. В этом случае совесть почти не нужна - едва ли для нее найдется место. Но когда приходило честолюбие со всеми возможностями, которые предоставляли случай, дерзость и ум - как это было с Силлой, Сезаром и Августом, - тогда ничто не могло сдержать человека. Для такого человека не существовало иного права, кроме его власти, и иного зла, кроме противодействия ей. Его жестокость или его милосердие могли быть больше или меньше, в зависимости от того, насколько сильна была его убежденность в полезности того или иного оружия для господства над людьми. А может быть, в его сердце текла кровь, которая делала расправу над горожанами приятным развлечением или мучительным процессом; но совести у него не было. У человека, о котором мы сейчас расскажем, совесть была сильна. В его порой сомнительных блужданиях в поисках политической мудрости, в тех умственных лабиринтах, которые называют неискренностью, мы увидим, как он, если хорошенько вникнем в его поступки, пытался понять, на какую сторону ему следует встать в поисках своего долга - на ту или на эту. Может ли он надеяться на возвращение к тому положению вещей, которое он считал хорошим для своей страны, придерживаясь Сезара или Помпея? Мы видим, как работает его совесть, и, вспоминая мечту Сципиона, убеждаемся, что в нем действительно было осознание будущей жизни.

При обсуждении характера человека нет столь плодотворного пути для ошибок, как проведение жесткой и быстрой линии. Нас привлекают важные моменты, и, видя их отчетливо, мы делаем поспешные выводы, как будто на каждой точке есть фонарь, с помощью которого нам непременно покажут природу берега. Так оно и будет, если мы примем за свет только ту часть берега, которую он освещает. Но говорить, что человек неискренен, потому что колеблется в том или ином затруднении, что он трус, потому что боится определенных опасностей, что он нечестен, потому что уклонился, что он лжец, потому что ему приписали неправдивое слово, - это значит полагать, что вы знаете все побережье, потому что вам определили один выступающий мыс. Тот, кто так высказывается о характере человека, либо не знает человеческой природы, либо ищет камни, которыми можно поколотить своего врага. "Он солгал! Он солгал!" Как часто в наших собственных политических соревнованиях мы слышим этот возглас с нотками триумфа! А если он лгал, то как часто он говорил правду? А если говорил, то сколько тех, кто по чистой невинности в этом вопросе имеет право бросить в него камень на ? А если и говорил, то разве мы не знаем, как ложь сходит с языка человека, не помышляющего о лжи? В своих самых упорных попытках добиться правды человек может так выражаться, что, когда впоследствии ему придется сравнить свои недавние и прежние слова, он вряд ли сможет сказать даже самому себе, что не солгал. Именно по характеру всей жизни человека мы должны судить о том, лжец он или нет.

Ожидать, что в шестьдесят лет человек будет таким же, каким был в тридцать, - все равно что полагать, что солнце в полдень будет украшено теми же цветами, что и на закате. А есть люди, чей интеллект установлен на столь тонком стержне, что колебание ветра момента, которого не чувствуют более грубые умы, будет нести их по кругу с быстротой, которая сбивает с толку обычный глаз. Человек, который утром ясно видел свой долг с этой стороны, до наступления вечера узнает его с другой; и снова, и снова, и снова флюгер будет кружиться. Бывает, что инструмент оказывается слишком тонким для нашего повседневного использования. Нам не нужны часы, чтобы отбивать минуты, или стекло, чтобы определять мгновенные изменения в атмосфере. Может оказаться, что для работы мира, грубой работы - а ни одна работа не бывает столь грубой, хотя и не бывает столь важной, - как та, что обычно попадает в руки государственных деятелей, - инструменты, крепкие по фактуре и в силу своей грубости не подверженные внезапным впечатлениям, могут оказаться самыми лучшими.

Именно это мы имеем в виду, когда говорим, что скрупулезный человек непрактичен в политике. Но один и тот же человек может в разные периоды своей жизни и в разные дни в один и тот же период быть скрупулезным и беспринципным, непрактичным и практичным, в зависимости от обстоятельств, которые могут на него повлиять. В какой-то момент в нем возобладает правило простой честности. "Fiat justitia, ruat cœlum". "Si fractus illabatur orbis Impravidum ferient ruinæ". В другой раз он увидит необходимость компромисса ради блага многих. Он скажет себе, что если нельзя сделать все самое лучшее, то нужно довольствоваться следующим лучшим. Он должен пожать руку несовершенному, как лучшему способу поднять себя с плохого пути к лучшему. Повинуясь своей совести, он будет терпеть и, не находя другого способа достичь добра, будет делать даже зло, чтобы из него вышло добро. "Rem si possis recte; si non, quocunque modo rem". В суждениях о таком персонаже, как этот, твердая и жесткая линия непременно заведет нас в заблуждение. В суждениях о Цицероне такая жесткая и быстрая линия слишком часто используется. Он был человеком, необычайно чувствительным ко всем влияниям. Следует признать, что он был флюгером, вращающимся на более тонком стержне, чем те, на которых обычно работают государственные деятели. У него не было ни твердой цели Сезара, ни непоколебимого принципа Катона. Это были люди, закованные в латунь, чьи чувства ничто не могло задеть. Они не страдали от тех внутренних трепетов сердца, сомнительных стремлений, человеческих желаний, острых симпатий, мечтаний о чем-то лучшем, чем этот мир, и страхов перед чем-то худшим, которые делают Цицерона столь похожим на воспитанного, отполированного джентльмена наших дней. Именно потому, что в нем так мало от римлянина, он является самым привлекательным из всех римлян.

И все же можно сомневаться, что при всех тонкостях его характера его карьера была такой, чтобы оправдать дальнейшее жизнеописание на таком расстоянии. "Что Гекуба для него, или он для Гекубы?" - спрашивает Гамлет, когда обнаруживает, что его будоражит страсть, вложенная в голый пересказ старой истории странствующим игроком. Что такое Цицерон для нас, живущих в девятнадцатом веке, чтобы мы заботились о нем настолько, чтобы прочитать еще одну книгу? Тем не менее, Гамлет был тронут, потому что история была хорошо рассказана. В искренности, приятности, патриотизме и трагизме жизни этого человека есть все, что может тронуть читателя - если бы только история была написана о нем так, как он ее чувствует! Трудность заключается именно в этом, а не в характере рассказа.

Период жизни Цицерона был самым переломным моментом в истории цивилизации и государства. В тот период мир, каким мы его знаем, представлял собой Рим. Греция утонула. Македонская империя была разрушена. Королевства Востока - завоеванные или даже покоренные, как Парфия, - были варварскими, находились за пределами культурного круга, и попасть в него можно было только с помощью оружия и влияния Рима. Во время карьеры Сезара была завоевана Галлия, а Британия и то, что было известно о Германии, считались частично завоеванными. Покорение Африки и Испании было практически завершено. Письменность также была введена или вводилась. Язык Цицерона был настолько совершенен, что нам кажется, будто он был почти неизбежным результатом давно сложившегося искусства латинской литературы. Но на самом деле он - самый ранний из прозаиков своей страны, с произведениями которых мы знакомы. Если не считать Варро, который родился всего за десять лет до него, ни один более ранний латинский прозаик не оставил нам больше, чем имя; а единственное произведение, по которому Варро вообще известен, - *De Re Rustica* - было написано после смерти Цицерона. Лукреций, чей язык мы считаем почти архаичным, настолько он не похож на язык Вергилия или Горация, родился через восемь лет после Цицерона. В значительной степени Цицерон сформировал латинский язык или произвел те манипуляции с ним, которые сделали его таким изящным в

прозе и таким мощным проводником мысли. То, что он взял у любого латинского писателя, он взял у Теренция.

И именно тогда в Риме произошли те непредусмотренные изменения в форме правления, которые привели к самозванной диктатуре Сезара и узурпации империи Августом. В старом Риме были цари. Затем их имя и власть стали одиозными - имя для всех граждан, несомненно, но власть только для знати, которая не одобряла верховенства одного человека. Короли были упразднены, и была установлена олигархия под названием Республика, с ее ежегодными магистратами - сначала двумя консулами, затем преторами и другими, а иногда и диктатором, когда какое-нибудь событие требовало сосредоточения временной власти в одних руках для определенной цели. Республика не была республикой в нашем понимании этого слова, да и не стала ею никогда, хотя в ней постоянно шла вечная борьба за передачу власти от знати к народу, в которой всегда что-то отдавалось или делалось вид, что отдается внешнему классу. Но о свободе еще так мало знали, что, когда каждый плебей пробивался на высокий пост и становился одним из магистратов государства, он становился и одним из олигархической фракции. Продолжалась борьба, с определенной долей добросовестности с каждой стороны, от имени так называемой Республики - но все же борьба за власть. Она стала настолько продолжительной, что внешняя война иногда рассматривалась как благо, поскольку она концентрировала энергию государства, которая была расколота и использовалась двумя секциями - каждой против другой. Вероятно, вторжение галлов в прежние времена, а затем и вторая Пуническая война, угрожавшие в своих инцидентах могуществу Рима, придали Республике ту жизненную силу, благодаря которой она просуществовала так долго. Затем появились Марий, господствовавший с одной стороны как народный трибун, и Силла, аристократ, с другой, и гражданские войны между ними, в которых то один, то другой одерживал верх над Римом. То, как умер Марий, и Силла царствовал три кровавых, роковых года, выходит за рамки нашей цели - за исключением того, что Цицерон видел проскрипции Силлы и сделал свое первое публичное выступление, пылая гневом на тиранию диктатора.

Читая историю Рима, начиная с первых консулов и заканчивая смертью Цезаря и Цицерона, а также свершившимся деспотизмом Августа, мы приходим к мысли, что республика не могла быть спасена никакими усилиями, да и не стоила спасения. Исходя из нашего собственного представления о свободе, мы склонны думать, что в римской форме правления было так много тирании, так мало настоящей свободы, что она была недостаточно хороша, чтобы заслужить наши симпатии. Но она была успешной. Она создала великий народ и породила широко распространенную цивилизацию. Римское гражданство было для тех, кто находился за его пределами, самым достойным из того, что можно было получить. Карьера, которая привела великих римлян из состояния квестора к креслу эдила, претора и консула, а затем к богатым наградам провинциального правления, считалась высшей, открытой для человеческих амбиций. Предполагалось, что цари Греции, Востока и Африки по своему рангу уступают римскому проконсулу, и это величие сохраняло видимость свободы и было совместимо с верой в величие римского гражданина. Когда Цицерон начал свою работу, консулы, преторы, эдилы и квесторы все еще выбирались голосами граждан. Несомненно, были и подкуп, и запугивание, и обращение к грязным искусствам агитации, с которыми мы, англичане, так хорошо знакомы; но во времена Цицерона свободные жители Рима мужского пола, как правило, проводили тех кандидатов, к которым они примыкали. Соль их республиканской теории еще не была полностью вымыта из их практики.

Любовь к абсолютной свободе в том виде, в каком она культивируется в современных расах, не существовала во времена Цицерона. Похоже, даже до его груди, как бы гуманны и

человеколюбивы ни были его симпатии, никогда не доходила мысль о том, что человек как человек должен быть свободен. Половина жителей Рима были рабами, и этот институт был настолько привит в жизни того времени, что римлянину никогда не приходило в голову, что рабы как тело должны быть освобождены. Сами рабы, хотя они и не были, как те рабы, которых мы видели, другого цвета кожи и предположительно низшей расы, сами, похоже, не вынашивали такой идеи. Их то и дело подстрекали к подневольным войнам, но в целом восстаний в поисках свободы не было. Римской теории свободы не противоречило и то, что люди, над которыми они господствовали, хотя и не были обращены в рабство, все же находились за пределами гражданской свободы. Это благо было предназначено для римского гражданина, и только для него. Стало обычным делом принимать в гражданство жителей других городов и других территорий. Слава сохранялась не в целом для Рима, а для римлян.

Таким образом, хотя правительство было олигархическим, а сама суть свободы игнорировалась, было нечто, что стояло во имя свободы и могло понравиться настоящему патриоту. С подлинным патриотизмом Цицерон любил свою страну, и, начиная свою государственную жизнь в конце тирании Силлы, он мог мечтать о том, что прежнее положение вещей может быть восстановлено и республиканская форма правления сохранится. В Риме по-прежнему должны быть два консула, чьи ежегодные выборы защищали бы государство от царской власти. И в то же время власть должна оставаться в руках лучших слоев населения - "оптиматов", как он их называл, - что уберет город от демократии и революции. Ни один человек не доверял народному мнению больше, чем Цицерон, и не стремился к аристократической власти. Но ни в одном, ни в другом направлении он не искал личного обогащения, помимо того, которое могло бы прийти к нему в соответствии с законом и при соблюдении старой формы правления.

Именно потому, что он был истинным патриотом, потому что его мечты о республике были благородными мечтами, потому что он намеревался делать добро в общественных делах, потому что он заботился о чести Рима и римлян, а не потому, что он был или не был "реальной силой в государстве", его память все еще достойна записи. К этому добавлялся интеллект, остроумие и эрудиция человека, которые, во всяком случае, были высочайшими. И потом, хотя сейчас мы видим, что его усилия были обречены на провал в силу характера окружающих его обстоятельств, он был так близок к успеху, так часто находился на грани успеха, что романтика его истории возвышает нас до области личных симпатий. Как нас трогают стремления и страдания героя в трагедии, так и нас будоражат усилия, удача и, наконец, падение этого человека. В жизни Цицерона есть живописность, которой нет в рассказах о Мариусе или Силле, о Помпее или даже о Сезаре, - живописность, во многом порожденная теми самыми сомнениями, которые были причислены к его неискренности.

Его руки были чисты, когда руки всех окружающих были осквернены жадностью. Как бесконечно возвышался Цицерон над своим временем, когда у него были чистые руки! В наши дни человек бережет себя от проказы, потому что быть прокаженным - значит быть презируемым окружающими. Развивающаяся мудрость учит нас, что такая проказа - это плохо, и общественное мнение принуждает нас к этому. В этом, надо полагать, есть и уроки христианства. А может быть, дело в том, что человек наших дней, обладая всеми этими преимуществами, не сохраняет себя в чистоте - так много заблуждающихся, что общественное мнение, кажется, почти дрожит на чаше весов. Даже у нас та или иная мерзость становится допустимой, потому что так много людей ее совершают. У римлян во времена Цицерона жадность, питавшаяся ростовщичеством, грабежом и нечестностью, была настолько признанным условием жизни, что потакание ей не влекло за собой никакого

позора. Но Цицерон, обладавший внутренним взором, который видел дальше, чем глаза других людей, разглядел всю подлость этого пятна. О нем также говорили, что он не был полностью свободен от упреков. Высказывалось предположение, что он принимал плату за свои услуги в качестве адвоката, хотя такая плата была незаконной. Это обвинение основано на знании того, что другие адвокаты позволяли себе платить, и на убеждении, что Цицерон не мог бы жить так, как он жил, не имея дохода из этого источника. А еще о нем рассказывают, что, хотя в определенный период своей жизни он много сделал для подавления ростовщичества и одновременно возбудил вражду своего могущественного друга, он мог бы сделать больше. По мере того как мы будем продолжать, истории об этих вещах будут рассказываться; но сам характер обвинений против него доказывает, насколько высоко он возвышался в честности над нравами своего времени. Обсуждая характеры людей, мало кто задумывается о грабежах Силлы, займах Цезаря, денежном кредитовании Брута или накопленном богатстве Красса. Грабить провинции, доводить ростовщичество до грани личного рабства, принимать взятки за лживые суждения, брать незаконную плату за услуги, считавшиеся безвозмездными, было настолько в обычае благородных римлян, что мы едва ли ненавидим его бесчестную жадность, когда она проявляется в обычной жизни. Но поскольку честность Цицерона была ненормальной, мы сначала удивляемся, а затем, заподозрив небольшие отклонения, встаем против него в гневе, потому что среди римской распушенности он не был полным пуританином в денежных делах.

Цицерон известен нам в трех великих качествах: государственного деятеля, адвоката и литератора. Сочетание этих занятий характерно для наших дней, так же как и для его времени. Сезар добавил их все к великой работе своей жизни как солдата. Но Цицерону было дано принять участие во всех тех политических битвах, начиная с отставки Силлы и кончая первым восстанием молодого Октавия, которые велись от имени республики и завершились ее падением. Его политическая жизнь содержит историю перехода Рима от республиканского к императорскому правлению; а Рим тогда был миром. Если бы не было Августа, Нерона, а затем Траяна, вся Европа была бы другой. Усилия Цицерона были направлены на то, чтобы предотвратить приход Августа или Нерона, или необходимость Траяна; и, читая о них, мы чувствуем, что, если бы успех был возможен, он бы преуспел.

Как защитник он был непревзойденным. От него пришло ощущение - правильное или неправильное - что адвокат, выступая за своего клиента, должен отдать делу этого клиента не только всю свою образованность и все свое остроумие, но и все свое сочувствие. Для меня удивительно, и скорее интересно, чем красиво, видеть, как Цицерон может полностью отбросить свою собственную личность и принять чужую в любом деле, какое бы оно ни было, которое он взял на себя. Следует, однако, помнить, что в старом Риме различие между речами, произнесенными по политическим и гражданским или уголовным делам, не было столь же четко обозначено, как у нас, а также то, что читатель, имеющий дошедшие до нас речи того или иного характера, представленные ему в одном томе, склонен путать публичные и те, которые, возможно, можно назвать частной работой человека. В наиболее известных нам речах Цицерон работал как общественный человек для общественных целей, и пылкость, можно сказать, ярость, его энергии в деле, которое он отстаивал, была обусловлена его общественными устремлениями. Оратории, дошедшие до нас в трех комплектах, некоторые из которых были только опубликованы, но никогда не произносились - "Против Верреса", "Против Катилина" и "Филиппики против Антония" - все были такого рода, хотя первая из них касалась ведения уголовного дела против одного человека. О них я расскажу в свою очередь, но здесь я упоминаю их для того, чтобы, по возможности, побудить читателя начать изучение характера Цицерона как адвоката со справедливого представления о целях этого человека. Он, несомненно, хотел блистать, как и современные

адвокаты: он хотел подняться; он хотел, если хотите, сделать свое состояние не путем получения гонораров, а путем распространения своего авторитета на более влиятельных людей благодаря своему имени. Несомненно, он взялся за это и другие дела, не заботясь об истинности или честности дела, и, когда он это делал, использовал всю свою энергию для плохого дела, как и для хорошего. Кажется, что в этой связи против него выдвигается особое обвинение, как будто сам факт того, что он взялся за работу без оплаты, налагает на него дополнительное обязательство не браться за дело, которое само по себе не является честным. У нас адвокат, как известно, делает это за вознаграждение. Цицерон, как известно, делал это для достижения какого-то политического смысла или для поддержания дружбы, которая была политически важна. Я ничего не говорю против современной практики. Здесь не место для подобных рассуждений. Я также не утверждаю, что с точки зрения правил абсолютного добра и зла Цицерон был прав; но он был прав, во всяком случае, не меньше, чем современный барристер. И в достижении тех высоких целей, в которых он работал, его направлял только свет его собственного гения. Когда мы сравниваем одежду дикарей с нашей собственной, их бусы, вату, солому и волокна с нашими панталонами, мы признаем прогресс цивилизации и развитие техники. Для нас нет ничего удивительного в том, что африканский принц не должен быть так же безупречно одет, как молодой человек на Пикадилли. Но, сравнивая нравы нашего времени с периодом до Христа, мы, кажется, забываем, что от нас следует ожидать большего, чем от тех, кто жил две тысячи лет назад.

Есть некоторые из тех ходатайств, речей, произнесенных Цицероном от имени или против обвиняемой стороны, из которых мы можем узнать о римской жизни больше, чем из любого другого оставшегося нам источника. Многие мы можем почерпнуть у Теренция, многие у Горация, кое-что у Ювенала. Вряд ли найдется латинский автор, у которого внимательный читатель не почерпнул бы некоторые детали римских обычаев. Письма Цицерона сами по себе очень плодотворны. Но красивые вещи поэтов - не совсем факты, как и горькие вещи сатирика; и хотя письма человека к его другу могут быть правдивыми, такие письма, которые дошли до нас, будут продуктами больших умов и будут принадлежать небольшому и особому классу. Боюсь, что Ньюгейтский календарь того времени расскажет нам больше о господствовавшем тогда образе жизни, чем письма леди Мэри У. Монтагу или Горация Уолпола. Из ораций против Верреса мы узнаем, как жители провинции жили в условиях тирании, которой их подвергали; а из речей в защиту Секста Америна и Аулуса Клуенция мы узнаем кое-что об ужасах римской жизни - не в Риме, конечно, но в пределах римского гражданства.

Однако именно как литератор Цицерон заслуживает самого высокого уважения. Ему посчастливилось, что большая часть написанного им сохранилась для будущих веков. Его труды не погибли, как труды его современников, Варро и Гортензия. Но это произошло по двум причинам, которые не зависели от Фортуны. Он сам верил в их ценность и принимал меры для их защиты; и те, кто жил в его время и в последующие эпохи, придерживались того же мнения и проявляли ту же заботу. Ливий говорил, что для того, чтобы хорошо писать по-латыни, писатель должен писать, как Цицерон; а Квинтилиан, первый из латинских критиков, повторил нам утверждение Ливия.²⁷ В языке Цицерона есть сладость, переходящая в само звучание, так что правильно прочитанные отрывки самими своими каденциями очаровывают слух слушателей, не знающих языка. Евлогия никогда не была такой счастливой, как его. Однако хвалебные речи безвкусны по сравнению с инвективами. Оскорбления Цицерона ужасны. Пусть любопытный читатель обратится к диатрибам против Ватиния, одного из креатур Цезаря, и к диатрибам против несчастного проконсула Пизона, или к его нападкам на Габиния, который был консулом вместе с Пизоном в год изгнания Цицерона. В филиппиках есть замечательные фрагменты, касающиеся частного характера

Антония; но слова, которые он использует против Габиния и Пизона, превосходят все, что я знаю в науке инвектив. Юний не мог приблизиться к нему; и даже Маколей, хотя в некоторых отрывках он был очень горьким, не позволял себе той широты, которую римский вкус и римские нравы допускали по отношению к Цицерону.

Можно, однако, сказать, что необходимость биографических мемуаров для литератора отнюдь не пропорциональна совершенству его работы. Александр мало известен нам, потому что мы так мало знаем о деталях его жизни. Сесара мы знаем много, потому что, по правде говоря, мы с ним знакомы. Но Шекспир, о чьих абсолютных делах мы почти ничего не знаем, не был бы ближе или дороже, если бы у него был Босуэлл, чтобы писать его ежедневный портрет. По правде говоря, литератор постоянно пишет свою собственную биографию. О том, что у него на уме, он сам заявляет всему миру; и если он умеет так писать, что всему миру будет интересно читать то, что написано, то никакие другие мемуары, пожалуй, не понадобятся. Сам я никогда не жалел о тех подробностях жизни Шекспира, которые мог бы сообщить нам Босуэлл того времени. Но личность Цицерона как литератора, кажется, особенно нуждается в разъяснении. Его письма теряют свое главное очарование, если не известен характер человека и происшествия его жизни. Его эссе по риторике - письменные уроки, которые он оставил по ораторскому искусству, - являются постоянным комментарием к его собственной карьере оратора. Большинство его речей требуют для своего понимания знания обстоятельств его жизни. Трактаты, которые мы знаем как его "Философию" - работы, которые были наиболее ошибочно представлены, будучи сгруппированными под этим названием, - могут быть прочитаны с пользой только в свете его собственного опыта. Существует два отдельных класса его так называемой философии, при описании которых слово "философия", если оно вообще используется, должно иметь два разных смысла. В одной группе трактатов он обрабатывает, не с самыми удачными, на мой взгляд, усилиями, учение старых греческих школ. Таковы "Тускуланские размышления", "Академики" и "De Finibus". Читая их, не обращая внимания на идиосинкразию писателя, студент может подумать, что Цицерон сам был философом такого рода. Но на самом деле он был последним из людей, кто прислушивался к своим словам.

"Врачам стоического меха".

Цицерон был человеком, полностью человеческим во всех своих сильных и слабых сторонах. Сидеть в стороне от мира и быть счастливым среди презрения, нищеты и безвестности, с капустой и коркой, абсолютно довольствуясь абстрактной добродетелью, не дано, наверное, ни одному человеку; но ни для кого это не было менее доступно, чем для Цицерона. Для него имбирь всегда был горяч во рту, будь то пряность политики, или светского удовольствия, или интеллектуального предприятия. Когда он был глубоко опечален смертью дочери, когда на какое-то время Республика была для него мертва, а общественная и частная жизнь были одинаково черны, он жаждал работы. Тогда он брался за свои греческие рукописи и развлекал себя, как мог, сочиняя то так, то эдак. Это был вопрос, над которым его интеллект мог работать, а его энергия была занята, хотя теория его жизни никоим образом не была в нем затронута. Такова была одна категория его философии. Другой состоял из кодекса морали, который он создал для себя по собственным убеждениям, сформированным на основе окружающего мира, и который проявился в таких сочинениях, как *De Officiis* - о жизненных обязанностях; *De Senectute*, *De Amicitia* - о старости и дружбе, и тому подобных, которые были не только предназначены для использования, но и до сих пор полезны любому мужчине или женщине, которые будут их изучать. Есть и другие, трактаты о праве, правительстве и религии, которые в целях введения в заблуждение школьников были

объединены под названием "Философия Цицерона". Но все они, независимо от того, к какому классу они относятся, требуют понимания характера человека, прежде чем ими можно будет наслаждаться.

По этим причинам я считаю, что в жизни, характере и творчестве Цицерона есть события, которые должны сделать его биографию интересной. Его история наполнена энергией, успехом, пафосом и трагедией. А еще это история человека, такого, какими бывают люди сейчас. Ни одно дитя Рима не любило свою страну сильнее, но ни одно дитя Рима не было так мало похоже на римлянина. Оружие и сражения были для него отвратительны, как и для нас. Но оружие и сражения были наслаждением для римлян. Его высмеивали в свое время и высмеивают с тех пор за аллитерирующее звучание строки, в которой он заявляет о своих чувствах:

"Cedant arma togæ; concedat laurea linguæ".

Но сказанное было очень хорошо, и тем лучше, что это мнение было адресовано людям, среди которых слава оружия все еще преобладала над достижениями интеллектуальной деятельности. Величайшими людьми были те, кто выделился из общей массы и вышел за рамки своего времени, увидев почти божественным зрением вещи, которые до сих пор были скрыты от толпы. Таким был Колумб, когда прокладывал свой путь через Западный океан; такими были Галилей и Бэкон; таким был Пифагор, если наши представления о нем вообще верны. Таким был и Цицерон. Веку, в котором живут такие люди, не дано их узнать. Если бы их возраст даже узнал их, они бы не перешагнули свой возраст, как они это делают.

Оглядываясь на него сейчас, мы видим, насколько он был похож на христианина - настолько похож, что в главном мы почти не видим разницы. Он мог любить другого, как самого себя - настолько, насколько это вообще возможно для человека; и он учил такой любви как доктрине.²⁸ Он верил в существование единого верховного Бога.²⁹ Он верил, что человек воскреснет и будет жить вечно на небесах.³⁰ Я сознаю, что не могу сильно продвинуть этот взгляд на характер Цицерона, цитируя отдельные отрывки из его работ - слова, которые сами по себе могут быть истолкованы в том или ином смысле, и которые следует читать, каждый в своем контексте, прежде чем можно будет понять их должное значение. Но, возможно, мне удастся объяснить читателю, что именно я надеюсь сделать на следующих страницах и почему я берусь за работу, которая должна быть трудоемкой и в которой, по мнению многих, нет никакой необходимости.

Я бы не хотел, чтобы подумали, что, рассказав о стремлениях и убеждениях Цицерона, я намерен представить его как безупречную личность в истории. Он был слишком человеком, чтобы быть совершенным. Те, кто любит холодное безразличие, могут воспевать Катона как идеал. Цицерон был честолюбив и часто беспринципен в своих амбициях. Он был любящим мужем и любящим отцом; но в конце жизни он мог безвозвратно поссориться со своей старой женой, мог боготворить свою дочь, а сына погубил потворством. Он был очень велик, когда говорил о своей стране, что делал очень часто; но он был почти так же мал, когда говорил о себе, что делал так же часто. В денежных делах он был честен - для того времени, в котором он жил, удивительно честен; но в словах он не всегда был столь же надежен. Он умел льстить там, где не любил. Я признаю, что это так, хотя и не соглашусь без протеста, что слово "неискренний" следует применять к нему, описывая его характер в целом. Он был настолько искреннее других, что протест необходим. Если в человеке всего пять футов одиннадцать дюймов в обуви, разве его можно назвать пигмеем? И все же заявить, что в нем полных шесть футов, было бы неправдой.

Цицерон был суетливым человеком. Если ему нужно было что-то сделать, он хотел это сделать, и пусть будет, что будет. "Cedant arma togæ". Если что-то и было написано на его сердце, то только это. И все же ему нравилась идея возглавить армию, и он жаждал военного триумфа. Письма и литературная жизнь были ему дороги, и все же ему нравилось думать, что он может жить на равных с такими молодыми людьми Рима, как Целий. Насколько я могу судить, он не заботился о роскошной еде и питье, но при этом хотел, чтобы его причисляли к гурманам и гурманкам своего времени. Он был так мало похож на "стоических врачей", о которых он с удовольствием писал, когда ему нечем было заняться, что не мог спокойно переносить любые невзгоды. Стоик должен быть закален против "рогаток и стрел возмутительной фортуны". Его профессия - быть равнодушным к "бичам и презрениям времени". Ни один человек не был менее закаленным или более подверженным страданиям от бичей и кнутов. Найдутся те, кто считает, что готовность к таким страданиям - это не по-мужски, или что страдалец должен во что бы то ни стало скрывать свои муки. Цицерон этого не делал. О своей славе или позоре, о радости или горе, о любви или ненависти, о надеждах или отчаянии он говорил открыто, как и обо всем на свете. Так не поступали герои, о которых мы читаем; но так поступали люди, с которыми мы живем.

Каким человеком он был бы для лондонской жизни! Как бы он наслаждался своим клубом, собирая новости дня из всех уст, а сам, казалось, передавая их во все уши! Как популярен он был бы в "Карлтоне", как слушали бы его люди, обсуждая каждый большой или маленький кризис! С каким превосходством он сидел бы на скамье казначейства, с какой непререкаемостью, с каким остервенением, с какой радостью нападал бы на правительство с противоположных мест! Как переполнена была бы его стойка приглашениями на обед! С каким восторгом графини среднего возраста того времени предавались с ним легким интеллектуальным флиртом, а девушки того времени, гордившиеся тем, что получили его автограф, еще больше гордились тем, что касались губ великого оратора своими! А страницы журналов пестрели бы небольшими эссе из-под его пера! "Видели ли вы статью нашего Цицерона о сельском хозяйстве? Этот счастливчик, редактор --, уговорил его сделать это в прошлом месяце!" "Конечно, вы читали статью Цицерона о душе. Епископы не знают, в какую сторону повернуть". "Значит, политическая статья в *"Квартале"* - это статья Цицерона?" "Конечно, вы знаете, что художественная критика в *"Таймс"* в этом году - дело рук Талли?" Но это, скорее всего, было бы отклонением. А потом какие письма он будет писать! С грошовой почтой вместо разъездных гонцов в его распоряжении, с пером вместо воска и палочек, а может быть, с инструментом-писателем и личным секретарем, он бы ответил на все вопросы и решил все трудности. Он бы так изобиловал интеллектуальной плодовитостью, что люди не знали бы, восхищаться его способностями к самовыражению или порицать его сдержанность.

На следующих страницах обязательно будет много сказано о сочинениях Цицерона, поскольку моя цель - обрисовать литературного деятеля, а также политика. При этом возникает трудность в том, в какой последовательности следует читать его произведения. Вряд ли будет соответствовать поставленной цели говорить обо всех них либо в хронологическом порядке, либо отдельно по темам. Речи и письма явно требуют первого подхода, поскольку относятся к тому моменту времени, когда они были произнесены или написаны. Его трактаты, будь то по риторике, или по греческой философии, или по управлению государством, или по морали, лучше всего рассматривать отдельно, как относящиеся в очень малой степени, если вообще относящиеся, к тому периоду, в который они были написаны. Поэтому я постараюсь представить оратории и письма в соответствии с периодами, а его сочинения рассматривать после этого самостоятельно.

Несколько слов я должен сказать о римских именах, которые я использовал в своем повествовании. В этом отношении есть некоторая трудность, поскольку практика моего детства частично изменилась. Раньше Помпей был Помпеем, не краснея. Теперь, когда речь идет об эрудированном английском писателе, он, как правило, Помпей. Жители Африки - "черномазый" мир - думаю, имеют к этому какое-то отношение. Но ни один эрудированный английский писатель не является Теренцием Теренцием, или Вергилием Вергилием, или Горацием Горацием. Если бы я заговорил о Ливии, эрудированный английский слушатель подумал бы, что я ссылаюсь на древнего автора, задолго до нашего дорогого историка. И хотя сейчас мы говорим о Сулле вместо Силлы, мы вряд ли рискнем назвать Антония вместо Антония. Учитывая все это, я счел за лучшее придерживаться привычных для себя звуков; и как я свободно и без страха говорю о Вергилии, Горации и Овидии, так же я буду говорить и о Помпее, и об Антонии, и о Катилине. Что касается Суллы, то перемена была настолько полной, что я должен допустить, что старое имя полностью восстановилось.

О разделении лет в периоде, о котором я собираюсь писать, принято сообщать двумя разными эпохами, отсчитываемыми от строительства Рима, A.U.C., или "anno urbis conditæ", и от рождения Христа, которое мы обозначаем английскими буквами b.c., before Christ. При работе с Цицероном писатели (как французские, так и английские) нередко добавляли третий способ датировки, относя его поступки или высказывания к году его возраста. Есть и четвертый способ, распространенный среди римлян, - указывать особые годы, называя консулов или одного из них. "O nata mecum consule Manlio", - говорит Гораций, обращаясь к своему бочонку с вином. Это действительно был официальный способ обозначения даты, и, вероятно, его можно рассматривать как свидетельство того, насколько сильным было впечатление в сознании римлян о преемственности консулов. На следующих страницах я буду использовать дату до н. э., которая, хотя, возможно, и менее проста, чем A.U.C., дает современному читателю более четкое представление о сопоставлении событий. Читатель, конечно, знает, что Христос родился в царствование Августа, а распяли его в царствование Тиберия; но он, возможно, не знает, не прибегая к некоторым расчетам, насколько далеким от эпохи Христа был 648 год до нашей эры, в котором родился Цицерон. К этому я добавлю на полях год жизни Цицерона. Ему было почти шестьдесят четыре года, когда он умер. Поэтому я буду называть этот год шестьдесят третьим годом его жизни.

Глава II.

ЕГО ОБРАЗОВАНИЕ.

В Арпинуме, на реке Лирис, маленьком ручейке, который Гораций заставил сладко звучать в наших ушах,³¹ в вилле, расположенной недалеко от города, родился Марк Туллий Цицерон, за 106 лет до Рождества Христова, 3 января, по тогдашнему календарю. В том же году родился Помпей Великий. Арпинум - государство, принятое в римское гражданство, лежащее между Римом и Капуей, как раз в пределах той части Италии, которая до недавнего времени называлась Неаполитанским королевством. Район, из которого он происходил, также известен тем, что в нем родился Марий. Цицерон происходил из конной семьи, что означает то же самое, как если бы мы говорили между собой, что человек родился джентльменом и не более того. Во времена Цицерона "eques" или рыцарь становился или мог стать таковым, имея определенный доход. Титул не давал никакого благородства. Плебей, как вы понимаете, не мог стать патрицием, хотя и мог стать благородным - как это сделал Цицерон. Патриций должен был родиться таким - должен был происходить из

пурпура определенных семей.³² Цицерон родился плебеем, конным, и стал знатным, когда его причислили к сенаторам благодаря его службе среди высших магистратов Республики. Поскольку никто из его семьи не служил до него, он был "novus homo", новым человеком, и поэтому не был благородным, пока сам не достиг благородства. Благородным считался тот, кто мог назвать среди своих предков консула, претора или эдила. С Цицероном дело обстояло иначе. Поскольку он занимал все эти должности, его сын был знатным, как и сыновья и внуки его сына, если таковые были.

У римлян было принято иметь три имени, и у нашего Цицерона их было три. Маркус, похожее на христианское имя одного из нас, было у его деда и отца и перешло к его сыну. Это имя, называемое prænomen, давалось ребенку, когда он был младенцем, с церемонией, не похожей на наше крещение. Выбор таких имен у римлян был невелик, так что начальная буква, как правило, подсказывает привыкшим к литературе, что имеется в виду. А. означает Aulus, Р. - Publius, М. - Marcus, С. - Caius, хотя был и Снеус. Фамилия Туллий была родовой. О роде Туллиев, к которому принадлежал Цицерон, мы не знаем никаких подробностей. Плутарх рассказывает, что о его отце ничего не говорили, кроме крайностей: одни утверждали, что он был фуллером, другие - что он происходил от князя, управлявшего Вольсками. Мы не видим причин, по которым он не мог происходить от князя, а также быть фуллером. Однако несомненно, что он был джентльменом, не лишенным образования, со средствами и желанием дать своим детям лучшее образование, которое мог дать Рим или Греция. Третье имя или фамилия, Цицерон, принадлежала одной из ветвей рода Туллиев. Это третье имя, как и многие другие наши фамилии, обычно происходило от какой-то особенности места, профессии или случайного обстоятельства. Говорили, что одного из предков звали Цицероном от "цицера", вики, потому что его нос был отмечен фигурой этого овоща. Вероятнее всего, семья процветала за счет выращивания и продажи лианы. Как бы то ни было, фамилия была хорошо известна еще до времен оратора. Матерью Цицерона была некая Гельвия, о которой нам говорят, что она была родовита и богата. Сам Цицерон никогда не упоминает о ней - как, если я правильно помню, и Гораций не упоминает о своей матери, хотя так часто говорит о своем отце. Младший сын Гельвии, Квинт, рассказывает о своей матери в письме, которое случайно сохранилось среди тех, что писал наш Цицерон. Она имела привычку запечатывать пустые кувшины для вина, как и полные, чтобы можно было сразу узнать, что кувшин опустошен хитроумным рабом. Об этом рассказывается в письме Тиро, любимого раба Маркуса, о котором мы будем часто слышать в ходе нашей работы. Как старуха запечатывала кувшины, хотя в них не было вина, так и Тиро должен писать письма, хотя ему нечего в них сказать. Такой аргумент, взятый из старых знакомых историй о детстве и родителях, можно было использовать только по отношению к близкому и знакомому другу. Таким другом для двух братьев был Тиро, хотя и раб. Римская жизнь допускала подобные дружеские отношения, хотя раб был настолько полным созданием хозяина, что его жизнь и смерть находились в его распоряжении. Это почти все, что известно об отце и матери Цицерона, а также о его старом доме.

Однако есть достаточно доказательств того, что отец уделял большое внимание воспитанию своих сыновей - если в случае с Марком не было никаких доказательств, когда результат так очевиден в делах всей его жизни. В очень раннем возрасте, вероятно, когда ему было восемь лет - в год, когда родился Юлий Цезарь, - он был отправлен в Рим и там посвятил себя учебе, которая с самого начала должна была подготовить его к общественной жизни. Миддлтон говорит, что отец жил в Риме вместе с сыном, и на основании этого утверждает, что он был человеком с большими средствами. Но Цицерон не дает никаких оснований для этого. Более вероятно, что он жил на в доме некоего Акулео, который женился на сестре его матери и имел сыновей, с которыми Цицерон получил образование. О его талантах и способностях

рассказывают такие истории, какие мы привыкли слышать о многих выдающихся людях - нередко из их собственных уст. О нем говорят, что он был близок с двумя великими адвокатами того времени, Луцием Крассом и Марком Антонием, оратором, дедом будущего врага Цицерона, которого мы знаем как Марка Антония. Цицерон говорит о них так, как будто видел их и много говорил о них в юности. Он рассказывает нам анекдоты о них;³³ , как они оба привыкли скрывать свое знание греческого языка, полагая, что люди, в глазах которых они стремились блистать, будут думать о них больше, если они будут казаться довольствующимися лишь римскими словами и римскими мыслями. Но близость была, вероятно, такой, какую сейчас испытывает ребенок, увидевший и услышавший великого человека и, возможно, взявший его за руку. Он сам очень доступным языком рассказывает о своих занятиях, когда ему было семнадцать, восемнадцать и девятнадцать лет. Он говорит об ораторах того времени³⁴ : "Когда мне больше всего хотелось послушать этих людей, изгнание Котты было для меня большим горем. Я страстно желал слушать тех, кто остался, ежедневно писал, читал и делал заметки. Не довольствовался я и практикой в ораторском искусстве. В следующем году Варий должен был уйти, осужденный собственным постановлением; и в это время, занимаясь гражданским правом, я уделял много времени Квинту Сцеволе, сыну Публия, который, хотя и не брал учеников, но, разъясняя вопросы тем, кто с ним советовался, оказывал большую помощь студентам. В следующем году, когда консулами были Сулла и Помпей, я узнал, что такое ораторское искусство, слушая Публия Сульпиция, который, будучи трибуном, ежедневно произносил речи. Именно тогда Филон, глава Академии, вместе с другими ведущими философами Афин, был обращен в бегство войной с Митридатом и прибыл в Рим. Ему я посвятил всего себя, возбужденный удивительным желанием овладеть греческой философией. Но хотя разнообразие занятий и их величие совершенно очаровали меня, мне показалось, что сама суть судебного заключения была полностью подавлена. В том же году погиб Сульпиций, а в следующем были жестоко убиты три наших величайших оратора - Квинт Катул, Марк Антоний и Кай Юлий". Это было время гражданской войны между Марием и Суллой. "В том же году я брал уроки у Моло Родийского, великого оратора и мастера ораторского искусства". В следующей главе он рассказывает, что проводил время и у стоика Диодата, который впоследствии жил с ним и умер в его доме. Перед нами достоверное описание того, как Цицерон проводил время в юности в Риме, которое мы можем свести, вероятно, к абсолютной истине, уменьшив количество превосходных степеней. Однако нет ничего более примечательного, чем признание в том, что, хотя его молодой интеллект радовался тонкой аргументации греческих философов, его ясный здравый смысл ссорился с их неспособностью прийти к какому-либо положительному выводу.

Но еще до того, как наступили дни настоящей учебы, он предался юношеской поэзии. Говорят, что в четырнадцать лет он написал поэму под названием "Понтий Глаукс". Это, несомненно, был перевод с греческого, как и большинство стихотворений, которые он написал, и многие части его прозаических трактатов.³⁵ Плутарх говорит нам, что поэма была в его время, и заявляет, что "с течением времени, когда он изучил это искусство с большим прилежанием, на него стали смотреть как на лучшего поэта, а также величайшего оратора в Риме". Английские переводчики Плутарха говорят нам, что их автор был равнодушным судьей латинской поэзии, и в доказательство этого утверждают, что он хвалил Цицерона как поэта, причем хвалил "вопреки мнению Ювенала". Но Ювенал не высказал никакого мнения о поэзии Цицерона, просто процитировав одну неудачную строчку, отмеченную эгоизмом, и заявив, что Цицерону никогда бы не отрубили голову, если бы его филиппики были такого же характера.³⁶ Свидетельства Квинта Муция Сцеволы относительно поэзии Цицерона, пожалуй, лучше, поскольку он, во всяком случае, имел возможность ее читать. Он верил, что "Марий", поэма, написанная Цицероном в похвалу своему великому соотечественнику, будет

жить для потомков вечно. История о пророчестве старика дошла до нас, несомненно, от самого Цицерона и вложена в уста его брата;³⁷ но если бы она была неправдой, ее бы опровергли.

Глаука был переводом с греческого, сделанным мальчиком, вероятно, в качестве урока для мальчиков. Нередко такие упражнения хранятся у родителей, а может быть, и у самого исполнителя, и не исключено, что впоследствии они вновь появляются в виде оригинальных сочинений. Лорд Броам рассказывает в своей автобиографии, что в ранней юности он пробовал писать английские эссе и даже художественные рассказы.³⁸ "Одна из них, - говорит он, - уцелела в корзине для макулатуры, и, возможно, моим читателям будет интересно узнать, какого рода сочинения я писал в тринадцатилетнем возрасте. Моя повесть называлась "Мемнон, или Человеческая мудрость" и была написана следующим образом". Далее мы имеем честный перевод романа Вольтера "Мемнон", или "Человеческая мудрость". Старый лорд, собирая бумаги для своей автобиографии, совсем забыл о Вольтере и думал, что сам сочинил эту историю! Ни сам Цицерон, ни от его имени не рассказывают ничего столь абсурдного.

Здесь можно сказать то, что можно сказать о поэзии Цицерона в целом. До нас дошло немного, и по этому немногому признано, что он не достиг имени великого поэта; но то, что он сделал, было слишком велико по объему и слишком хорошо по своей природе, чтобы пройти мимо него без внимания. Его судьба была такова, что его скорее высмеивали, чем читали как создателя стихов, и эта насмешка исходила от двух строк, которые я уже цитировал. Самый длинный отрывок, который мы имеем, взят из "Феноменов Арата", которые он перевел с греческого, когда ему было восемнадцать лет, и в которых описываются небесные тела. Она известна нам по выдержкам из нее, приведенным самим автором в его трактате *De Naturâ Deorum*. Надо признать, что это не самое приятное чтение. Но переводная поэзия редко бывает приятной, и вряд ли ее смог бы сделать таковой на такую тему восемнадцатилетний юноша. Мариус был написан через два года после этого, и у нас есть отрывок из него, процитированный автором в его *De Divinatione*, содержащий несколько прекрасных строк. В нем рассказывается о битве орла и змеи. Цицерон, несомненно, взял его (но не перевел) из отрывка Илиады, lib, xii, 200, который был передан Поупом с меньшим, чем у него, огнем, а лордом Дерби - без особого очарования. Вергилий воспроизвел картину со свойственным ему изяществом слов. Его версия была переведена Драйденом, но лучше, возможно, Кристофером Питтом. Вольтер перевел строки Цицерона с большой силой, а Шелли воспроизвел ту же идею с гораздо большей длиной в первом канто "Восстания ислама", взяв ее, вероятно, у Цицерона, а если нет, то у Вольтера.³⁹ Осмелюсь предположить, что из девяти версий цicerоновская - лучшая, и это самое мелодичное произведение латинской поэзии, дошедшее до нас. Через двадцать семь лет после этого, когда Лукреций, вероятно, работал над своей великой поэмой, Цицерон написал рассказ о своем консульстве в стихах. Из него мы имеем пятьдесят или шестьдесят строк, в которых автор описывает небесные предупреждения, которые были даны относительно дел его собственного консульского года. История не самая счастливая, но строки гармоничны. Часто стоит поинтересоваться, как поэзия стала такой, какая она есть, и как возникли измененные и усовершенствованные фазы стихосложения. Проследить нашу мелодию от Чосера до Теннисона - дело, представляющее интерес для всех нас. О Цицероне как о поэте можно сказать, что он нашел латинское стихосложение грубым, а оставил его гладким и музыкальным. Теперь, когда мы продолжаем знакомиться с жизнью и прозаическими произведениями оратора, нам нет необходимости возвращаться к его поэзии.

Нам известны имена многих мастеров, под руководством которых Цицерон получал образование. Среди прочих предполагается, что в раннем возрасте он был доверен Архиасу. Архиас был греком, родившимся в Антиохии, который посвятил себя письму и, если верить словам Цицерона, выступая в качестве адвоката, превзошел всех своих соперников того времени. Как и многие другие образованные греки, он добрался до Рима и был принят в семью Лукулла, с которым путешествовал, сопровождая его даже в войнах. Он стал гражданином Рима - так уверяет нас Цицерон - и воспитателем Цицерона. Чем Цицерон был ему обязан, мы не знаем, но Цицерону Архий был обязан бессмертием. Его право на гражданство оспаривалось, и Цицерон, выступая от его имени, произнес одну из тех коротких речей, которые совершенны по мелодии, по вкусу и по языку. В ней есть отрывок, в котором, выступая от имени столь превосходного профессора искусства, он поет дифирамбы литературе в целом. Я не знаю слов, написанных в похвалу книгам, более убедительных и более ценных. "Другие виды отдыха, - говорит он, - не принадлежат ни всем временам года, ни всем возрастам, ни всем местам. Эти занятия питают нашу молодость и радуют старость. Они украшают наше процветание и дают приют и утешение нашим бедам. Они очаровывают нас дома и не мешают, когда мы находимся за границей. Они ложатся с нами в постель. Они путешествуют с нами. Они сопровождают нас, когда мы убегаем за город".⁴⁰ Вероятно, Архиас что-то сделал для него, направив его вкус, и был за это щедро вознагражден. Что касается других занятий, мы знаем, что его обучал юриспруденции Сцевола, и он рассказывал нам, что слушал Красса и Антония. В шестнадцать лет он прошел через церемонию снятия своего мальчишеского платья, тоги *prætexta*, и предстал в тоге *virilis* перед претором, тем самым подтвердив свое право заниматься мужскими делами. В шестнадцать лет работа по воспитанию *не* была закончена - не больше, чем у нас, когда юноша в Оксфорде становится "совершеннолетним" в двадцать один год; он не был поставлен вне власти своего отца, "*patria potestas*", от которой никакой возраст не мог освободить сына; но, тем не менее, это была очень радостная церемония, и она была должным образом исполнена Цицероном в разгар его обучения у Сцеволы.

В восемнадцать лет он вступил в армию. Доктрина разделения труда, которая сейчас, у нас, проходит через все занятия и доминирует над ними, еще не была донесена до умов римлян тогдашними политэкономами. Было хорошо, чтобы человек умел многое - особенно если он собирался стать лидером людей, он должен был быть и воином, и оратором. Дослужиться до консула, будучи сначала квестором, эдилом и претором, было путем славы. С момента установления консульского правления особой обязанностью консулов Рима было руководство армиями Республики. По мере того как войны становились все более многочисленными, часть обязанностей перешла к преторам, а в последнее время полководцев стали сопровождать квесторы. Губернаторы провинций, проконсулы или пропреторы с проконсульскими полномочиями, всегда совмещали военную и гражданскую власть. Военное искусство, таким образом, было необходимой частью образования человека, предназначенного для службы государству. Цицерон, хотя и стремился следовать своим вкусам, прилагал все усилия, чтобы оградить себя от такой работы и остаться в Риме, а не быть отправленным за границу в качестве губернатора, в конце концов был вынужден отправиться туда, где в той или иной степени необходимо было сражаться, и в самый печальный период своей жизни появился в Италии со своими ликторами, требуя почестей триумфа. В предвкушении такой карьеры, несомненно, по совету друзей, он теперь отправился посмотреть если не на битву, то, во всяком случае, на войну. Уже говорилось о том, что гражданство Рима было предоставлено некоторым небольшим итальянским государствам, расположенным вокруг, а другим - нет. Отсюда, конечно, возникла ревность, которая усилилась из-за того, что те, кто был исключен, чувствовали, что они призваны поставлять солдат в Рим, так же как и те, кто был включен. Тогда образовалось объединение

итальянских городов, поклявшихся исправить нанесенный им ущерб. Их целью была борьба с Римом, чтобы получить римское гражданство; так возникла первая гражданская война, отвлекшая империю. Помпей Страбон, отец Помпея Великого, был тогда консулом (89 г. до н. э.), и Цицерон был послан наблюдать за кампанией под его началом. Марий и Сулла, два римлянина, которым суждено было вскоре омыть Рим кровью, еще не ссорились, хотя их довели до ненависти друг к другу - Мария ревностью, а Суллу - соперничеством. В этой войне они оба служили под началом консулов, а Цицерон - у Суллы. Мы ничего не знаем о его действиях в той кампании. Нет известий даже о таком несчастье, как, случившемся с Горацием, когда он отправился сражаться и вернулся с поля боя "реликтивным, но не пармуловым".

Рим растоптал мятежные города и в конце концов принял их в гражданство. Но, вероятно, самым важным и печально известным результатом итальянской войны стал глубокий антагонизм между Марием и Суллой. Сулла прославился своей удачей в этом деле, в то время как Марий, ставший великим солдатом Республики и шесть раз бывший консулом, не смог снискать новых лавров. Рим впадал в анархию, которая была причиной всей славы и всего позора Цицерона, и был открыт для владычества любого солдата, чья хватка могла быть наименее щепетильной и наиболее сильной. Марий, после целого ряда романтических приключений, с которыми мы не должны здесь связывать себя, одержал победу лишь незадолго до своей смерти, в то время как Сулла отправился со своей армией, разграбил Афины, разграбил Малую Азию и заключил соглашение с Митридатом, хотя и не покорил его. С целью, несомненно, покорить Митридата, но, возможно, и с более серьезной целью - выгнать его из Рима, ему была доверена армия с согласия марианской фракции.

Затем наступили те три года, когда Сулла был на Востоке, а Марий умер, о которых Цицерон говорит как о периоде мира, когда студент мог учиться в Риме. "Triennium fere fuit urbs sine armis".⁴¹ Это, должно быть, 86, 85 и 84 годы до Рождества Христова, когда Цицерону был двадцать один, двадцать два и двадцать три года; и именно об этом периоде, а не о более ранних годах он говорит, рассказывая нам о своих занятиях с Филоном, Моло и Диодатом. Как бы ни был он развит в литературе, написав одну поэму - или переведя ее - в четырнадцать лет, а другую - в восемнадцать, он отнюдь не спешил приступить к делу своей жизни. Говорят, что в девятнадцать лет он написал трактат о военной тактике, что, несомненно, означает, что он упражнялся в переводе такого сочинения с греческого. Этого, к счастью, не сохранилось. Но у нас есть четыре книги "Риторика к Гереннию" и две книги "Изобретения", относящиеся к двадцатому и двадцать первому годам его жизни, которые опубликованы вместе с его работами и начинают серию. Из всего, что мы имеем от него, они, пожалуй, меньше всего заслуживают прочтения; но поскольку они относятся или относились к числу его признанных трудов, о них следует сказать несколько слов в соответствующем месте.

Успех образования Цицерона, вероятно, стал общим местом среди учителей латинских школ и латинских писателей. В диалоге *De Oratoribus*, приписываемом Тациту, рассказ об этом приводится Мессалой, когда он восхваляет ораторов прежней эпохи. "Мы хорошо знаем, - говорит Мессала, - ту книгу Цицерона, которая называется "Брут", в последней части которой он описывает нам начало и ход своего собственного красноречия и, так сказать, воспитание, на котором оно было основано. Он рассказывает, что изучал гражданское право под руководством К. Муция Сцеволы; что исчерпал философию, изучая философию Академии под руководством Филона и стоиков под руководством Диодата; что, не довольствуясь этими трактатами, он путешествовал по Греции и Азии, чтобы охватить весь мир искусства. Так и получилось, что в произведениях Цицерона нет недостатка ни в знаниях музыки, ни в

грамматике, ни в каких-либо других либеральных достижениях. Он понимал тонкость логики, цель этики, следствия и причины вещей". Далее оратор объясняет, чего можно ожидать от такого обучения. "Так вот, мои добрые друзья, так вот, от приобретения многих искусств и от общего знания всех вещей красноречие, которое действительно достойно восхищения, создается во всей своей силе; ибо сила и способность оратора не должны быть ограничены, как у представителей других профессий, определенными узкими рамками; Но тот человек является истинным оратором, кто способен говорить на любые темы с достоинством и изяществом, чтобы убедить тех, кто слушает, и восхитить их, в манере, соответствующей природе рассматриваемого предмета и удобству времени."⁴²

Можно представить, что мы читаем слова самого Цицерона! Затем оратор в этом воображаемом разговоре продолжает рассказывать нам, как далеко зашли дела в его время, указывая в то же время, что зло, о котором он сожалеет, проявилось еще до Цицерона, но было подавлено, насколько закон мог его подавить, благодаря его вмешательству. Он говорит о тех школах риторики, в которых греческие профессора этого искусства давали уроки за деньги, которые были дурными по своей природе и, как видно, не были эффективны даже для поставленной цели. "Но теперь, - продолжает Мессала, - наши мальчики попадают в школы тех лекторов, которых называют "реторами", возникшие еще до Цицерона, к неудовольствию наших предков, что явствует из того, что, когда Красс и Домиций были цензорами, им было приказано закрыть свою школу дерзости, как называет ее Цицерон. Наши мальчики, как я уже собирался сказать, попадают в эти лектории, и трудно сказать, что больше вредит - атмосфера места, или ребята, среди которых их бросают, или характер преподаваемых уроков. В самом заведении нет ни дисциплины, ни уважения. Все, кто туда приходит, одинаково невежественны. Мальчики среди мальчиков, парни среди парней, произносят и слушают только те слова, которые им вздумается. Сами их упражнения, по большей части, бесполезны. В моде два вида этих "речений", называемых "suasoriæ" и "controversiæ", - склонных, можно сказать, убеждать или опровергать. "Из них "suasoriæ", как более легкие и требующие меньшего опыта, даются маленьким мальчикам, а "controversiæ" - большим парням. Но - о боже, что это за жалкие сочинения!" Затем он рассказывает нам о темах, выбранных. Изнасилование, кровосмешение и прочие ужасы подвергаются декламации мальчиков, чтобы они научились быть ораторами.

Затем Мессала объясняет, что в те последние времена - то есть в его дни - под властью деспотичных князей по-настоящему крупные темы не разрешается обсуждать публично, признавая, однако, что эти крупные темы, хотя и предоставляют прекрасные возможности для ораторов, не приносят пользы государству в целом. Но именно так, говорит он, Цицерон стал тем, кем он был, который не стал бы популярным, если бы защищал только П. Квинтия и Архия и не имел ничего общего с Катилиной, или Милоном, или Верресом, или Антонием, показывая, между прочим, как велика была репутация той речи, Pro Milone, с которой мы должны будем иметь дело дальше.

Трактат становится несколько запутанным, часть его, вероятно, была утеряна. Неизвестно, из чьих уст прозвучали последние слова. Он заканчивается рапсодией в пользу императорского правления - подходящей, конечно, для времени Домициана, но совсем не похожей на Тацита. Однако, восхваляя деспотизм, он заявляет, что красноречие может быть сохранено только благодаря порокам, которые деспотизм подавил. "Наша страна, действительно, пока она сбивалась с пути в своем управлении, пока она разрывалась на части партиями, ссорами и раздорами, пока не было мира на Форуме, согласия в Сенате, умеренности на судебном месте, почтения к письму, контроля над магистратами, могла похвастаться, без сомнения, более сильным красноречием".

Из того, что нам рассказывают о Цицероне, а не из того, что мы слышим от него самого, мы можем составить представление о характере его образования. С ранних лет его ум был устремлен на то, чтобы сделать что-то благородное, и он отдался всем видам обучения. Кажется, Маколей сказал о нем, что идея покорения "omne scibile" - понимания всех вещей, доступных человеческому интеллекту, - стояла перед его глазами, как перед глазами Бэкона. В трактате, из которого я привел цитату, также описывается специальная подготовка, которая во времена Цицерона использовалась для студентов, изучающих адвокатуру, - подготовка, которая, как предполагается, была прямо противоположна той, которую давали "реторес". "Среди нас юноша, который должен был достичь красноречия на Форуме, когда уже обучался дома и упражнялся в классических знаниях, приводился своим отцом или друзьями к тому оратору, который в то время мог считаться ведущим человеком в городе. Его ежедневным занятием становилось следовать за этим человеком, сопровождать его, быть в курсе всех его речей, будь то в суде или на общественных собраниях, чтобы он научился, если можно так выразиться, сражаться в самой гуще толпы". Так Цицерон учился своему искусству. Несколько строками ниже псевдо-Тацит рассказывает нам, что Красс на девятнадцатом году жизни провел брифинг против Карбо, Цезарь - на двадцать первом против Долабеллы, а Поллион - на двадцать втором против Катона.⁴³ В этой быстроте Цицерон не стал подражать Крассу или показывать пример римлянам, которые последовали за ним. Ему было двадцать шесть лет, когда он впервые выступил в защиту Катона. Сулле тогда удалось разгромить фракцию Мариан, сулланские проскрипции были проведены и номинально завершены. Сулла был объявлен диктатором и провозгласил, что больше не будет смертных приговоров. Республика должна была быть восстановлена. "Rescuperata republica * * * tum primum nos ad causas et privatas et publicas adire coepimus",⁴⁴ "Республика была восстановлена, и тогда я впервые обратился к состязаниям, как частным, так и общественным".

О политике Цицерона в то время мы можем составить справедливое суждение. Марий был его горожанином, Сулла - его полководцем. Но единственное, что было для него дорого, - это Республика - то, что он считал Республикой. Он не был ни Марианом, ни Суллой. Беспорядки, в которых пролилось столько благородной крови, - "crudelis interitus oratorum", крушение старой узаконенной формы правления - были для него отвратительны. Он надеялся и, несомненно, ожидал, что эти старые формы будут восстановлены во всей их силе. Казалось, что вероятность этого - а она была больше - на стороне Суллы, чем на другой стороне. На стороне Суллы был Помпей, восходящий человек, который, будучи одного возраста с Цицероном, уже выдвинулся на первый план, которого прозвали Великим и который "торжествовал" в те самые два года, когда Цицерон начал свою карьеру; который на протяжении всей жизни Цицерона был его жупелом, его камнем преткновения и его ошибкой. Но на этой стороне были "оптиматы", люди, которые если не руководили, то должны были руководить Республикой; те, кто если и не был уважаемым, то должен был им стать; те, кто если и не любил свою страну, то должен был ее любить. Если и была надежда, то только на них. Старое положение вещей - та олигархия, которую называли республикой, - сделало Рим тем, чем он был; породило власть, цивилизацию, искусство и литературу. Она позволила такому человеку, каким был Цицерон, стремиться к лидерству, хотя он был скромного происхождения и приехал в Рим из неопытной провинциальной семьи. Для него Республика - такой, какой она была и какой могла бы быть, - была всем, что было хорошего, всем, что было милостивого, всем, что было благодетельного. На стороне Суллы были все шансы вернуться к прежним порядкам. Когда Сулла был провозглашен диктатором, предполагалось, что Республика восстановлена. Но не следует думать, что Цицерон благосклонно относился к проскрипциям Суллы или что его не шокировали массовые грабежи, для которых проскрипции открывали путь. Это вопрос, который необходимо будет

рассмотреть более подробно, когда мы в следующей главе перейдем к первым речам Цицерона; в самой первой из них, как я их помещаю, он нападает на сулланские грабежи с дерзостью, которая, если вспомнить, что Сулла все еще был у власти, спасает, во всяком случае, в отношении этого периода его жизни, характер оратора от того обвинения в трусости, которое ему вменялось.

В этой главе, посвященной воспитанию Цицерона, необходимо упомянуть о двух его первых речах, поскольку это воспитание было завершено лишь впоследствии, поэтому их можно рассматривать как эксперименты или, так сказать, испытания его силы и достаточности. "Не довольствуясь этими учителями" - учителями, прибывшими в Рим из Греции и Азии, - "он путешествовал по Греции и Азии, чтобы охватить весь мир искусства". Эти слова, процитированные несколькими страницами ранее из трактата, приписываемого Тациту, относятся к отрывку из "Брута", в котором Цицерон делает соответствующее заявление. "Когда я добрался до Афин,⁴⁵ я провел шесть месяцев у Антиоха, безусловно, самого известного и эрудированного из преподавателей старой Академии, и с ним, как с моим великим авторитетом и мастером, я возобновил изучение философии, которую я никогда не оставлял и которой с самого детства занимался с неизменно растущим успехом. В то же время я усердно занимался ораторским искусством у Деметрия Сира, тоже в Афинах, известного и отнюдь не лишённого ораторских способностей мастера. После этого я странствовал по всей Азии, натываясь на лучших ораторов, с которыми я практиковался, пользуясь их охотной помощью". Есть и другие, не нуждающиеся в дословном повторении, рассказывающие об именах тех, кто помогал ему в Азии: Менипп из Стратоники, который, по его словам, был достаточно мил, чтобы принадлежать Афинам, Дионисий из Магнезии, Эсхилус из Книдоса и Ксенокл из Адрамитиума. Затем на Родосе он столкнулся со своим старым другом Моло и снова отдался учению своего бывшего учителя. Квинтилиан объясняет нам, что это было сделано с определенной целью, чтобы молодой оратор, сделав первую попытку с полуоперившимися крыльями в суде, мог на время вернуться к своим мастерам.⁴⁶

Ему было двадцать восемь лет, когда он отправился в это турне. Высказывалось предположение, что он сделал это, опасаясь недовольства Суллы, с чьими фаворитами и с чьей практикой он имел дело весьма недвусмысленно. Для такого утверждения нет никаких оснований, кроме того, что Сулла был могущественным, что Сулла был кровожадным, и что Сулла должен был обидеться. Подобный аргумент часто используется. Предполагается, что естественно или, по крайней мере, вероятно, что в определенном положении человек должен был быть трусом или плутом, неблагодарным или жестоким; и на основании такого предположения против него выдвигается обвинение. "Опасаясь гнева Суллы, - говорит Плутарх, - он отправился в Грецию и выдал, что мотивом послужило восстановление его здоровья". Нет никаких доказательств того, что это была причина его путешествия; и, как говорит Миддлтон от его имени, несомненно, что он "оставался в течение года после этого в Риме без всякого опасения". Лучше всего принимать на веру рассказ человека о его собственных поступках и их причинах, если только нет оснований сомневаться в сделанном заявлении. Именно так рассказывает о своем путешествии сам Цицерон: "Теперь, - говорит он, все еще в своем "Бруте"⁴⁷, - поскольку вы хотите знать, что я собой представляю, а не просто какие следы остались на моем теле от рождения или в какой обстановке меня воспитывали в детстве, я расскажу о некоторых деталях, которые, возможно, покажутся вам излишними. В это время я был худ и слаб, шея у меня была длинная и узкая - привычка и форма тела, которые, как считается, неблагоприятны для долгой жизни; и те, кто любил меня, думали об этом тем больше, что я стал говорить без отдыха, без напряжения всех сил моего голоса и с большим количеством мускульных действий. Когда мои друзья и врачи предложили мне отказаться от выступлений, я решил, что, чем отказываться от ораторской

карьеры, я встречу любую опасность. Но когда мне пришло в голову, что, понизив голос и изменив способ речи, я могу избежать опасности и в то же время научиться говорить более изящно, я принял это как причину для отъезда в Азию, чтобы изучить, как изменить свой способ произношения. Таким образом, когда я уже два года работал над причинами и когда мое имя уже было хорошо известно на Форуме, я отправился в путь и покинул Рим".

За шесть месяцев пребывания в Афинах он возобновил раннее знакомство с тем, кому суждено было стать самым верным и, конечно, самым известным из его друзей. Это был Тит Помпоний, известный всему миру как Аттик, которому было адресовано более половины всех писем, написанных Цицероном и дошедших до нас.⁴⁸ Похоже, что он много жил с Аттиком, который занимался похожими исследованиями, хотя и с совершенно другими результатами. Аттик приложился к практике эпикурейской школы и действительно стал "Epicuri de grege porcus". Наслаждаться жизнью, накапливать состояние, держаться в стороне от всех военных и государственных потрясений, пользоваться лучшими временами, будь они плохими или хорошими, не пытаясь их исправить - такова была философия Тита Помпония, которого называли Аттиком, потому что ему были дороги Афины, полные искусства и литературы, легкие, неэнергичные и роскошные. Этой философии, вернее, этой теории жизни, Цицерон был совершенно противоположен. Он учился во всех школах - среди платоников, стоиков, даже у эпикурейцев, чтобы знать их догмы настолько, чтобы критиковать их, - объявляя себя принадлежащим к новой Академии, или младшей школе платоников, но на самом деле не черпая ни из одной из них ни системы морали, ни правил жизни. Для него, а также для Аттикуса, несомненно, эти занятия были интеллектуальным времяпрепровождением. Аттик нашел в себе силы оправдать склонность к философствованию именем философа и поэтому стал эпикурейцем. Цицерон никак не мог оправдать для себя отклонение от энергии общественной жизни, от ее полезности, от ее честолюбия, от ее любви или ненависти; и от греческих философов, которых он называл то одной, то другой школой, он получал лишь некоторую помощь в обращении с так называемой философией, которая стала главным развлечением его дальнейшей жизни. Это хорошо понимали латинские авторы, писавшие о Цицероне после его смерти. Квинтилиан, говоря о Цицероне и Бруте как о писателях философии, говорит о последнем: "Suffecit ponderi rerum; seias enim sentire quæ dicit."⁴⁹ - "Он был равен весу предмета, ибо вы чувствуете, что он верит тому, что пишет." Разумеется, он делает вывод, что Цицерон писал на такие темы только для того, чтобы проявить свою изобретательность, как пишет школьник.

В Афинах Цицерон был посвящен в Элевсинские мистерии, о которых мистер Коллинз в своем небольшом томе о Цицероне в сборнике "Античная классика для английских читателей" говорит, что они "содержали под этой завесой все, во что вера в Невидимое и Вечное верила в уме просвещенного язычника". В этом мистер Коллинз полностью оправдывается словами самого Цицерона, хотя характер, придаваемый этим мистериям, сильно отличается от того, который приписывали им ранние христианские писатели. Для тех благочестивых, но несколько предвзятых теологов они были таинственными и языческими, а потому ужасными.⁵⁰ Но Цицерон заявляет в своем диалоге с Аттиком, *De Legibus*, написанном, когда ему было пятьдесят пять лет, в расцвете сил, что "из всей славы и божественных даров, которые твои Афины произвели для улучшения людей, ничто не превосходит эти мистерии, с помощью которых суровость нашей нецивилизованной жизни была смягчена, и мы были вознесены к человечности; и как они называются "initia", с помощью которых посвящали желающих, "так мы, по правде говоря, нашли в них семена новой жизни. От них мы получили не только средства жить с удовлетворением, но и умереть с лучшей надеждой на будущее".⁵¹

О том, что происходило с Цицероном и Аттиком во время их знакомства с Элевсинскими мистериями, мы ничего не знаем. Но вряд ли можно предположить, что такие воспоминания, пронесенные в его голове через тридцать лет и высказанные таким языком тому самому другу, который тогда был его спутником, не должны были быть восприняты им как указание на начало какого-то великого направления мысли. Две доктрины, которые, кажется, наиболее четко обозначают разницу между людьми, которых мы считаем язычниками и христианами, - это вера в будущую жизнь и обязанность делать добро ближним. Здесь они оба обозначены, первое - простым языком, а второе - уверенностью в смягчении варварства нецивилизованной жизни: "Quibus ex agresti immanique vita exculti ad humanitatem et mitigati sumus".

О внутренней жизни Цицерона в этот момент - как он ел, как пил, в каком сопровождении рабов жил, как был одет и как жил - мы знаем очень мало; но нам рассказывают достаточно, чтобы понять, что он не мог путешествовать, как он делал это в Греции и Азии, без больших затрат. С ним был его брат Квинт, так что расходы если не удвоились, то значительно возросли. Антиох, Деметрий Сир, Моло, Менипп и другие не даром предоставили ему свои услуги. Это были господа, о которых мы знаем, что они стремились доставить свои товары на лучший рынок. И потом, похоже, его приветствовали везде, куда бы он ни отправился, как будто он путешествовал в некотором роде "en prince". Несомненно, он привез с собой лучшие знакомства, которые мог позволить себе Рим; но даже на них требовалось щедрое пособие, которое, должно быть, бралось из кармана его отца.

Далее возникает вопрос о доходах Цицерона и источниках их получения. Он сам утверждает, что ему никогда не платили за его услуги в адвокатуре. Получение такой платы было незаконным, но обычным делом. Он утверждает, что не допускал никакой подлости в получении такой платы - во всяком случае, не был виноват в том, что нарушил закон. Ему не поверили. Нет никаких доказательств, чтобы уличить его в лживости, но ему не поверили, потому что не было найдено ощутимых источников дохода, достаточных для расходов, столь значительных, как те, что, как мы знаем, были связаны с его жизнью. Но мы не знаем, каковы были средства его отца. Учитывая характер образования, которое получил мальчик, то, как с ранних лет готовилась его будущая жизнь, обещания, данные ему с детства, о карьере в метрополии, если он сможет стать пригодным для этого, преимущества, которые давали ему дорогостоящие путешествия, я думаю, у нас есть основания предполагать, что старый Цицерон был богатым человеком, и что дом в Арпинуме не был скромной фермой или бедным заведением фуллера.

Глава III.

СОСТОЯНИЕ РИМА.

В мои намерения не входит написание истории Рима в период Цицерона. Если бы я попытался написать такую работу, мне пришлось бы включить в нее дела Сертория в Испании, Лукулла и Помпея на Востоке, десять лет правления Сезара в Галлии и гражданские войны от взятия Марсея до последних сражений при Фапсе и Мунде. Многие из великих событий, к которым относится этот период, Цицерона касались лишь в малой степени - настолько в малой, что мы не можем не удивляться, когда обнаруживаем, как мало он мог сказать о них - тот, кто занимал все должности в государстве, кто был избранным опекуном некоторых союзных городов, кто оставил нам такую большую массу

корреспонденции на государственные темы и кто, по сути, был государственным человеком в течение тридцати четырех лет. Но он был государственным человеком, который заботился лично о Риме, а не о Римской империи. Для него были важны внутренние, а не внешние дела. О великих деяниях Цезаря в Галлии мы почти ничего не узнаем от него, если бы его брат Квинт не был в числе офицеров Цезаря, а его молодой друг Требаций не был доверен им самим заботам Цезаря. О Фарсалии мы узнаем только то, что он в полном отчаянии сердца позволил увлечь себя на войну. О проконсульских правлениях по всей Римской империи мы мало что узнаем от Цицерона, если бы не то, что суд над Верресом показал нам, насколько ужасным может быть поведение римского губернатора, а рассказы о правлении самого Цицерона в Киликии - насколько превосходным. История того времени была написана для современных читателей Меривейлом и Моммзеном, с большим исследованием и правдой в отношении фактов, но, как мне кажется, с некоторым сильным чувством. Теперь за ними последовал мистер Фрауд со своим "Сезаром", который вполне можно было бы назвать "Анти-Цицероном". Все они, восхваляя, а двое последних - обожествляя успешного солдата, как мне кажется, почти не имели дела с Цицероном, приписывая его высказываниям больше, чем они означают; сомневаясь в его искренности, но ясно видя неудачу его политических усилий. С великими фактами Римской империи, как они постепенно формировались от падения Карфагена, когда империя началась,⁵² до установления Августа, когда она была завершена, я не претендую на то, чтобы иметь дело, хотя, безусловно, самые важные из них были переполнены в жизни Цицерона. Но в , чтобы, по возможности, показать состояние его ума в отношении Республики - чтобы объяснить, на что он надеялся и почему надеялся, - я должен вернуться назад и в нескольких словах рассказать о том, что сделали для Рима Марий и Сулла.

Все деяния обоих этих людей, с которыми связана история, относятся к первым годам жизни Цицерона. Марию, правда, было уже почти пятьдесят лет, когда родился его земляк, он стал выдающимся воином и, хотя родился от скромных родителей, дослужился до консульства. Его ссора с Суллой, вероятно, началась на почве ревности к подвигам, совершенным в Югуртинской войне. Но это не имеет особого значения, поскольку Марий показал себя хорошим и выносливым солдатом, за исключением того, что, сделав себя солдатом в раннем возрасте, он позволил себе в последние годы жизни стать хозяином Рима.

Сулла тоже родился за тридцать два года до Цицерона - патриций самых голубых кровей - и, как мы уже сказали, вступил в общественную жизнь и, будучи избранным квестором, стал солдатом по должности, как у нас человек может стать главой адмиралтейства. В качестве квестора он был отправлен к Марию в Африку за несколько месяцев до рождения Цицерона. В его руки, а не в руки Мария, Югурту отдал его тесть, Бокк, решивший таким образом задобрить римлян. Отсюда начались те междоусобные распри, в которых через двадцать пять лет весь Рим был перебит. Причины ссор между этими двумя людьми, ревность, которая росла в сердце старшего из них из-за новых успехов младшего, сейчас не имеют для нас большого значения; но состояние, в которое был доведен Рим, когда два таких человека могли драться за город, и каждый перерезал глотки родственникам, друзьям и предполагаемым союзникам другого, должно быть выяснено теми, кто хочет понять, каким был Рим, каким он был и каким он должен был стать.

Когда Цицерон был в том возрасте, чтобы начать задумываться об этих вещах, надел "тогу вирилиса" и опоясался мечом, чтобы сражаться под началом отца Помпея за власть Рима против италийских союзников, требовавших гражданства, ссора действительно достигла своего ожесточения. В этой войне Марий и Сулла были на одной стороне. Но Марий тогда был не только консулом, но и шесть раз консулом; он победил тевтонов и кимвров, от

которых, как опасались римляне, могла быть захвачена вся Италия. Что было не под силу такому вождю солдат? И что еще, кроме вождя солдат, могло одержать верх, когда Италия и Рим, если бы не такой генерал, оказались во власти варварских орд, и когда они были вынуждены сделать этого генерала шестикратным консулом?

Марий, похоже, не был политиком. Он стал солдатом, а затем генералом; и поскольку он был великим солдатом и генералом, дела государства перешли в его руки без особых усилий. В старые времена Рима военная мощь была необходима для обороны, а успешная оборона, разумеется, порождала агрессивное владычество и увеличение территории. Когда Ганнибал, пока он еще задерживался в Италии, был обойден появлением Сципиона в Африке, а римляне вкусили возросшее величие внешних завоеваний, желание иностранного господства стало сильнее, чем стремление к родной власти. С этого времени на первый план вышло оружие, а не политика. До этого времени консул должен был стать генералом, потому что его делом было заботиться о благополучии государства. После этого человек становился консулом, чтобы стать генералом. Тогда уступила место мечу, а шум форума - трубам. Оглядываясь назад, мы видим, что так и должно было быть, и склонны предполагать, что мудрый человек, заглядывающий в будущее, мог прочесть его. Во времена Мариуса, вероятно, не было такого мудрого человека. Первым это увидел Цезарь. Цицерон увидел бы это, но эта мысль была для него настолько одиозной, что он не мог признаться себе, что так и должно быть. Его жизнь была борьбой против грядущего зла - против времени, в котором грубая сила будет доминировать над интеллектом и цивилизацией. Его "*cedant arma togæ*" был криком, бессильным криком, против всего, что сделал Сулла или собирался сделать Сезар. Беда была совершена за много лет до его времени и зашла слишком далеко вперед, чтобы ее можно было остановить даже его языком. Только, учитывая все это, давайте признаем, что Цицерон видел, что есть добро и что есть зло, хотя и ошибался, полагая, что добро еще в пределах досягаемости.

Марий в своем роде был Сезаром - как солдат, несомненно, очень эффективным Сезаром, обладавшим тем великим даром управлять своими аппетитами, который позволяет тем, кто им обладает, покорять аппетиты других. Можно сомневаться, что его быстрота в остановке и преодолении двух великих полчищ с севера, тевтонов и кимвров, не была равна по стратегии всему тому, чего добился Сезар в Галлии. Вероятно, , что Сезар научился многим тактическим приемам, изучая маневры Мариуса. Но Марий был всего лишь генералом. И хотя он стал горячим сторонником римской политики, дерзким и самоуверенным, умел пользоваться и пренебрегать различными орудиями политической власти, передававшимися по традиции и закону, - "вето", авгуры, официальные сановники, - он пользовался ими или пренебрегал ими, стремясь к власти только для себя. Он понимал, насколько тщетен закон в такой период, как тот, в который он жил; и что, поднявшись силой оружия, он должен силой оружия сохранить свое место или потерять жизнь. С ним, по крайней мере, не было никаких представлений о римской свободе и, вероятно, о римской славе, за исключением тех случаев, когда военная слава и военная мощь идут рука об руку.

Сулла был человеком, наделенным гораздо более острым пониманием политического состояния окружающего его мира. Мариусу было достаточно броситься к власти, как это может сделать собака, и удержать ее в своих лапах, как это делает собака. Сулла мог предвидеть будущие события. Он понимал, что, низведя людей вокруг себя до низкого уровня, он сможет упрочить свою власть над ними, и лучше всего это сделать, отрубив головы всем, кто стоял чуть выше своих соседей. Таким образом он сможет обеспечить спокойствие и безопасность себе и другим. В его голове мелькнула мысль об августовском правлении, и с целью ее воплощения он восстановил многие из обычаев Республики,

воспроизведя не свободу, а ее формы. Похоже, он полагал, что сулланская партия сможет управлять империей, придерживаясь этих форм. Сомневаюсь, что у Мариа было какое-то определенное представление о правительстве. Одержать верх над своими врагами, а затем растереть их в порошок под ногами, захватить ранг, власть и богатство, а затем наслаждаться ими, удовлетворять свою жажду кровью, деньгами, женщинами, наконец, даже вином, и подпитывать свою месть, вспоминая те тяготы, которые ему пришлось пережить в период своего свержения - этого, кажется, было достаточно для Мариуса.⁵³ С Суллой было понимание того, что Империей нужно управлять, и что старые порядки будут лучше, если их удастся совместить с вновь сконцентрированной властью.

Непосредственные последствия для Рима, как от одного, так и от другого, были почти одинаковыми. В 87 году до н. э. Марий занялся расправой над сулланской партией, во время которой, однако, Сулла бежал из Рима в армию, в которой он был выбран генералом, и отправился в Афины и на Восток с целью покорить Митридата; во время этих личных споров командование этой экспедицией было главным предметом разногласий между ними. Марий, который по возрасту не годился, хотел получить его, чтобы не достался Сулле. В следующем, 86 году до н. э., Марий умер, будучи консулом в седьмой раз. Сулла был в отъезде на Востоке и вернулся только в 83 году до н. э. В это время наступил мирный период, пригодный для изучения, о котором Цицерон впоследствии сказал. *"Triennium fere fuit urbs sine armis"*.⁵⁴ Цицерону было тогда двадцать два или двадцать три года, и он, должно быть, хорошо понимал, помня о резне Мариана, что значит, когда город охвачен оружием. Дело было не в том, что люди сражались, а в том, что их просто убивали по желанию убийцы. Затем вернулся Сулла, 83 год до н. э., когда Цицерону было двадцать четыре года; и если Марий бичевал город прутьями, то он бичевал его скорпионами. По правде говоря, бичеванию подвергся именно город, а не просто враждебная фракция. Сулла начал с проскрипции 520 граждан, заявив, что включил в список всех, кого помнит, а забытых добавит в другой день. Постепенно их число было доведено до 4700! Это также не означало, что названные лица должны быть пойманы и убиты некими неправильными служителями правосудия.⁵⁵ Все население было вооружено против несчастных, и все, кто должен был их защищать, также были обречены на смерть. Однако это могло быть сравнительно малоэффективным для того наказания, которое предполагал Сулла. Люди, как правило, не стремятся обогатить свои руки кровью других людей. Если нет сильной ненависти, обычный человек, даже обычный римлянин, вряд ли поднимется и зарежет другого ради работы. Но если к крови добавить корысть, то можно заставить кровь течь обильно. Так и поступил Сулла. Не только жизнь жертвы была запрещена, но и ее имущество; человек, который усердно, ревностно и бескорыстно занимался делом великого мясника, был вознагражден полученным имуществом. За простое убийство полагалось два таланта⁵⁶, но тот, кто умел хорошо выполнять работу осведомителя, мог заработать много талантов. Таким образом, в последние дни правления Суллы наживались состояния. Не только эти 520 человек были названы за убийство. Это были лишь первенцы стада - немногие жертвы, отобранные до того, как настоящие работники поняли, насколько ценным ремеслом может стать проскрипция и конфискация. Плутарх рассказывает, как один тихий джентльмен, прогуливавшийся, по своему обыкновению, по Форуму и не принимавший никакого участия в политике, однажды увидел свое имя в списке. У него была вилла в Альбане, и он сразу понял, что вилла стала его гибелью. Он не успел прочитать список и воскликнуть, как был зарублен. Такова была резня Суллы, произошедшая с интервалом в два или три года после резни Мариа, между которыми было благословенное время, когда Рим был без оружия. Во времена Мариа Цицерон был слишком молод и не имел достаточного значения в силу своего рождения или происхождения, чтобы чего-то опасаться. Маловероятно и то, что Марий обратился бы против своих горожан. Когда пришел черед Суллы, Цицерон, хотя и не был

абсолютно связан с диктатором, был, так сказать, на его стороне в политике. Возвращаясь даже к этому периоду, мы можем использовать термины "либералы" и "консерваторы" для обозначения двух партий. Марий был за народ; то есть он выступал против правления олигархии, разогнал сенат и любил чувствовать, что его ноги стоят на шее знати. Ни о свободе, ни о правах, ни о народных институтах он не думал, но не менее того считалось, что он на стороне народа. Сулла, напротив, родился патрицием и стремился сохранить старые традиции олигархического правления; и действительно, хотя он взял всю власть в государстве в свои руки, он восстановил и на какое-то время сохранил эти старые традиции. Надо полагать, что в его сердце было что-то от любви к старому Риму. Проскрипции начались в конце 82 года до н. э. и продолжались в течение восьми или девяти страшных месяцев до начала июня 81 года до н. э. Был установлен день, в который не должно было быть больше резни - ни резни, то есть без особого приказа в каждом случае, ни конфискации - кроме тех, которые могли быть сочтены необходимыми теми, кто еще не собрал свою добычу с прошлых жертв. Затем Сулла, как диктатор, принялся за реорганизацию старых законов. По-прежнему должны были существовать консулы и преторы, но с ограниченными полномочиями, сокращенными почти до нуля. Трудно понять, в чем именно заключался замысел Диктатора как будущего хранителя власти, когда он сам должен был покинуть сцену. Он действительно увеличил привилегии сената; но, думая о римском сенате так, как он, должно быть, думал о нем, почитая этих стариков так низко, как он, должно быть, почитал их, он вряд ли мог предполагать, что императорская власть должна поддерживаться путем разделения ее между ними. Он, безусловно, не думал о том, чтобы стать последователем, наследником своей власти, как это сделал Сезар. Пробыв практически диктатором около трех лет - хотя он и не продолжал использовать это неприятное имя, - он сложил с себя полномочия и сошел с трона, как бы уйдя в частную жизнь. Я не знаю в истории ничего более примечательного, чем отставка Суллы; и все же авторы, которые занимались его именем, не дают этому никакого объяснения. Плутарх, его биограф, выражает удивление, что он согласился уйти в частную жизнь, и что тот, кто нажил столько врагов, смог сделать это в безопасности. Цицерон ничего не говорит об этом. Вероятно, он покинул Рим до того, как это произошло, и вернулся только после смерти Суллы. По всей видимости, это событие было принято как ничем особенно не примечательное.⁵⁷ По его собственному требованию ему была дана пленарная власть диктатора - право делать все, что ему заблагорассудится, не обращаясь ни к сенату, ни к народу, и с дополнительной оговоркой, что он должен хранить ее столько, сколько сочтет нужным, и слагать ее, когда ему это будет угодно. Он и сложил его, вероятно, лгая себе, что, сделав свое дело, он уйдет от диктатуры, как какой-нибудь Камилл в старину. Диктаторов в Риме не было уже более века с четвертью - со времен великих побед Ганнибала; старые диктатуры длились всего несколько месяцев или недель, после чего диктатор, выполнив свою особую задачу, слагал с себя полномочия. Сулла решил поступить так же, и Рим, после трехлетнего перерыва, принял отставку в прежнем духе. Для них было естественно, хотя и только по традиции, что диктатор должен уйти в отставку - настолько естественно, что это не требовало особого удивления. Соль римской конституции исчезла, но воспоминания о ее вкусе все еще были сладки для умов римлян.

Кажется несомненным, что не было предпринято никаких попыток навредить Сулле, когда он перестал номинально возглавлять армию, но вполне вероятно, что он не настолько полностью лишился власти, чтобы оказаться без защиты. В год после отречения от престола он умер в возрасте шестидесяти одного года, внешне крепкий в плане общего здоровья, но, если рассказ Плутарха правдив, пораженный страшной кожной болезнью. Современные авторы отзываются о Сулле так, как будто они хотели бы похвалить его, если бы осмелились, потому что, несмотря на свою демоническую жестокость, он признавал целесообразность приведения дел Республики в порядок. Миддлтон называет его "единственным человеком в

истории, в котором одиозность самых варварских жестокостей была погашена славой его великих деяний". Моммзен, возлагая вину за проскрипции на голову олигархии, говорит о Сулле как о мече или перо на службе государству, в зависимости от того, что требовалось от меча или пера, и заявляет, что в отношении полного "отсутствия политического эгоизма - хотя это верно только в этом отношении - Сулла заслуживает того, чтобы быть названным рядом с Вашингтоном".⁵⁸ Для нас, пытающихся исследовать источники и природу характера Цицерона, атрибуты этого человека были бы малозначительны, если бы не , что Цицерон, вероятно, был Цицероном, потому что Сулла был Суллой. Как ни ужасны были для Цицерона проскрипции и конфискации - а его мнение о них было высказано достаточно ясно, когда выражать его было опасно⁵⁹ , - все же ему было очевидно, что причина порядка (то, что мы можем назвать лучшим шансом для Республики) лежит в сенате и в старых традициях и законах Рима, в восстановлении которых Сулла принимал участие. Об этих институтах Моммзен отзывался с презрением, которое мы теперь не можем не считать оправданным. "О римской олигархии этого периода, - говорит он, - нельзя вынести иного приговора, кроме неумолимого и беспощадного осуждения; и, как и все, что с ней связано, сулланская конституция вовлечена в это осуждение".⁶⁰ Приходится признать, что соль из нее улетучилась, и больше не осталось никакого привкуса, который можно было бы сохранить. Но в этом немецкий историк, как и некоторые современные английские историки, кажется, несколько ошибается: они недостаточно учитывают, что люди того времени не имели возможности знать все то, что знают они, историки. Сулла и его сенат думали, что, расправившись с марианской фракцией, они восстановили равновесие. Сам Сулла, по-видимому, считал, что, когда дело будет сделано, Рим будет продолжать расти в могуществе и процветании, как он уже вырос, без других реформ, кроме тех, которые он инициировал. Несомненно, многие из лучших представителей Рима - лучшие в нравственном отношении, лучшие в патриотизме и лучшие в эрудиции - считали, что при сохранении старых форм вернутся и старые добродетели. Так думал Помпей, так думал Цицерон. Так думал Катон, так думал Брут. Сезар, если подумать, считал наоборот. Но даже сейчас нам, оглядывающимся назад , когда нам многое стало ясно, со всеми убеждениями, которые порождает длительный успех, сомнительно, что какое-то другое, более мягкое изменение - такое, за которое ратовал бы Цицерон, - не предотвратило бы тиранию Августа, тайны Тиберия, причуды Калигулы, глупость Клавдия и безумие Нерона.

Отстаивать интересы человека, который потерпел неудачу, - задача не из легких. Сезары мира - это те, кто создает интересные истории. То, что Цицерон потерпел неудачу в достижении великой цели своей жизни, следует признать. Он изучал историю своей страны и знал, что до сих пор мир не создал ничего столь великого, как римская держава; он знал, что Рим породил истинный патриотизм. Ее консулы, цензоры, трибуны и генералы, как правило, были верны Риму и служили своей стране, во всяком случае, до последних лет, а не себе. И он верил, что свобода существовала в Риме, хотя нигде больше. Было бы хорошо, если бы мы смогли осознать, какое представление о свободе имел Цицерон. Свобода была очень дорога ему - дорога не только как удовольствие для него самого, но и как привилегия для других. Но это была свобода лишь немногих. Половина населения римских городов была рабами, и во времена Цицерона свобода города, которую он считал необходимым условием свободы, принадлежала лишь небольшой части населения Италии. Его волновала свобода небольшого привилегированного класса. То, что сицилиец должен быть свободен под властью римского проконсула, как и полагается римскому гражданину, было отвратительно для его доктрины. Еще не родилась идея космополитической свободы - идея, которая существует у нас, но мало кому свойственна даже сейчас: забота о свободе, проистекающая

из желания поступать с другими так, как мы хотели бы, чтобы они поступали с нами. Для того чтобы зародить эту идею, нужен был Христос; а Цицерон, хотя он и был ближе к христианству, чем кто-либо из существовавших до него, не достиг ее. Но эта свобода, хотя и принадлежавшая немногим, была ему так дорога, что он потратил свою жизнь на то, чтобы сохранить ее. Цари были изгнаны из Рима, потому что они попирали свободу. Затем возникла Республика, которая, как мы знаем, в лучшем случае была не более чем олигархией; но все же она была основана на идее, что все должно делаться голосами свободных людей. В течение многих лет все делалось голосами свободных людей. Под каким предлогом они голосовали - это уже другой вопрос. Клиенты подчинялись своим покровителям и голосовали так, как им говорили. Об этом мы слышали даже в Англии, где многие из нас до сих пор считают такой способ голосования далеко не предосудительным. Возможно, иногда использовалось принуждение - своего рода "крысятничество", когда на избирательные участки загоняли большие массы людей, чтобы они поддержали ту или иную меру. У одних преобладало простое красноречие, у других - лесть. Затем, как и положено, разгулялась коррупция: богатые покупали голоса бедных; голоса покупались разными способами - дешевой едой и деньгами, щедрыми тратами на игры, обещаниями земли и другими более или менее явными способами подкупа. Это, конечно, было плохо. Каждый свободный человек должен был голосовать по совести. Но в какой стране - тысячелетие еще не наступило ни в одной - это было достигнуто? Хотя голосование в Англии не всегда было чистым, мы не желали отменить голоса свободных людей и подчинить все личному правлению. Не хотел этого и Цицерон.

Он знал, что многое плохо, и сам был свидетелем многих вещей, которые были очень злыми. Он пережил господство Мариуса и Суллы и видел, как старые методы римского правления были низведены до притворства традиционных форм. Но все же, думал он, в старых формах еще оставалась жизнь, если их можно было оживить патриотизмом, трудом и умом. Это было лучшее, что он мог представить для государства, - бесконечно лучшее, чем возможность попасть в кровавые руки одного Мария и одного Суллы за другим. Моммзен говорит нам, что ничто не могло быть более гнилым, чем состояние олигархического правления, в которое впал Рим; и мы склонны согласиться с Моммзеном, поскольку видели, что за этим последовало. Но то, что Цицерон, живя и видя все это в качестве зрителя, должен был надеяться на лучшее, не должно, я думаю, заставлять нас сомневаться ни в мудрости Цицерона, ни в его патриотизме. Я не могу не думать, что, будь я римлянином тех дней, я бы предпочел Цицерона с его воспоминаниями о прошлом, а не Цезаря с его амбициями на будущее.

Оглядываясь назад с нашей сегодняшней точки зрения, мы знаем, насколько велик был Рим - бесконечно велик, если говорить о могуществе, чем все остальное, что создал мир. И оказалось, что слова "Urbis et orbis" не были ложным хвастовством. Постепенно разрастаясь из маленького разбойничьего гнезда на берегах Тибра, жители Рима научились распространять свое оружие по всему известному миру, завоевывать и властвовать, притягивая к себе все, что было создано изобретательностью и промышленностью других людей. Для этого нужно было обладать не только мужеством и упорством, но и умом, патриотизмом и превосходством в искусстве комбинирования, из которого состоит правительство. И все же, оглядываясь назад, трудно сказать, когда были лучшие времена Рима. Когда сияли те добродетели, на которых зиждилось его могущество? Когда лучше всего проявлялась та мудрость, из которой проистекала ее способность к управлению? Не во времена первых царей, чьи мифические добродетели, если они и существовали, касались лишь мелких дел; ведь Рим этих царей претендовал на юрисдикцию, простиравшуюся пока лишь на несколько миль от города. И с момента их изгнания Рим, хотя и поднимался в

могуществе, но поднимался медленно и с такими трудностями, что читатель истории, если бы он не знал будущего, время от времени думал бы, что настал день его гибели. Ни когда Бреннус был в Риме со своими галлами, через сто двадцать пять лет после изгнания царей, нельзя было сказать, что Рим был великим; ни когда через пятьдесят или шестьдесят лет после этого римская армия - единственная армия, которой тогда обладал Рим, - должна была сложить оружие в Каудинских развилках и перейти под самнитское иго. Затем, когда самнитские войны закончились и Рим стал хозяйкой в Италии - хозяйкой не более чем Южной Италии, - начались Пунические войны. Вряд ли именно во время этой долгой борьбы с Карфагеном, которая продолжалась почти пятьдесят лет, Рим переживал свои лучшие времена. Ганнибал, похоже, всегда был хозяином. Требия, Фрасимена и Канны из года в год угрожают государству полным уничтожением. Затем приходит великий Сципион; и, несомненно, если мы должны обозначить эпоху римского величия, то это будет битва при Заме и покорение Карфагена, за 201 год до Рождества Христова. Но вместе со Сципионом зарождается идея личного честолюбия; и в последующих македонских и греческих войнах, хотя рука Рима с каждым днем становится все сильнее, а плечи шире, уже заметен отблеск падения ее добродетели. Ее дела с Антиохом, с Пирром и с ахейцами, хотя и были успешными, вряд ли можно назвать славными. Затем пришли два Гракха, и читатель начинает сомневаться, не закончилась ли уже слава Республики. Они потребовали невозможных реформ, столь же незаконных, сколь и невозможных, и оба были убиты во время народных волнений. Затем последовала война с Югуртой, в которой римляне долгие годы терпели неудачи, и во время которой германские орды с севера ворвались в Галлию и уничтожили армию из 80 000 римлян. Это приводит нас к Мариусу и Сулле, о которых мы уже говорили, и к тому периоду римской политики, который немецкий историк описывает как не подлежащий никакому осуждению, "кроме одного неумолимого и беспощадного осуждения".

Но, по правде говоря, история каждого народа и каждой нации будет подвергнута такой же критике, если к ней относиться с такой же строгостью. Во всем, что человек сделал до сих пор в области управления государством, семена разложения очевидны, если смотреть на них с высоты прожитых лет. Период правления королевы Елизаветы был очень велик для нас; но какими опасностями мы были окружены в ее дни! Если бы не буря на море, мы могли бы оказаться под властью Испании. Какой системой лжи и мелких тираний мы управлялись во времена правления Якова I. и Карла I.! Какие периоды гниения и опасности были после этого! Как мало славно было правление Карла II, как полно опасностей правление Вильгельма, как подло правление четырех Георгов, с нечестностью таких министров, как Уолпол и Ньюкасл! А сегодня разве мало тех, кто говорит нам, что мы теряем свободы, которые достались нам от предков, и что над нами не может быть вынесено никакого приговора, "кроме неумолимого и беспощадного осуждения?" Мы - великая нация, и нынешние угрозы, вероятно, напрасны. Тем не менее, семена разложения, несомненно, заложены в нашей политике и практике - настолько явно заложены, что будущие историки с уверенностью скажут о них.

Но Цицерон, не имея преимущества расстояния, просто осознавая достигнутое величие и испытывая в сердце истинную любовь к стране, которая его достигла и которая была его собственной, поощрял себя думать, что хорошее может быть восстановлено, а плохое устранено. Марий и Сулла-Помпей, а также, если я правильно понимаю его характер, к концу его карьеры - Цезарь и, конечно, Август, лишенные всякой щепетильности, стремились каждый для себя приобрести власть, которую не могли ухватить слабые руки сената. Как бы много или мало ни значила для каждого из них страна сама по себе, ему казалось хорошим, ради страны или ради себя самого, чтобы власть была в его собственных руках. У каждого была такая возможность, и каждый использовал ее или пытался использовать. У Цицерона

всегда присутствует желание вернуть власть старым конституционным владельцам. Это признают даже его злейшие враги; и я порой не знаю, чему больше удивляться: тому, что у литератора, умершего две тысячи лет назад, должны быть такие злейшие враги или такие искренние друзья, как я. Цицерон, как никто из живших тогда, если и не видел яснее других, понимал, что в государстве многое прогнило. Люди, которые были убийцами по приказу Мария, а затем другие, убивавшие по приказу Суллы, среди которых был и Катилина, о котором мы сейчас поговорим, не были склонны успокоиться в качестве тихих граждан. Законы были отменены. Даже суды были закрыты. Сулла был законом, а чуланы его фаворитов - судами. Сенаторы были покорны и послушны. Трибуны были лишь шутами. Рим, когда Цицерон начал свою государственную жизнь, еще трепетал. Консулы того времени были людьми, выбранными по приказу Суллы. Армия была армией Суллы. Суды теперь снова открывались по разрешению Суллы. Наступил день, назначенный Суллой, когда убийцы больше не могли убивать - или, во всяком случае, не должны были получать плату за убийство. Надежды на хорошее, можно сказать, не было. Но Сулла воспроизвел признаки порядка, и лучшая надежда лежала в этом направлении. Консулы, преторы, квесторы, эдилы, даже трибуны все еще были там. Возможно, ему, Цицерону, будет дано укрепить руки таких должностных лиц. Во всяком случае, для него не было лучшего пути, которым он мог бы послужить своей стране.

Самое тяжелое обвинение, выдвинутое против Цицерона, - обвинение в том, что он был неискренен с различными людьми, с которыми он вступал в контакт для осуществления цели своей жизни, а также в том, что он изменил свою цель. Утверждается, что, начав жизнь как демократ, он перешел на сторону аристократии, как только занял высокий государственный пост. В дальнейшем я буду стремиться показать, что он был совершенно искренен в своих намерениях, что он никогда не менял своих политических идей и что в этих отклонениях в отношении людей и средств, например, готов ли он был служить Сезару или выступать против него, он руководствовался искренностью своей цели, даже в неискренности своих высказываний. Я думаю, что могу вспомнить, даже в Великобритании, даже во времена королевы Виктории, людей, сидящих рядом на одной и той же скамье в Казначействе, которые были очень горьки друг с другом и говорили только дружеские слова. У нас верность в дружбе, к счастью, является добродетелью. В Риме всем управляла целесообразность. Все, что я требую от Цицерона, - это то, что он был более искренним, чем окружающие его люди.

Глава IV.

ЕГО РАННИЕ ХОДАТАЙСТВА - СЕКСТ РОЦИЙ АМЕРИН - ЕГО ДОХОДЫ.

80 г. до н. э., эстафета 27

Теперь мы переходим к началу жизненного пути Цицерона. Сначала это была работа в качестве адвоката, из которой он постепенно перешел в общественную или политическую деятельность, как это часто случается с успешными адвокатами в наше время. Мы не знаем с абсолютной уверенностью, в каком году Цицерон начал свою адвокатскую деятельность и по какому делу. Возможно, это было в 81 году до н. э., когда ему было двадцать пять или двадцать шесть лет. Из тех выступлений, о которых нам известны подробности, самым ранним, вероятно, было выступление в защиту Секста Росция Америна, которое состоялось, несомненно, в 80 году до н. э., в двадцать седьмом году. Что касается этого случая, то мы располагаем его речью почти целиком, как и речью к Публию Квинцию, которая обычно

печатается первой среди произведений оратора. Однако, как мне кажется, ясно, что речь, произнесенная для Секста Росция, была написана до нее. Несомненно, что до них были и другие. В том, что касается Секста, он говорит, что никогда прежде не выступал по общественным делам,⁶¹ таким, как обвинение, в котором он сейчас участвовал, из чего следует вывод, что он занимался частными делами; а в том, что касается Квинтия, он заявляет, что в этом деле ему не хватает помощи, которой он привык пользоваться в других.⁶² Несомненно, он пробовал свои силы в делах меньшей важности. То, что из этих двух дел защита Секста Росция была первой, также следует из его собственных слов. Не раз, выступая в защиту Квинтия, он говорит о проскрипциях и конфискациях Суллы как о зле, которое уже давно прошло. Номинально они были завершены в июне 81 года; но те, кто ставит эту орацию на первое место, полагают, что она была произнесена именно в том году. Это кажется невозможным. "Мне очень не хочется, - говорит он, - напоминать об этом предмете, память о котором должна быть стерта из наших мыслей".⁶³ Если сравнить тон этих двух речей, то станет очевидно, что первой была произнесена речь Секста Росция. Как я уже говорил, она была произнесена на двадцать седьмом году его жизни, до 80 г. н. э., в год после закрытия проскрипционных списков, когда Сулла все еще был диктатором и когда продажа конфискованных товаров, хотя и утратила законную силу, все еще осуществлялась под мнимой властью. За такое нарушение постановления самого Суллы Цицерон оправдывает диктатора в этой же речи, уподобляя его Великому Юпитеру-громовержцу. Даже "Юпитер Оптимус Максимус", чьему кивку повинуются небо, земля и моря, даже он не может так присматривать за своими многочисленными делами, чтобы ветры и бури иногда были слишком сильными, или жара слишком сильной, или холод слишком лютым. Если это так, то как мы можем удивляться тому, что Сулла, который должен управлять государством, управлять, по сути, всем миром, не в состоянии сам за всем уследить? Jove, вероятно, находил удобным не видеть многих вещей. Так, должно быть, было и с Суллой.

Я рискну, как и другие биографы, рассказать историю Секста Росция Америкоского, потому что она сама по себе - история сильной романтики, таинственная, мрачная, предающая вину глубочайшей окраски, страдания глубочайшей глубины и дерзость беспримерную; потому что, одним словом, она интересна, как любой роман, созданный современной беллетристикой; а еще я расскажу ее, потому что она пропускает поток света на состояние Рима в то время. У нас волосы встают дыбом, когда мы вспоминаем, что в таком государстве, как это, люди должны были выбирать свои шаги и жить, если это возможно, а если нет, то быть готовыми к смерти. Мы попадаем в самый конец проскрипции и видим не кровавый венок Суллы, торжествующего над своими марианскими врагами, не жестокие преследования правителя, решившего установить свой порядок вещей, истребляя всех врагов, а необходимые сопутствующие безжалостным деяниям злодеяния, для которых у тогдашнего Юпитера Оптимуса Максима не было ни ушей, ни глаз. Если в истории нам удастся взглянуть на реальную жизнь народа, это всегда интереснее, чем любое изложение великих фактов, какими бы грандиозными они ни были.

Календы июня были определены Суллой как день, когда должна прекратиться резня, узаконенная проскрипциями. В сентябре следующего года на улицах Рима был убит старый джентльмен по имени Секст Росций, который возвращался домой после ужина в сопровождении двух рабов. Кто его убил, вероятно, знали тогда не один и не два человека, но никто не знает сейчас. Он был человеком известным, хорошо знакомым с Метеллами и Мессалами того времени и мимоходом разбогатевшим. Его имя не было внесено ни в один проскрипционный список, поскольку он был другом друзей Суллы. Когда его убили, предполагалось, что его состояние составляет около шести миллионов сестерций, или что-то между пятьюдесятью и шестьюдесятью тысячами фунтов наших денег. Хотя в то время в

Риме было много денег, это было богатство; и хотя мы не можем сказать, кто убил этого человека, мы можем быть уверены, что он был убит из-за своих денег.

Сразу же после смерти его имущество было конфисковано и продано - или разделено, возможно, без продажи, - включая рабов, в которых, как и у каждого богатого римлянина, была вложена большая часть его богатства; его земельные владения - фермы, которых у него было много, - также были разделены. Что касается того, как именно это было сделано, мы остаемся в неведении. Если бы имя Секста Росция было в одном из списков, даже если бы этот список был устаревшим, мы могли бы понять, что так и должно было быть. Юпитер Оптимус Максимус не мог видеть всего, а преимущества были велики. Остается только предположить, что все настолько вышло из-под контроля, что те, кто привык отнимать имущество у запрещенных, могли протянуть руки и схватить почти все, что попадалось им на пути. Они уже не могли добиться, чтобы имя богатого человека внесли в список, но могли сделать вид, что его внесли. Во всяком случае, некоторые люди захватили и поделили имущество убитого, как будто он был проскрибирован.

У старого Росция, когда его убили, был один сын, о котором нам говорят, что он всегда жил в деревне в Америке, присматривая за фермами своего отца и никогда не посещая столицу, которая была удалена от Америки примерно на пятьдесят миль; грубый, неотесанный и, вероятно, честный человек - во всяком случае, тот, кому были неизвестны городские порядки и кто, должно быть, был лишь отчасти знаком с делами того времени.⁶⁴ Читая эту историю, мы чувствуем, что от характера этого человека зависит очень многое, и осознаем, что единственное описание его исходит от его собственного защитника. Цицерон, вероятно, сказал бы многое, что, хотя и выходило за рамки истины, не могло быть опровергнуто, но не стал бы утверждать в качестве фактов ничего абсолютно ложного. Цицерон описывает его как человека средних лет, который никогда не покидал свою ферму, исправно выполняя долг своего отца, в качестве агента которого он действовал на земле, - простого, неамбициозного, невежественного человека, к которому из-за его преданности сельскому хозяйству скорее можно испытывать симпатию, чем антипатию. Теперь его обвинили в убийстве отца. Обвинение выдвинул некий Эруций, который в своей вступительной речи - речь, произнесенная до речи Цицерона, - явно плохо отзывался о сельских занятиях. Затем Цицерон напоминает ему, судьям и суду, как высоко чтилось сельское хозяйство в былые времена, когда консулов отрывали от плуга. Однако воображение читателя представляет себе человека, который вряд ли мог быть консулом в любое время - молчаливого, одинокого, неотесанного и совершенно оторванного от приятного общения с жизнью. Эруций говорил о нем, что он никогда не принимал участия ни в каких празднествах. Цицерон использует это, чтобы показать, что он не мог быть склонен к насилию из-за роскоши. У старого Росция было два сына, одного из которых он оставил при себе в Риме - вероятно, того, чье общество было ему дороже всего. Однако он умер, и наш Росций - Секст Росций Америкинус, как его стали называть после того, как он прославился убийством, - остался на одной из ферм в деревне. Обвинение, вероятно, не было бы выдвинуто, если бы он не был известен как человек угрюмый, молчаливый, грубый и непопулярный, для которого такое убийство может показаться правдоподобным.

Зачем было выдвигать обвинение, если не было явных доказательств вины? Это первый вопрос, который напрашивается сам собой. Этот сын не получил никакой выгоды от смерти своего отца. Фактически он был полностью обделен ею - лишился фермы, сельскохозяйственной утвари, всех рабов в округе, все это принадлежало его отцу, а не ему самому. Все это было отобрано и поделено; отобрано людьми, называемыми "секторами", доносчиками или секвестрами, которые завладевали конфискованным имуществом и

продавали его или не продавали. В данном случае такие люди сразу набросились на имущество убитого и проглотили его все, не оставив нашему Росцию ни акра, ни раба. Цицерон рассказывает, кто разделил добычу между ними. Были еще два Росция, вероятно, дальние родственники, оба по имени Тит; Тит Росций Магнус, который жил в Риме и, кажется, занимался ремеслом доносчика и убийцы во время проскрипций, и Тит Росций Капито, который, когда был на родине, жил в Америке, но о котором Цицерон говорит, что он стал учеником другого во время этого дела. Им достались большие доли, но они делились также с неким Хрисогоном, вольноотпущенником и любимцем Суллы, который делал грязную работу за Юпитера Оптимуса Максима, когда Юпитер Оптимус Максим не успевал сделать ее сам. Мы предполагаем, что Хрисогону досталась большая часть награбленного. Что касается Капито, способного ученика, то нам снова и снова говорят, что он получил три фермы в свое распоряжение.

Опять же, необходимо сказать, что все эти факты исходят от Цицерона, который, в соответствии с разрешенной практикой адвокатов, не стеснялся говорить ничего из того, что он находил в своих инструкциях. Как передавались инструкции адвокату в те времена, мы не совсем знаем. Системы адвокатов не существовало. Но, вероятно, историю для "патронуса" или адвоката составлял кто-то из подчиненных и каким-то образом готовил ее для него. Подготовленный таким образом рассказ он преувеличивал в зависимости от обстоятельств. Следует понимать, что Цицерон обладал большим искусством и, несомненно, большой смелостью в таких преувеличениях; в связи с этим мы, конечно, не должны очень сурово относиться к нему сейчас, если только мы не готовы более сурово относиться к тем, кто делает то же самое в наши просвещенные дни. Но Цицерон, даже будучи молодым человеком, слишком хорошо знал свое дело, чтобы выдвигать утверждения, которые можно было опровергнуть. Сначала шло обвинение, затем речь в защиту, а после - доказательства, которые предлагались только со стороны обвинителя и подлежали перекрестному допросу. Цицерон не имел возможности представить доказательства. Таким образом, он был освобожден от необходимости доказывать свои утверждения, но при этом должен был опровергнуть их все. Я думаю, что мы можем считать само собой разумеющимся, что имущество убитого было разделено так, как он рассказывает.

Если это так, то зачем было выдвигать какие-либо обвинения? Наш Секст, похоже, был слишком подавлен опасностями своего положения, чтобы попытаться вернуть хоть часть отцовского богатства. Он отдал себя под защиту некой знатной дамы, некой Метеллы, чья семья была друзьями его отца, и ей и ее друзьям, несомненно, удалось организовать защиту. "У вас есть мои фермы, - заставляет его говорить защитник, - я живу на милость другого. Я отказываюсь от всего, потому что по натуре я спокойный человек и потому что так должно быть. Мой дом, закрытый для меня, открыт для вас: Я терплю. Вы завладели всем моим хозяйством, а у меня нет ни одного раба. Я терплю все это и чувствую, что должен терпеть. Чего же ты хочешь еще? Почему вы преследуете меня и дальше? В чем, по-вашему, я могу вам навредить? Чем я вам мешаю? В чем я вам противостою? Разве вы хотите убить человека ради грабежа? У вас есть своя добыча. Если же ради ненависти, то какую ненависть ты можешь испытывать к тому, чьей землей ты завладел еще до того, как узнал его?"⁶⁵ Во все это, что является призывом защитника к жалости, мы можем верить сколь угодно мало. Цицерон обращается к судье и желает только оправдательного приговора. Но аргумент показывает, что до сих пор не было совершено ни одного явного действия, направленного на возмещение ущерба. Тем не менее Хрисогон опасался таких действий и договорился с двумя Титусами, что нужно что-то сделать, чтобы предотвратить их. Что мы должны думать о состоянии города, в котором не только могли убить человека за его богатство, когда он шел домой после ужина - такое, действительно, могло бы случиться в Лондоне, если бы

существовали средства добраться до его денег, когда человек был мертв, - но в котором такой заговор мог быть согласован для того, чтобы ограбление было доведено до конца? "Мы убили человека и забрали его деньги под ложным предлогом, что его товар был конфискован. Друзья, как мы выяснили, вмешиваются - вероятно, эти Метеллы и Метеллусы. Есть сын, который является естественным наследником. Допустим, он убил собственного отца. Суды, которые только-только открылись после дорогих дней запретов, беспорядков и конфискаций, вряд ли еще будут достаточно бдительны, чтобы оправдать человека, противостоящего фавориту Диктатора. Давайте осудим его и, как отцеубийцу, живьем зашьем в мешок и бросим в реку, - как, возможно, некоторые из нас видели утопленных кошек, ибо такова была мера наказания, - и тогда он, по крайней мере, не будет нам мешать". Так, видимо, и был организован заговор.

Это был настолько грязный заговор, что ничего грязнее быть не может; но не менее настойчиво он осуществлялся с ведома и при содействии многих. Обвинитель Эруций, который, судя по всему, был выдвинут Хрисогоном, утверждал, что тот убил своего отца из-за ненависти. Отец собирался лишить сына наследства, и поэтому сын убил отца. В этом можно было бы усомниться, если бы существовали какие-либо доказательства такого намерения со стороны отца. Но их не было. Цицерон утверждает, что отец никогда не думал лишать сына наследства. Не было ни ссор, ни ненависти. Это было принято за причину - ошибочно. На самом деле для такого поступка не было никаких причин, да и сын не мог его совершить. Отец был убит в Риме, когда сын, как было очевидно, находился в пятидесяти милях от него. Он никогда не покидал своей фермы. Обвинитель Эруций сказал, и сказал справедливо, что Рим полон убийц.⁶⁶ Но кто мог нанять такого человека: этот грубый крестьянин, не имевший никаких сношений с Римом, никого там не знавший, не знавший римских порядков, которому нечего было получить от убийства, или тот, кто давно имел дело с убийцами, знал Рим и теперь, как выяснилось, держал имущество в своих руках?

Два раба, которые были со стариком, когда его убили, - они, конечно, могут что-то рассказать? Тут случайно всплывает тот факт, что рабов, когда их допрашивали в качестве свидетелей, пытали, как само собой разумеющееся, чтобы получить от них показания. Об этом без ужаса говорит Цицерон, да и другие римские писатели, насколько я помню, тоже. Считалось общепринятым правилом жизни, что раба, если он попадает в суд, следует заставить говорить правду с помощью таких приспособлений. Это было настолько распространенным явлением, что хочется надеяться и почти предполагать, что "вопрос" обычно не решался в условиях крайней жестокости. Действительно, мы слышим, как рабам дают свободу, чтобы, будучи свободными, они не были вынуждены под пытками говорить правду;⁶⁷ но если бы жестокость была такого рода, как описано Скоттом в "Старом смертном", когда бедному проповеднику калечат конечности, я думаю, мы бы услышали об этом больше. Пытки применялись не всегда, а только в тех случаях, когда ожидаемые доказательства не давали иных результатов. Цицерон в приведенном ниже небольшом диалоге объясняет, как это происходило.⁶⁸ "Сейчас тебе лучше сказать правду, друг мой: Было ли это так-то и так-то?". Раб знает, что если он скажет, что это было так, то его ждет крест или "маленькая лошадка"; если же он скажет обратное, то спасет свои суставы от удара. И все же доказательство было налицо.

В этом деле Росция, несомненно, присутствовали два раба, но Цицерон, который, будучи адвокатом защиты, не мог вызвать свидетелей, не имел права приводить их в суд; да и нельзя было заставить рабов давать показания против своих хозяев. Эти рабы, принадлежавшие убитому, теперь были собственностью либо Хрисогона, либо двух Титусов. Добиться их показаний можно было только с разрешения их хозяев, а этого не было. Цицерон требует,

чтобы их привели, зная, что это требование не возымеет действия. "Вот этот человек, - говорит он, указывая на обвиняемого, - просит об этом, молит об этом. Что ты сделаешь в этом случае? Почему вы отказываетесь?"⁶⁹

К этому времени читатель уже чувствует, что обвиняемый не мог быть виновен, а если читатель, то тем более слушатель? Затем Цицерон продолжает показывать, кто на самом деле был виновен. "Сомневайтесь теперь, судьи, кем был убит Росций: тем ли, кто из-за смерти отца впал в нищету и беды, кому запрещено даже дознаваться до истины, или теми, кто боится реальных доказательств, кто сам владеет награбленным, кто живет среди убийств и на доходы от них".⁷⁰

Затем он обращается к одному из Титов, Титу Магнусу, который, по-видимому, сидел в суде, и упрекает его за дерзость: "Кто может сомневаться, кто был убийцей - вы, получившие всю добычу, или этот человек, потерявший все? Но если к этому добавить, что прежде ты был нищим, что тебя знали как жадного парня, как дерзкого сорвиголову, как заклятого врага убитого, то стоит ли спрашивать, что привело тебя к такому поступку, как этот?"⁷¹

Далее он рассказывает о том, что произошло, насколько это было известно, сразу после убийства. Человек был убит, возвращаясь домой после ужина, в сентябре, после наступления темноты, скажем, в восемь или девять часов, и об этом факте в Америке узнали еще до рассвета. Поездки тогда были не очень быстрыми, но гонца, некоего Маллия Глауция, человека, находившегося в очень близких отношениях с Титом Магнусом, сразу же отправили в легком жигуленке, чтобы он проехал всю ночь и доставил информацию Титу Капито. К чему была вся эта спешка? Как Глауция узнала об убийстве так быстро? По какой причине пришлось ехать всю ночь? Почему нужно было, чтобы Капито узнал обо всем сразу? "Я не могу думать, - говорит Цицерон, - я вижу только, что Капито получил три фермы из тринадцати, которыми владел убитый!" Но Капито должен быть представлен в качестве свидетеля, и Цицерон дает нам понять, какому перекрестному допросу он подвергнется.

Во всем этом читателю приходится многое домысливать и делать выводы о фактах, доказательств которых у него нет. Когда был послан этот торопливый гонец, у него, вероятно, не было и мысли обвинить сына. Два настоящих организатора убийства были бы более бдительны, если бы задумали такой ход. Предполагалось, что, когда человек будет мертв, а его имущество конфисковано, страх перед фаворитом Суллы и привычный ужас перед ужасами того времени заставят сына уклониться от расследования. До сих пор, когда убивали людей и забирали их имущество, даже если убийство и захват происходили не в строгом соответствии с постановлением Суллы, считалось, что безопаснее молчать и терпеть; но у этого несчастного Секста были друзья в Риме - друзья Суллы, о которых Хрисогон и Титусы, вероятно, и не помышляли. Когда же случилось так, что переполох поднялся сильнее, чем они ожидали, обвинение стало необходимым.

Но для того чтобы получить необходимую официальную поддержку и помощь, нужно было найти Хрисогона. Сулла в это время находился в Волатерре, в Этрурии, примерно в 150 милях к северо-западу от Рима, и с ним был его любимец Хрисогон. Через четыре дня после убийства весть была доставлена туда, и, как утверждает Цицерон, тем же гонцом - Глауцием, - который доставил ее в Америку. Хрисогон сразу же позаботился о продаже товара, и из этого Цицерон делает вывод, что Хрисогон и два Тита были партнерами.

Но, похоже, когда о смерти старого Росция стало известно в Америке, где он сам периодически проживал и был самым заметным человеком, жители, пораженные ужасом, решили послать депутацию к Сулле. Вероятно, им было известно о том, как поступали с имуществом их горожан, и, похоже, они желали справедливости. Десять горожан были

выбраны, чтобы отправиться к Сулле и попросить его лично разобраться в этом деле. И здесь мы опять остаемся в полном неведении, потому что этот самый Капито, которому эти фермы были выделены в качестве его доли, был не только выбран одним из десяти, но и фактически стал их представителем и руководителем. Главная цель состояла в том, чтобы держать в неведении самого Суллу, и это Капито удалось сделать с помощью Хрисогона. Никому из десяти не было позволено увидеть Суллу. Их обманули, заставив поверить, что Хрисогон сам присмотрит за ним, и они возвращаются в Америку, так ничего и не добившись. Мы склонны полагать, что депутация была ложной, каждый из которых, вероятно, получил свою долю, чтобы таким образом создать видимость справедливости. Если это было так, то Цицерон не стал рассказывать эту часть истории, несомненно, имея какие-то веские адвокатские причины опустить ее.

Пока что дело шло к Титусам и Хрисогону, который получил свою львиную долю. Наш бедный Росций, жертва, поначалу отказался от своего имущества и позволил заставить себя молчать. Мы не можем не думать, что он был бедным существом, и можем предположить, что он вел жалкую жизнь во время всех убийств, совершенных по сулланским предписаниям. Но в своем убожестве он нашел путь к большим друзьям своей семьи в Риме, и там его обвинили в отцеубийстве, потому что Хрисогон и Титы стали бояться, что эти большие друзья могут сделать.

Такова история, которую Цицерон смог рассказать в своей речи. Кроме этого, мы знаем только, что человек был оправдан. О том, получил ли он обратно часть имущества своего отца, нам ничего не известно. Было ли проведено дальнейшее расследование убийства, постигло ли зло тех двух Титусов или Хрисогон был вынужден откупиться, нам никто не сообщил. Это дело не имело большого значения в Риме, где убийства и организованные ограбления такого рода были обычным явлением повседневной жизни. История не стала бы вмешиваться в столь заурядные дела, если бы не случилось так, что дело попало в руки человека, столь великого мастера своего языка, что увековечивание его речи по этому поводу стоило веков. Но эта история, как история римской жизни, интересна, и она дает небольшую помощь истории в объяснении того состояния вещей, которое создал Сулла.

Нападки на Хрисогона смелы и не могли не быть оскорбительными для Суллы, хотя Сулла по имени освобожден от непосредственной вины. Самого Хрисогона, фаворита, он не щадит, произнося слова столь горького тона, что можно подумать, что судьи - судьи Суллы - остановили бы его, будь у них такая возможность. "Оставив в стороне Секста Росция, - говорит он, - я требую, прежде всего, объяснить, почему было продано имущество уважаемого гражданина; затем, почему было продано имущество того, кто сам не был проскрибирован и не был убит, защищая врагов Суллы? Ведь только против них и существует закон. Тогда я спрашиваю, почему они были проданы, когда законный день для таких продаж уже прошел, и почему они были проданы за такой пустяк".⁷² Затем он представляет нам Хрисогона, щеголяющего по улицам. "Вы видели его, судьи, как он, причесанный и надушенный, плывет по Форуму" - он, вольноотпущенник, с толпой римских граждан за спиной, чтобы все видели, что он считает себя ниже всех - "единственный счастливый человек дня, единственный, у кого есть хоть какая-то власть в руках".⁷³

Этот процесс, как уже говорилось, был "causa publica", уголовным обвинением такой важности, что требовал рассмотрения его перед полным составом судей. Число их точно не известно, но, вероятно, их было более пятидесяти. Председательствовал тогдашний претор - претор, которому по жребию выпала на этот год эта особая обязанность, - а судьи сидели вокруг него. Их обязанность, по-видимому, заключалась в том, чтобы выслушать состязательные речи, а затем проголосовать. Каждый судья мог проголосовать⁷⁴ "виновен",

"оправдан" или "не доказано", как это делается в Шотландии. По сути, они были скорее присяжными, чем судьями. Не похоже, что в судьях, которых в разные периоды брали из разных сословий граждан, но которые в этот момент, по специальному закону, принятому Суллой, были выбраны только из сенаторов, специально искали какие-то юридические познания. У нас есть множество доказательств того, что в этот период судьи в Риме были наиболее коррумпированы. Они были запятнаны двойной коррупцией: стояли на страже своего порядка вместо того, чтобы стоять на страже интересов общества - каждый из них чувствовал, что может наступить его очередь быть обвиненным, - а также брали прямые взятки. Цицерон в разных случаях - например, в этом, и особенно в суде над Верресом, к которому мы скоро вернемся, - очень остро чувствовал, что единственное средство добиться правдивого вердикта от большинства судей - это запугать их временной честностью в силу значительности случая. Если бы судебное разбирательство проходило с безразличными адвокатами, не вызывая общественного резонанса, без гениальных усилий, способных вызвать восхищение, при большом стечении публики и, как следствие, симпатий, решение суда было бы, разумеется, куплено. В таком случае, как в случае с Секстом Росцием, беднягу осудили бы, зашили в мешок и бросили в море, часть награбленного поделили бы между судьями, и больше ничего об этом не говорили. Но если оратор сможет добиться для себя такой репутации, что весь мир будет приходить и слушать его, если он сможет так говорить, что Рим будет вынужден говорить о суде, тогда судьи смогут испугаться и вынести верный приговор. Поэтому можно понять, как важно было заручиться услугами Цицерона или Гортензия, которому не было равных в римской адвокатуре, когда Цицерон начал выступать в суде.

Было три особых способа ораторского искусства, в которых Цицерон проявлял свои способности. Он выступал либо перед судьями - большим составом судей, собравшихся вокруг претора, как в случае с Секстом Росцием, - либо в случаях гражданского права перед одним судьей, выбранным претором, который сидел с заседателем, как в случае с актером Росцием, о котором мы сейчас упомянем. Это была признанная работа всей его жизни, которой он занимался, во всяком случае, в ранние годы; или он выступал перед населением, в том, что называлось *Concio*, или народное собрание - речи, произнесенные перед толпой, собранной для особой цели, как вторая и третья орации против Катилины; или в сенате, в котором политический, а не судебный приговор выносился на основании голосов сенаторов. Был и четвертый способ обращения, который во времена императоров стал обычным, когда адвокат обращался *"ad Principem"*, то есть к самому императору или к какому-нибудь правителю, выступающему от его имени в качестве единственного судьи. Именно так Цицерон в последние годы своей жизни выступал перед Цезарем в защиту Лигария и царя Дейотара. В каждом из этих случаев ему приходилось придерживаться отдельной манеры и линии, и во всех этих случаях он, похоже, был одинаково счастлив и одинаково силен. Судя о его речах, мы должны помнить, что они, вероятно, не были произнесены в том виде, в каком мы их читаем. Некоторые из тех, что мы имеем, вообще не были произнесены, как, например, пять последних ораций Веррена и вторая, самая длинная из "Филиппик". Некоторые, как, например, "Защита Милона", язык которой, возможно, столь же совершенен, как и язык любой другой оратории, дошедшей до нас из древних или современных времен, были произнесены лишь частично; так что то, что мы читаем, имеет лишь малое отношение к тому, что было услышано. Все они, вероятно, были отрепетированы для публикации.⁷⁵ Мы не можем представить себе, что слова, столь совершенные по своему построению, должны были вылетать из уст человека, зачастую почти не подготовленного. Но мы знаем по свидетельствам того времени и по характеру, который остался от него в последующие римские века, насколько велик был непосредственный эффект его ораторского искусства. Мы можем представить его в случае с Секстом Росцием, стоящим под открытым небом на

Форуме, с движимой мебелью суда вокруг него, креслами, на которых сидели судьи с претором посреди них, все сенаторы в своих белых одеждах с широкой пурпурной каймой. Там же на нижних скамьях сидели, надо полагать, друзья обвиняемого и сторонники обвинения, а вокруг, за спиной оратора, собралась такая толпа, которую он своим красноречием мог привлечь на место. Цицерон был еще молодым человеком, но его имя уже стало известным, и мы можем предположить, что за границей распространилась какая-то весть о смелых словах, которые будут сказаны в адрес Суллы и Хрисогона. Сцена, должно быть, сильно отличалась от наших мрачных дворов, где горностаи блестят только благодаря чистоте и образованности того, кто его носит. В Риме были все внешние дары. Цицерон умел ими пользоваться, чтобы судьи, игравшие столь значительную роль в празднике, не посмели опозориться из-за его публичности. Квинтилиан дает своим ученикам множество советов о том, как им следует одеваться⁷⁶ и держать тогу, менять складки одежды, чтобы соответствовать различным частям речи, как двигать руками, держать голову, поворачивать шею, даже как причесываться, когда им предстоит выступать на публике и вести речь в суде. Все эти искусства, несомненно, со многими изменениями, происходившими с годами, дошли до него со времен, предшествовавших Цицерону; но он всегда ссылается на Цицерона, как будто это были лучшие времена римского красноречия. Мы вполне можем поверить, что Цицерон изучил многие из этих искусств к своим двадцати семи годам - он знал, как держать тогу и как ее сбросить, как сделать правильный угол локтем, как причесать волосы и при этом не быть пижоном, и добавить к славе своего голоса все личные достоинства, которые были в его распоряжении.

Секст Росций Америкин, со всеми его несчастьями, несправедливостями и бедами, теперь для нас не более чем название басни; но для тех, кто знает его, басня, я думаю, привлекательнее большинства романов.

Мы знаем, что перед тем, как отправиться в Грецию в 79 году до н. э., Цицерон отстаивал и другие интересы, особенно Публия Квинтия, о котором у нас есть его речь, и одной дамы из Арретиума, в которой он защищал ее право считаться свободной женщиной этого города. В этой речи он снова напал на Суллу, поскольку права дамы были поставлены под угрозу постановлением диктатора; и снова Цицерон добился успеха. Это не сохранилось. Затем он отправился в путешествие, о котором я уже говорил. Пока он отсутствовал, умер Сулла, и состояние Республики во время его отсутствия было не слишком обнадеживающим. В течение этих двух лет консулом был Лепид, слабее которого никто никогда не правил в Риме и не восставал против Рима; а Серторий, который на самом деле был великим человеком, воевал против Рима в Испании как мятежник, хотя на самом деле он боролся за создание новой римской власти, которая должна была быть чище той, что существовала в Италии. Что думал Цицерон о состоянии своей страны в это время, мы не имеем возможности узнать. Если он и писал тогда письма, то они не сохранились. Его устные высказывания достаточно ясно говорят о состоянии судов и дают нам понять, насколько решительно он противостоял их беззакониям. Молодой человек может посвятить себя политике с не меньшим рвением, чем пожилой, но он не может этого сделать, если у него есть профессия. Только когда его дело настолько хорошо усвоено им, что сидит на нем легко, он способен взяться за второе занятие.

Ходят слухи, что Цицерон, вернувшись домой из Греции, некоторое время подумывал о том, чтобы предаться философии, поэтому его в насмешку называли греком и софистом. Однако не стоит верить, что он хоть на мгновение отказался от цели, которую поставил перед собой. По мере того как мы будем продолжать рассказывать о его жизни, станет очевидно, что эта так называемая философия греков никогда не была для него предметом более чем

интересного исследования. Полноценная, активная, человеческая жизнь, в которой он мог бы достичь для себя всех прелестей высокого положения, позолоченного интеллектом, эрудицией и изысканной роскошью, в которой он мог бы также служить своей стране, своему ордену и своим друзьям - именно такую жизнь предлагают себе наши ведущие мужчины здесь, сегодня, в нашей стране - вот чего Цицерон намеревался достичь с ранних лет, и вряд ли его отвратила бы от этого псевдологика греческих философов. Тому, что логика даже Академии была для него ложной, есть множество доказательств, причем не только в его жизни, но и в его сочинениях. Существует история о том, что во время своих путешествий он советовался с оракулом в Дельфах о своей будущей карьере, и когда ему сказали, что он должен полагаться на свой собственный гений, а не на мнение всего мира, он решил отказаться от почестей Республики. То, что он рассказывал тогдашним молодым людям о своих философских изысканиях до тех пор, пока над ним не стали смеяться и не дали ему прозвище, может быть вероятным, но не может быть, чтобы он когда-либо думал об отказе от адвокатуры.

В год своего возвращения в Рим, когда ему было тридцать лет, он женился на Теренции, знатной даме, о которой нам сообщили, что она имела хорошее состояние и что ее сестра была одной из Весталок-Дев.⁷⁷ О ее знатности можно судить по тому, что девственниц, как правило, выбирали из знатных семей, хотя закон требовал, чтобы они были дочерьми свободных родителей и людей, занимающихся не самыми простыми делами. Что касается более важного вопроса о судьбе Теренция, то в этом никогда не было сомнений. Плутарх, однако, не считает его очень большим, полагая, что оно равнялось примерно 4200 фунтам стерлингов на наши деньги. В то же время он говорит нам, что состояние самого Цицерона было меньше 4000 фунтов стерлингов. Но в обоих этих утверждениях Плутарх, который был вынужден брать факты там, где мог их получить, и не был очень конкретным в своих авторитетах, вероятно, ошибся. Раннее образование Цицерона и забота о том, чтобы обеспечить его всем, что можно купить за деньги, как мне кажется, убедительно свидетельствуют о богатстве его отца; а образ жизни, принятый Цицероном, показывает, что ни в один период он не считал нужным жить так, как живут люди с небольшими доходами.

Далее мы увидим, что он свободно тратил свои деньги, как это делали в Риме люди, обладавшие большими средствами. Мы знаем, что он часто влезал в долги. Мы узнаем об этом из его писем. Но он занимал деньги не как нуждающийся человек, а как человек спекулятивный, сметливый и вполне уверенный в своих силах. В те времена управление доходами не было столь жестким, как сейчас. Спекуляция была еще более разгульной, и подрастающие люди были готовы и могли влезть в долги на огромные суммы, не имея никаких гарантий, кроме обещания будущей карьеры. Долги Сезара в разные периоды его жизни были легендарными. Говорят, что он задолжал более 300 000 фунтов стерлингов, прежде чем достиг своей первой ступени на государственной службе. Цицерон не подвергался подобной опасности. Мы знаем, что, когда ему требовались большие государственные расходы, как, например, когда он занимал должность эдила, он не превышал установленных границ и не расточал деньги, которыми не обладал. Мы также знаем, что он воздерживался, полностью воздерживался, от незаконных привычек наживать большие состояния, которые были свойственны великим политикам Республики. Быть квестором, чтобы стать эдилом, эдилом, чтобы стать претором и консулом, претором и консулом, чтобы ограбить провинцию, разграбить Сицилию, Испанию или Азию, а затем вернуться богатым человеком, достаточно богатым, чтобы справиться со всеми своими кредиторами и подкупить судей, если его обвинят в проступках - таковы были обычные шаги предприимчивых римлян к власти, богатству и удовольствиям. Но, как можно заметить, при таком стечении обстоятельств ограбление провинции было необходимым условием успеха.

Иногда это происходило настолько великолепно, что стало бессмертным фактом в истории. Пример Верреса будет описан в следующей главе, но не более того. Более распространенной была умеренность, чтобы обманутый провинциал мог остаться в живых и предпочесть страдания сомнительным шансам на выздоровление. Проконсул мог ограбить очень много и при этом вернуться с чистыми руками, прихватив с собой десяток провинциальных депутатов, чтобы те восхваляли его доброту перед гражданами дома. Но Цицерон не грабил вообще. Даже те, кто был наиболее суров к его имени, обвиняя его в неискренности, а иногда и в отсутствии патриотизма, потому что его римская манера заявлять о себе без утайки в письмах была увековечена для нас совершенством их языка, даже они признали, что он сохранял свои руки тщательно чистыми на службе своей стране, когда иметь чистые руки было настолько специфично, что считалось абсурдным.

Были и другие способы, с помощью которых знатный римлянин мог заработать деньги, причем не покидая города. Оратору можно было заплатить за его услуги адвоката. Цицерон, если бы ему открылось такое ремесло, мог бы заработать почти любую сумму, на которую хватило бы его воображения. Такая торговля велась в очень широких масштабах. Она была незаконной: такие платежи были запрещены "Lex Cincia De Muneribus", принятым более чем за столетие до того, как Цицерон начал вести свои дела.⁷⁸ Но в большинстве случаев этот закон стал мертвой буквой. Нет сомнений, что Гортензий, предшественник и великий соперник Цицерона, принимал подарки, если не абсолютную оплату. Действительно, миф о почетной работе, который сам по себе абсурден, был не более осуществим в Риме, чем в Англии, где теоретически предполагается, что каждый барристер работает бесплатно. То, что "Lex Cincia", в том, что касается оплаты адвокатов, была абсурдной, можем признать все мы. Услуги, за которые нельзя требовать регулярной оплаты, всегда будут стоить дороже, чем те, которые имеют определенную цену. Но Цицерон не стал нарушать закон. Скорее намекают, чем утверждают, что у него, как и у других ораторов того времени, была своя цена. Он сам говорит нам, что ничего не брал; и не было приведено ни одного случая, чтобы он когда-либо так поступал. Он достаточно свободно обвиняет Гортензия в том, что тот принял прекрасную статуэтку, сфинкса из слоновой кости, имеющую большую ценность. То, что он знал о Гортензии, Гортензий знал бы о нем, если бы было что знать; и то, что Гортензий или другие слышали, непременно было бы рассказано. Насколько мы можем судить, нет никаких оснований обвинять Цицерона в получении гонораров или подарков, кроме вероятности того, что он это делал. Думаю, мы вправе считать, что он этого не делал, поскольку те, кто внимательно следил за его поведением, не нашли возможности разоблачить его. То, что ему платили различные союзные государства за то, что он брал на себя их защиту в Сенате, вполне вероятно, поскольку такой обычай не был незаконным. Мы знаем, что он специально занимался делами Диррахия и, вероятно, поддерживал дружеские отношения с другими союзными общинами. Однако это, должно быть, произошло позже, когда его имя было достаточно высоко, чтобы гарантировать ценность его услуг, и когда он был сенатором.

Благородные римляне, как и они сами, бесконечно превосходящие мелкие торговые заботы, привыкли в значительной степени заниматься ростовщичеством. Ужасный пример такой подлости мы увидим на примере Брута - того самого Брута, которого мы привыкли считать чуть ли не наравне с Катонem по чистоте. Ссужать деньги гражданам или, что более выгодно, союзным государствам и городам под огромные проценты было обычным делом римского аристократа, нуждающегося в доходах. Союзный город, когда его полностью обглодал до костей один знатный римлянин, ограбивший его в качестве проконсула или губернатора, выходил из затруднительного положения, занимая деньги у другого знатного римлянина,

который затем перемалывал его кости, взыскивая проценты и основную сумму долга. Цицерон в самом совершенном из своих произведений - трактате *De Officiis*, в котором он наставляет своего сына, как человек должен стараться жить, чтобы быть джентльменом, - выступает как против торговли, так и против ростовщичества. Когда он говорит нам, что следует считать подлыми тех, кто покупает, чтобы потом продать, мы, с нашими более поздними взглядами, не совсем согласны с ним, хотя он основывает свое утверждение на идее, которая слишком часто поддерживается мировой практикой, а именно: что люди не могут вести розничную торговлю выгодно, не обманывая.⁷⁹ Однако всегда была распространена доктрина, что розничная торговля несовместима с благородным поведением, и ее практиковали все римляне, стремившиеся причислить себя к высшему сословию. Однако другой и, безусловно, более низкий способ получения денег - ростовщичество - был слишком распространен. Известно, что Красс, знаменитый римский богач времен Цезаря, один из первых членов Триумvirата, бесславно погибший в Парфии, нажил свое богатство именно таким способом. Но против этого Цицерон настроен так же жестко, как и против лавочной торговли. "Прежде всего, - говорит он, - презренны те доходы, которые вызывают ненависть людей, как, например, доходы собирателей обычаев и ростовщиков".⁸⁰

Опять же, мы вправе сказать, что Цицерон не снизошел до обогащения теми средствами, которые он сам осуждает, потому что, если бы он это сделал, обвинения, выдвинутые против него современниками, достигли бы наших ушей. Также маловероятно, что человек, обращаясь к своему сыну по поводу правил жизни, стал бы говорить против метода сбора богатства, который, если бы он сам его практиковал, должен был быть известен его сыну. Его правила были суровыми по сравнению с обычаями того времени. Его близкий друг Аттик так не управлял своим поведением, как и Брут, который, когда он писал *De Officiis*, был ему лишь менее дорог, чем Аттик. Но сам Цицерон, похоже, поступал так добросовестно. Из его письма мы узнаем, что он в значительной степени владел недвижимостью в Риме, вероятно, вложив туда свои собственные деньги или деньги своей жены. Он также унаследовал семейный дом в Арпинуме. Он хвастается тем, что за свою жизнь получил по наследству около 200 000 фунтов стерлингов (двадцать миллионов сестерций), что само по себе является источником большого дохода и характерно для римлян, занимающих высокое положение.⁸¹ О размерах его доходов невозможно говорить или даже предполагать. Но мы знаем, что он всегда жил как богатый человек - как тот, кто считает такое состояние жизни по существу подходящим для себя; и что хотя он часто был в долгах, как это было принято у знатных римлян, он всегда мог написать о своих долгах в приятной форме, показывая, что они не были для него тяжелым бременем; и мы знаем, что он мог в любое время командовать для себя виллами, книгами, статуями, украшениями, колоннами, галереями, очаровательными тенями и всеми восхитительными придатками смешанного богатства и ума. Он был похож на английского маркиза, который, хотя и по уши в ипотеке, совершенно уверен, что никогда не будет нуждаться ни в одной из роскошей, подобающих маркизу. Хотя у нас нет авторитетов, которые могли бы рассказать, как его жизненное состояние стало таким, каким оно было, необходимо, чтобы мы поняли это состояние, если хотим получить ясное представление о его жизни. Об этом состоянии у нас есть множество свидетельств. Он начал свою карьеру как юноша, для которого не жалели ничего, и когда он поселился в Риме с целью завоевать для себя высшие почести Республики, он сделал это, имея средства, чтобы жить как дворянин.

Но самое главное, на чем следует настаивать, заключается в том, что в то время как многие, можно сказать, все вокруг него в его собственном ордене, были беспринципны в отношении средств получения денег, он сохранил свои руки чистыми. Практика тогда была такой же, как

и сейчас. В наши дни предполагается, что у джентльмена руки должны быть чистыми; но среди нас распространилось мнение, что, если только дать человеку подняться достаточно высоко, почва к нему не прилипнет. Грабить - это подло; но если грабить достаточно, то грабеж превратится в героизм или, во всяком случае, в великолепие. У Сезара его долги считались счастливой дерзостью; его разграбление Галлии и Испании, а также Рима свидетельствовало лишь об успехах великого полководца; его жестокость, которая по хладнокровной эффективности равнялась, если не превосходила, кровожадность любого другого тирана, называлась милосердием.⁸² Я не хочу проводить параллель между Сезаром и Цицероном. Ни один человек не мог бы быть более разным ни по характеру, ни по карьере. Но одного прославили, потому что он был беспринципным, а другого упрекнули, потому что на каждом повороте его жизни доминировали угрызения совести. Я не говорю, что он всегда поступал так, как считал нужным. Человек, который много сомневается, никогда так не поступит. То, что было правильным для него в мыслях, становилось неправильным в поступках. То, от чего он сторонился как от зла, когда оно было в пределах его понимания, приобретает цвет добра, когда оно становится недостижимым. В Цицероне не было того, что нужно для управления Римом и римлянами его эпохи; но он был человеком, чьи руки не были запятнаны ни кровью, ни деньгами, и за это ему, во всяком случае, можно отдать должное.

Между возвращением Цицерона в Рим в 77 году до н. э. и его избранием квестором в 75 году, в этот период он женился на Теренции, он произносил различные речи по разным поводам, из которых до нас дошла только одна, вернее, небольшая часть одной. Она примечательна тем, что была произнесена от имени Росция, великого комического актера, чье имя стало нам знакомо благодаря его превосходству, почти так же, как имена Гаррика, Сиддонса и Тальмы. Это был иск о стоимости раба и о размере материальной ответственности, налагаемой на Росиуса за раба, который был убит, когда находился в его ведении. Что касается убийства, то оно не вызывает сомнений. Раб был ценен, и нанесенный его хозяину ущерб имел большое значение. Он, будучи рабом, мог претендовать на нанесенный ему ущерб не больше, чем собака или лошадь. Раб, которого звали Панург - имя, которое с тех пор стало знаменитым, было позаимствовано Рабле, вероятно, из этого случая, и дано его демону озорства, - проявлял способности к актерскому мастерству и поэтому был ценен. Тогда некто Флавий убил его; почему и как - неизвестно; и, убив, рассчитался с Росием за нанесенный ущерб, подарив ему небольшую ферму. Но Росций лишь одолжил или нанял этого человека у некоего Хереи или был в партнерстве с Хереей по поводу этого человека и поэтому выплатил кое-что из стоимости фермы за понесенный ущерб; но владелец не был удовлетворен и по прошествии времени предъявил новые требования. Так возник иск, в котором Цицерон добился успеха. В имеющемся у нас фрагменте речи нет ничего примечательного, кроме выверенной ясности языка; но он напоминает нам мнение, которое Цицерон высказал об этом актере в оратории, произнесенной им в честь Публия Квинтия, который был шурином Росция. "Он такой актер, - говорит Цицерон, - что нет другого на сцене, достойного быть увиденным; и такой человек, что среди людей он последний, кто должен был стать актером".⁸³ Похвала оратора в адрес актера не имеет особого значения. Если бы Росций не был великим в своей профессии, его имя не дошло бы до последующих веков. Сейчас не представляет большого интереса и то, что актера высоко оценил как человека его защитник; но для нас важно знать, что сцена в целом пользовалась такой низкой репутацией, что казалось, хороший человек должен был заниматься таким ремеслом.

В 76 году до н. э. Цицерон стал отцом дочери, которую мы будем называть Туллеей, и которая, повзрослев, стала единственным человеком, которого он любил больше всего на свете, и был избран Квестором. Цицерон рассказывает о себе, что в предыдущем году он просил квестора, когда Котта был кандидатом на пост консула, а Гортензий - на пост претора.

В диалоге *De Claris Oratoribus*, который всегда носил имя Брута, есть несколько отрывков, в которых оратор рассказывает о себе больше, чем в любом другом своем произведении. Я приложу перевод небольшого отрывка, поскольку он представляет интерес; но я отнесу его к приложению, поскольку он слишком длинный для вставки в текст или для примечания.⁸⁴

Глава V.

ЦИЦЕРОН КАК КВЕСТОР.

Цицерон был избран квестором на тридцатом году своей жизни, до 76 года. Тогда ему был почти тридцать один год. Его предшественники и соперники в адвокатуре, Котта и Гортензий, были избраны консулом и претором, соответственно, в том же году. Стать квестором в самом раннем возрасте, разрешенном законом (а именно в тридцать один год), - таково было стремление римского адвоката, который намеревался сделать свое состояние, служа государству. Стать квестором в тридцать второй год, эдилом - в тридцать седьмой, претором - в сорок первый, а консулом - в сорок четвертый, означало достичь в самой ранней последовательности, разрешенной законом, всех великих должностей, связанных с доверием, властью и будущим вознаграждением. Большая награда за проконсульское хищничество обычно не наступала до последнего шага, хотя и были известные случаи, когда пропретор с проконсульской властью мог нажить большое состояние, как мы узнаем, когда будем иметь дело с Верресом, и хотя эдилы и даже квесторы могли найти себе пропитание. Поэтому для человека было очень важно начать как можно раньше, насколько позволял закон, и потерять как можно меньше лет на достижение вершины. Цицерон не потерял ни одного. Как он сам рассказывает в отрывке, на который я ссылался в последней главе и который можно найти в Приложении, он завоевал расположение людей, то есть свободных римлян, которые обладали избирательным правом и могли голосовать либо за него, либо против него, благодаря усердию, с которым он относился к делам, за которые брался, и некоторому блеску речи, который был для них новым.⁸⁵ Упорно прикладывая руку к плугу, не позволяя себе отвлекаться ни на одну из тех роскошей, которым так склонны были поддаваться римляне его времени, он добился своей цели, решив сделать все, что в его силах. Он был "*Novus Homo*", то есть человеком, принадлежащим к семье, ни один из членов которой до сих пор не занимал высокого поста в государстве. Против таких людей существовало сильное предубеждение аристократии, которой не нравилось, что блага республики распределяются между большим числом рук. Право голоса было общим для всех римских граждан мужского пола, но возможность влиять на выборщиков перешла в руки богачей. Восхищение, которое Цицерон намеревался вызвать, не зашло бы далеко, если бы его не удалось вызвать в очень высокой степени. Веррес мог стать претором; Лепид несколько лет назад мог получить консульство; или Антоний, или почти Катилина. Кандидат брал деньги в долг под залог собственной дерзости и таким образом добивался успеха - возможно, с небольшими дарами красноречия, если он мог их достичь. Со всем этим, с заимствованием и тратой денег, то есть с прямым подкупом, Цицерон не имел ничего общего; но искусством агитации - тем искусством, с помощью которого он мог в данный момент сделать себя любимым среди граждан, имевших право голоса, - он владел в совершенстве.

Существует небольшой трактат "*De Petitione Consulatus*", посвященный агитации за консульство, о котором можно упомянуть здесь, поскольку все хитрости этого ремесла были так же необходимы ему, когда он хотел стать квестором, как и впоследствии, когда он хотел

стать консулом, и поскольку политические дела его жизни будут слишком быстро торопить нас в дни его консульства, чтобы мы могли обратиться к этим урокам. Предполагается, что это небольшое произведение, от которого до нас дошел лишь фрагмент, было адресовано Цицерону его братом Квинтом, который давал братские советы по поводу предстоящего великого события. Критики утверждают, что она была отретуширована самим оратором. Читатель, изучивший стиль Цицерона, подумает, что ретушь была очень сильной, или что оба брата были очень похожи друг на друга по силе выражения.

Первый совет, несомненно, всегда был на уме у Цицерона, не только когда он искал должность, но и всякий раз, когда он обращался к собранию своих сограждан. "Подумайте о том, что такое Республика; о том, кем вы хотите быть в ней, и о том, кто вы такие, что стремитесь к ней. Ежедневно спускаясь на Форум, прокручивайте в голове ответ на этот вопрос: "Novus sum; consulatum peto; Roma est" - "Я человек из неопытной семьи. Я ищу консульства. Я ищу его в Риме". Хотя состояние Рима было плохим, все же для него Республика была величайшей вещью в мире, а быть консулом в этой Республике - высшей честью, которую мог оказать мир.

В этом есть благородство, но в средствах агитации, которые пропагандируются, очень много неблагородного. Я не могу сказать, что они еще слишком благородны для нашего современного использования здесь, в Англии, но они слишком благородны, чтобы их признавали сами кандидаты или их братья от их имени. Цицерон, не продвинувшийся достаточно далеко в современной цивилизации, чтобы изучить красоту истины, считается лживым и лицемерным. Мы, знающие гораздо больше, чем он, и владеющие доктриной истины на кончиках наших пальцев, достаточно мудры, чтобы ничего не говорить о своих собственных недостатках, а приписывать подобные пороки только другим. "Хорошо, когда те, кто обладает званием, к которому мы стремимся, считают нас достойными его". Выставляйте себя аристократом, имеет он в виду. "Агитируйте их и хлопайте перед ними. Заставьте их поверить, что в вопросах политики вы всегда были с аристократией, а не с толпой"; что если "вы хоть раз произнесли слово на публике, чтобы пощекотать народ, то сделали это ради того, чтобы заполучить Помпея". Что касается этого, то необходимо понять особую популярность Помпея в данный момент, как у либералов, так и у консерваторов. "Прежде всего, позаботьтесь о том, чтобы с вами были "молодые люди". Они так много несут! Их уже много с вами. Позаботьтесь о том, чтобы они знали, как много вы о них думаете".

Ему особенно хочется донести до публики беззакония Катилина, своего противника, о котором Квинт говорит, что, хотя тот недавно был оправдан в связи со своими спекуляциями в Африке, ему пришлось так сильно подкупить судей, что теперь он так же беден, как и они до того, как получили свою добычу. Каждое слово, которое мы читаем, заставляет нас согласиться с Моммзеном в том, что римской олигархии того времени не может быть вынесено никакого приговора, кроме одного - "неумолимого осуждения".⁸⁶

"Помни, - говорит Квинт, - что твоя кандидатура очень сильна в той дружбе, которая возникла благодаря твоим мольбам. Позаботься о том, чтобы каждый из этих друзей знал, какое особое дело ему поручено по этому случаю; и поскольку ты еще не побеспокоил ни одного из них, дай им понять, что ты отложил на данный момент выплату их долгов". Все это очень хорошо, но следующее указание настолько смешивает бизнес с его истиной, что никто, кроме Макиавелли или Квинта Цицерона, не смог бы выразить его словами. "Людей, - говорит Квинт, - побуждают бороться за нас в этих агитациях три мотива - память о сделанной доброте, надежда на грядущую доброту и общность политических убеждений. Вы должны понять, как вы должны уловить каждый из них. Небольшие услуги побудят человека агитировать за вас; и те, кто обязан своей безопасностью вашим ходатайствам, а таких

немало, понимают, что если они не поддержат вас сейчас, то будут считаться во всем мире жалкими товарищами. Тем не менее им следует дать понять, что, поскольку они в долгу перед вами, вы будете рады возможности оказаться в долгу перед ними. Что же касается тех, кого вы держите в руках только благодаря надежде, - а это гораздо более многочисленный класс людей и, вероятно, гораздо более активный, - то именно им вы должны дать понять, что ваша помощь всегда будет в их распоряжении".

Насколько суровой, насколько трудной была работа по агитации в Риме, мы узнаем из этих уроков. Суть жизни великого римлянина заключалась в том, что он должен был жить на публике; и до такой степени это было распространено, что мы удивляемся, как такой человек, как Цицерон, находил время для настоящей работы своей жизни. Римский меценат должен был каждое утро рано утром устраивать пир в собственном доме, а когда он спускался на Форум, его сопровождала толпа паразитов. Это стало настолько привычным, что публичный человек чувствовал себя покинутым, если оставался один дома или за границей. Рим был полон бездельников - людей, добывавших свой хлеб благосклонностью великих, бездельничавших всю жизнь - политических квиритов, занимавшихся агитацией, людей без убеждений, но веривших в превосходство того или иного вождя и готовых, в случае надобности, охать или драться на улицах. Это были квириты того времени - люди, которые, по правде говоря, откармливались на остатках награбленного у союзников; ведь теперь римлянину приходилось жить за счет промышленности тех, кого завоевал его отец. Они по-прежнему сражались в легионах, но работу в Риме выполняли рабы, а богатства Рима грабились в провинциях. Таким образом, образовался многочисленный класс, получивший название "assectatores", который, конечно, стал особенно заметен на выборах. Квинт делит всех таких приверженцев на три вида и дает указания по поводу особого обращения с каждым из них. "Есть те, кто приходит выразить тебе свое почтение в твоём собственном доме" - "Salutatores", как их называли; "затем те, кто спускается с тобой на Форум" - "Deductores"; "и после них третий, класс постоянных последователей" - "Assectatores", как их специально называли. "Что касается первых, которые меньше всех нуждаются в помощи и которые, согласно нашему нынешнему образу жизни, приходят в большом количестве, вы должны позаботиться о том, чтобы дать им понять, что их поступок, даже такой, как этот, очень ценится вами. Пусть они видят, что вы отмечаете это, когда они приходят, и говорят об этом своим друзьям, которые повторяют ваши слова. Если возможно, говорите об этом часто. Таким образом, при большом количестве претендентов люди заметят, что есть один, которому открыты глаза на эти любезности, и отдадутся ему душой и сердцем, пренебрегая всеми остальными. И учтите, когда вы обнаружите, что человек только притворяется, не дайте ему понять, что вы это заметили. Если кто-то захочет оправдаться, думая, что его подозревают в равнодушии, поклянитесь, что вы никогда не сомневались в нем и не имели повода сомневаться".

"Что касается работы "вычитателей", которые выходят с вами на улицу, - ведь она гораздо тяжелее, чем у тех, кто приходит только для того, чтобы сделать комплимент, - дайте им понять, что вы так считаете, и, насколько это возможно, будьте готовы выходить с ними в город в определенные часы". Здесь Квинт имеет в виду, что "вычитателей" не следует заставлять ждать покровителя дольше, чем можно помочь. "Присутствие ежедневной толпы, провожающей вас на Форум, показывает характер и достоинство".

"Затем следует группа последователей, которая усердно сопровождает вас везде, куда бы вы ни отправились. Что касается тех, кто делает это без особых обязательств, позаботьтесь о том, чтобы они знали, как много вы о них думаете. С тех, кто обязан делать это как долг,

взыскивайте неукоснительно. Следите за тем, чтобы те, кто может прийти сам, приходили сами, а те, кто не может, посылали вместо себя других". Какое представление это дает о труде кандидата в Риме! Я могу себе представить, что это даже хуже, чем агитация в английском округе, которая для человека духа и чести является самым унижительным из всех существующих занятий, не считающихся абсолютно позорными.

Затем Квинт переходит от специального управления друзьями к общей работе по агитации. "Она требует запоминания имен людей" - "nomenclationem", счастливое слово, которым мы не владеем, - "лести, усердия, доброго нрава, хорошей репутации и высокого положения в Республике. Пусть будет видно, что вы старались запомнить людей, и тренируйтесь в этом, чтобы власть росла вместе с вами. Ничто так не привлекает гражданина, как это. Если в вас есть мягкость, которой вы не обладаете от природы, так воздействуйте на нее, чтобы она казалась вам естественной. В вас действительно есть манера, не свойственная добродушному человеку; но вы должны ласкать людей - что, по правде говоря, гнусно и подло в другое время, но совершенно необходимо на выборах. Несомненно, это подло - льстить какому-то низкому человеку, но когда это необходимо, чтобы завести друга, это можно простить. Это должен делать кандидат, чье лицо, взгляд и язык должны соответствовать тем, с кем ему предстоит встретиться. Что означает настойчивость, мне не нужно рассказывать. Само слово объясняет. Разумеется, вы не должны покидать город; но вам недостаточно придерживаться своей работы в Риме и на Форуме. Ты должен разыскать избирателей и опросить их по отдельности; при этом следи, чтобы никто не спрашивал у другого, чего ты от него хочешь. Пусть об этом просил ты сам, и часто просил". Квинт, похоже, хорошо понимал суть дела, и старший брат, несомненно, извлек пользу из заботы младшего.

Так было заведено в Риме. То, что люди должны были пройти через все это в поисках грабежа и богатства, не кажется нам чем-то удивительным или даже неуместным. Мерзкая цель оправдывает мерзкие средства. Но в Риме были и те, кто в душе действительно служил своей стране, и для них было делом совести, что, служа своей стране, они не будут бесчестно и позорно обогащаться. Оставалась еще крупинка соли. Но даже она не могла быть использована по назначению, если бы не прибегали к подобным уловкам!

75 г. до н. э., æтат 32.

В положенный год Цицерон стал квестором, и ему по жребию досталась обязанность присматривать за западной частью Сицилии. Ведь Сицилия, хотя и была одной провинцией в целом, находясь под управлением одного наместника с проконсульской властью, сохраняла отдельные формы правления или, скорее, различные формы подчинения Риму, особенно в вопросах налогообложения, в зависимости от того, была она отвоєвана у карфагенян или нет.⁸⁷ Цицерона поселили в Лилибее, на западе, а другого Квестора - в Сиракузах, на востоке. В то время ежегодно избиралось двадцать квесторов, некоторые из них оставались в Риме, но большая часть размещалась по всей империи, причем один из них всегда был помощником каждого проконсула. Когда консул выходил в поле с войском, с ним всегда был квестор. Это стало настолько обычным делом, что квестор превратился в нечто среднее между личным секретарем и старшим лейтенантом губернатора. К такому положению вещей стали относиться с определенной святостью, как будто в этой связи было что-то более теплое и близкое, чем просто официальная жизнь; так что квестора стали называть сыном проконсула, и предполагалось, что он испытывает то благоговение и привязанность, которые сын питает к своему отцу.

Но для Цицерона, да и для молодых квесторов в целом, большая привлекательность должности заключалась в том, что претендент, однажды став квестором, оставался сенатором до конца жизни, если только не унизится до проступков. Постепенно дошло до того, что сенат пополнялся голосами народа, но не напрямую, а путем принятия в сенат всенародно избранных магистратов. Во времена Цицерона в этом органе насчитывалось от 500 до 600 членов. До Суллы их число увеличивалось или пополнялось путем прямого отбора старыми царями, цензорами или диктаторами, каковым был Сулла; то же самое сделал впоследствии Юлий Цезарь. Между диктатурой Суллы и диктатурой Цезаря прошло всего тридцать лет - с 79 по 49 год до н. э. Однако именно в эти годы Цицерон мечтал о том, что Республика может быть восстановлена с помощью честного сената, который должен был поддерживаться постоянным притоком новой крови, поступающей в него с приходом магистратов, избранных народом. Тацит говорит нам, что именно с этой целью Сулла увеличил число квесторов.⁸⁸ Надежды Цицерона - его тщетные надежды на то, что честный сенат может быть создан, - все еще были велики, хотя в то самое время, когда он был избран квестором, он знал, что судьи, которые тогда избирались из сената, были настолько коррумпированы, что их суждениям нельзя было доверять. Об этом популярном способе заполнения сената он говорит впоследствии в своем трактате *De Legibus*. "Из тех, кто исполнял обязанности магистратов, составляется сенат - мера, полностью отвечающая народным интересам, поскольку теперь никто не может достичь высшего звания, а именно сената, "иначе как голосами народа, поскольку вся власть выбора была отнята у цензоров".⁸⁹ В своих доводах в защиту П. Секста он точно так же хвастается старыми временами, не с абсолютной точностью, насколько мы можем понять старую конституцию, но с такой же страстной пылкостью, как и в отношении тела. "Римляне, когда они больше не могли выносить правления царей, создали ежегодные магистратуры, но так, что для руководства республикой был создан Совет сената. Сенаторы выбирались для этой работы всем народом, и вход в этот орден был открыт добродетелью и промышленностью граждан в целом".⁹⁰ Защищая Клуенция, он рассказывает о славных привилегиях римского сената. "Его высокое место, его власть, его великолепие на родине, его имя и слава за границей, пурпурная мантия, кресло из слоновой кости, пожалование должностей, фасции, армия с ее командованием, управление провинциями!"⁹¹ Об этом великолепии "*apud exterarum gentes*" он излагает в одной из своих атак на Верреса.⁹² Из всего этого можно понять, как Цицерон представлял себе палату, в которую он попал, как только был избран квестором.

В этом вопросе, который был стержнем, на котором держалась вся его жизнь, - о характере римского сената - нельзя не заметить, что от него веяло то жаром, то холодом. Это было в его характере, но не из-за склонности к обману, а потому, что он был то сангвиником, то колебателем, потому что то стремился, то отчаивался. От него веяло то жаром, то холодом в отношении Сената, потому что временами ему казалось, что он такой, какой есть, - состоит по большей части из людей временных и продажных, готовых продать себя за бесценок любому покупателю; а временами он думал о Сенате как о наделенном всеми теми привилегиями, которые он называет, и мечтал, что под его влиянием он станет таким, каким должен быть - таким Сенатом, каким, по его мнению, он был в свои старые добрые времена. Его похвалы Сенату, его описание того, каким он должен быть и может быть, я уже приводил. К другой стороне картины мы скоро перейдем, когда мне придется показать, как на суде над Верресом он заявил перед самими судьями, насколько ужасной была коррупция судебного места в Риме с тех пор, как по указу Суллы его стали занимать только сенаторы. Я приведу лишь один отрывок, чтобы читатель по сочетанию слов понял, что он мог обличать сенат так же громко, как и превозносить его привилегии. В колонке слева в примечании я цитирую слова, которыми в первой речи против Верреса он заявил, "что каждый подлый и незаконный поступок, совершенный на судебном месте в течение десяти лет с тех пор, как

право судить было передано сенату, должен быть не только обличён им, но и доказан"; а в колонке справа я повторяю благородные фразы, которые он затем использовал в речи в защиту Клуенция, когда тот решил хорошо отозваться о порядке.⁹³

Именно от сената должны были зависеть те, кто желал добра Риму, - от сената, избранного, обновленного и пополняемого из народа; от органа, который должен быть одновременно августейшим и народным - с одной стороны, далеким от тирании отдельных лиц, а с другой - от насилия толпы; от сената, освобожденного от коррупции и грязи, от благородных римлян, способных благодаря своему характеру и высокому положению управлять и контролировать своих сограждан. Такова была идея Цицерона, и именно к такому положению вещей он стремился. Несомненно, он мечтал, что его собственное красноречие и собственный пример могут сделать для этого больше, чем дано людям достичь такими средствами. Несомненно, в этом было тщеславие и, возможно, тщеславие. Следует признать, что Цицерон всегда преувеличивал свои силы. Но амбиции были велики, цель благородна, а ход всей его жизни был таков, чтобы не навлечь позора на его стремления. Он не громил судей за взятки, а затем сам разграбил провинцию. Он не говорил о долге мецената перед своими клиентами, а затем открывал свои руки для незаконных платежей. Он не призывал сенат к исполнению высоких обязанностей, а затем предавался роскоши и удовольствиям. У него был *прекрасный идеал* того, как должен жить и работать римский сенатор, и он старался работать и жить в соответствии с этим идеалом. После консульства не было периода, когда бы он не осознавал свою несостоятельность. Тем не менее, постоянно трудясь, но с перерывами борясь, он шел вперед, пока в конце, в последний огненный год своего существования, не приучил себя снова думать, что еще есть шанс. Как он боролся и как погиб, мы увидим позже.

Чем занимался Цицерон в качестве квестора на Сицилии, мы не можем знать. Его переписка не простирается так далеко. О том, что он был очень активен, причем активен во благо, у нас есть два свидетельства, одно из которых серьезно, убедительно и наиболее важно как эпизод его жизни. Другое - просто хорошая история, рассказанная им самим о себе; вовсе не предназначенная для его собственного прославления, но все же имеющая определенный вес. Что касается первого: Цицерон был квестором в Лилибее на тридцать втором году своей жизни. На тридцать седьмом году он был избран эдилом, и тогда сицилийцы призвали его напасть на Верреса от их имени. Веррес, как говорят, увез из Сицилии награбленное на сумму около 400 000 фунтов стерлингов, ⁹⁴ после трехлетнего правления. Вся Сицилия была разорена. Помимо денежных потерь, ее страдания были мучительны; но только после того, как проконсульской власти губернатора пришел конец, можно было попытаться выдвинуть почти безнадежное обвинение против тирана. У тирана наверняка было много друзей в Риме. У пострадавших провинциалов, скорее всего, не было бы ни одного значимого человека. Человек, который был Квестором, не обязательно обладал влиянием, если только он не принадлежал к какой-то великой семье. В случае с Цицероном это было не так. Но за год своего пребывания на посту он создал себе такую репутацию, что сицилийцы заявили, что если они и могут довериться кому-то в Риме, то только своему бывшему квестору. В его обязанности входило следить за тем, чтобы на острове собирали необходимое количество кукурузы и отправляли ее в Рим. Большая часть хлеба, который ели в Риме, выращивалась на Сицилии, и значительная его часть поступала в виде налога. Это была ненавистная практика Рима - вытягивать средства к существованию из своих колоний, чтобы пощадить собственных рабочих. К этому, как ни тяжело было, сицилийцы хорошо привыкли. Они знали, какая сумма требуется от них по закону, и были очень рады, когда могли отказаться от уплаты положенных по закону податей; но им редко выпадало счастье быть столь умеренными со стороны своих правителей. До каких пределов можно было растянуть этот особый налог, мы увидим, когда перейдем к деталям суда над Верресом. Несомненно, только со слов самого

Цицерона мы узнаем, что, хотя он присылал в Рим обильные поставки, он был справедлив к торговцу, либерален к пешкам и снисходителен к союзникам в целом; и что, когда он уходил, ему воздавали неслыханные доселе почести.⁹⁵ Но я думаю, мы можем считать, что это утверждение верно, во-первых, потому, что оно никогда не опровергалось, а во-вторых, потому, что все сицилийцы пришли к нему в день своей беды.

Что касается маленькой истории, на которую я ссылался, то ее так часто рассказывали с тех пор, как Цицерон сам ее рассказал, что мне почти стыдно ее повторять. Однако она слишком характерна для этого человека, дает нам слишком близкое представление как о его решимости выполнить свой долг, так и о его гордости, если хотите, тщеславии, когда он его выполняет, чтобы ее можно было опустить. В своей речи в защиту Планция⁹⁶ он рассказывает, что случайно, приехав из Сицилии после своего квесторства, он оказался в Путеолах как раз в то время, когда мода из Рима устремилась на этот восхитительный курорт. Он рассказывал о своих делах, о том, как снабжал Рим кукурузой, не причиняя при этом вреда сицилийцам, как честно вел дела с купцами и, по правде говоря, завоевал золотое мнение со всех сторон - настолько, что ему казалось, что, когда он доберется до города, горожане толпой будут готовы принять его. И вот в Путеоли он встретил двух знакомых. "А, - говорит ему один, - когда ты покинул Рим? Какие новости ты привез?" Цицерон, задрав голову, как мы видим, ответил, что только что вернулся из своей провинции. "Конечно, только что вернулся из Африки", - сказал другой. "Не так", - ответил Цицерон, сдерживая гнев - "stomachans fastidiose", как он сам это описывает, - "но из Сицилии". Тогда другой бездельник, притворявшийся, что знает все, вставил свое слово. "Разве ты не знаешь, что наш Цицерон был квестором в Сиракузах?" Читатель помнит, что он был квестором в другой части острова, в Лилибее. "Больше думать об этом было бесполезно", - говорит Цицерон. "Я перестал злиться и решил быть таким же, как все, просто одним у воды". Да, он был очень тщеславен и прекрасно понимал, что в этом его вина; но он не проявил бы своего тщеславия в этом вопросе, если бы не решил исполнить свой долг необычным для квесторов способом и не осознал, что сделал это.

Пожалуй, нет более верного способа судить о человеке, чем по его собственным словам, если его настоящие слова находятся в нашем распоряжении. При этом мы должны помнить, насколько сильна предвзятость ума каждого человека в свою пользу, и по этой причине благоразумный читатель будет сбрасывать со счетов похвалу человека самому себе. Но читатель, чтобы добраться до истины, если он действительно благоразумен, будет сбрасывать их со счетов в соответствии с характером человека, чей характер он исследует. Читатель не будет благоразумным, если вообразит, что все, что человек говорит о своих похвалах, должно быть ложью, или что все, что можно извлечь из его слов в его же порицании, должно быть правдой. Если человек хвалит себя за честь, порядочность, промышленность и патриотизм, он, во всяком случае, показывает, что эти добродетели ему дороги, если только течение его жизни не доказало, что он полностью лицемерит в таких высказываниях. Не предполагается, что Цицерон был лицемером в этих высказываниях. Он был честен и трудолюбив; он ценил честь и любил свою страну. Многое признается, и все же предполагается, что все хорошее, что он рассказал нам о себе, - ложь. Если человек постоянно сомневается в себе, если в самом частном общении и в самых близких высказываниях он время от времени признает свою человеческую слабость, если он считает себя неудачником в определенные моменты и говорит об этом, то сами чувства, породившие такие признания, являются доказательством того, что высшие точки, которые не были достигнуты, были замечены и оценены. Человек не будет горько сожалеть о том, что занял лишь второе или третье место, если он не жив славой первого. Но все признания Цицерона были восприняты как доказательство против него самого. Из его собственных слов, когда им

можно придать дурной смысл, против него выдвигаются всевозможные обвинения; но когда он говорит о своих великих устремлениях, его высмеивают за напыщенность и тщеславие. На основании какого-то, возможно, необдуманного выражения в письме к Аттикусу его осуждают за предательство, в то время как предложения, в которых он обдуманно заявлял о целях своей души, считаются хлоплушками.

Никого так часто не осуждали из его уст, как Цицерона, и естественно. В наши дни мы располагаем современными записями о выдающихся личностях. О характерах тех, кто жил в давно минувшие эпохи, мы, как правило, не имеем ясного представления, поскольку не располагаем такими подробными хрониками, которые необходимы для этой цели. Какое представление мы имеем о личности Александра Македонского, или какое представление имел Плутарх, писавший о нем? Что касается Сэмюэла Джонсона, то мы, кажется, знаем каждый поворот его мысли, ведь у нас был Босуэлл. У Александра не было Босуэлла. Но вот человек, принадлежащий к тем прошлым эпохам, о которых я говорю, который был своим собственным Босуэллом, причем в такой манере, что с тех пор, как были изобретены буквы, ни одна запись никогда не была написана более ясным или более привлекательным языком. Вполне естественно, что мы должны судить из его собственных уст о том, кто оставил после себя гораздо больше слов, чем кто-либо другой, особенно о том, кто оставил слова, столь приятные для чтения. И все, что он писал, было в какой-то мере о себе. Его письма, как и все письма, относятся лично к нему. Его речи - это слова, исходящие из его собственных уст о делах, в которых он был лично вовлечен и заинтересован. Его риторика состоит из уроков, преподанных им самим в отношении своего искусства, основанных на его собственном опыте и наблюдениях за другими. Его так называемая философия дает нам представление о работе его собственного ума. Никто и никогда не рассказывал миру так много о другом человеке, как Цицерон рассказал миру о Цицероне. Босвелл меркнет перед ним как летописец *minutiæ*. Возможно, для основной массы читателей сейчас не представляет особого интереса близкое знакомство с римлянином, который никогда не был одним из завоевателей мира. Для тех, кто хочет знать только факты мировой истории, возможно, будет хорошо отбросить как ненужные стремления того, кто жил так давно. Но если уж стоит обсуждать характер этого человека, то стоит узнать правду о нем.

"О, если бы противник мой написал книгу!" Кто не понимает истинности этих слов! Именно из уст человека всегда можно с уверенностью осудить его. Цицерон написал много книг, и все о себе. Его очень высоко чтили. Миддлтон в предисловии к своей биографии, которая, при всем ее очаровании, стала ругательным словом для восхваления, приводит мнение Эразма, который говорит нам, что любит труды этого человека "не только за божественное совершенство его стиля, но и за святость его сердца и нравов". Таков был эффект, оставленный на ум точным мыслителем и самым справедливым человеком. Но и о Цицероне говорили с самым горьким презрением. Начиная с Дио Кассия, писавшего через двести двадцать лет после Христа, и заканчивая мистером Фроудом, чей "Сезар" только что был опубликован, о нем говорили такие жестокие вещи люди, которые осуждали его из его собственных уст, что читатель не знает, как примирить то, что он читает сейчас, с мнением литераторов, живших и писавших в следующем после его смерти веке, со свидетельством такого человека, как Эразм, и с сердечными похвалами его биографа Миддлтона. Святость его сердца и нравов! Именно это поразило Эразма при чтении его произведений. Именно такое чувство, признаюсь, побудило меня взяться за эту работу - чувство, вызванное изучением его собственных слов. Казалось, что он так хорошо любил людей, так стремился к истине, был так способен на честность, когда нечестность была обычным делом для всех вокруг него, так ревностно отстаивал интересы хорошего правительства, так надеялся, когда

для надежды было мало оснований, что заслужил репутацию святого сердца и нравственности.

Из речей, произнесенных Цицероном в качестве адвоката после его квесторства и до тех, что были произнесены в обвинении Верреса, до нас дошел только фрагмент второй из двух, произнесенных в защиту Марка Туллия Декулы, который, как мы можем предположить, был отдаленно связан с его семьей. Он не заявляет о своем родстве. "Что, - говорит он, открывая свой спор, - мне, Туллию, делать для этого другого Туллия, человека не только моего друга, но и моего однофамильца?" Этот вопрос не имел большого значения, поскольку был адресован не так называемым судьям, а "восстановителям", судьям, которых выбирал претор и которые рассматривали более легкие дела.

Глава VI.

ВЕРРЫ.

В жизни Цицерона есть шесть эпизодов, или, как можно сказать, разделов, к которым проявляется особый интерес. Первый - обвинение против Верреса, в ходе которого он с воим изгнал злоумышленника из города. Второй - его консульство, во время которого он изгнал Катилина из города и заставил убить, законно или незаконно, некоторых других заговорщиков, которые были связаны с мятежником. Третьим было его изгнание, в ходе которого он сам был изгнан из Рима. Четвертое изгнание тоже было изгнанием, хотя и более почетным, когда он был вынужден, вопреки своей воле, взять на себя управление провинцией. Пятый - переход Рубикона, битва при Фарсалии и последующее присоединение к Сезарю. Последней была его междоусобная борьба с Антонием, породившая "Филиппики", и та памятная серия писем, в которых он пытался разжечь угасающие угли Республики. Литературная деятельность, с которой мы знакомы, распределена, но очень неравномерно, по всей его жизни. Я уже рассказывал историю Секста Росция Америна, взяв ее из его собственных слов. С тех пор он писал постоянно; но пылкий поток его красноречия хлынул из него с непревзойденной быстротой в двадцать последних жалких месяцев его жизни.

Теперь мы подошли к первому из этих эпизодов, и я должен рассказать о том, как Цицерон боролся с Верресом и как он его победил. В 74 году до н. э. Веррес был претором в Риме. В тот период Республики ежегодно избиралось восемь преторов, двое из которых оставались в городе, а остальные работали за границей, как правило, в войсках империи. В следующем, 73 году до н. э., Веррес отправился в Сицилию с проконсульскими или пропреторскими полномочиями, поручив управление страной на двенадцать месяцев. Это было обычно и конституционно, но нередко, даже если это было неконституционно, этот срок продлевался. В случае с Верресом он был продлен, так что он должен был занимать этот пост в течение трех лет. Он успел побывать и на других государственных постах: был квестором в Азии, а затем эдилом в Риме, к большому несчастью всех, кто подвергался его обращению, как мы узнаем далее. Эти факты приведены здесь, чтобы показать, что великие должности Республики были открыты для такого человека, как Веррес. На самом деле они были более открыты для такого кандидата, чем для менее беззаконного - для честного или щепетильного человека, или для частично честного, или не совсем беспринципного. Если вы пошлете собаку в лес за трюфелями, вы постараетесь найти такую, которая разорвет как можно больше трюфелей. Проконсульский грабитель грабил не только для себя; он грабил в большей или меньшей степени для всего Рима. Веррес хвастался, что за три года правления

он сможет принести домой достаточно денег, чтобы подкупить всех судей, обеспечить всех лучших адвокатов и жить в роскоши до конца своих дней. Что это была за собака, которую можно было послать в лес за трюфелями!

До такого состояния Рим дошел, когда депутаты из Сицилии прибыли, чтобы пожаловаться на своего покойного правителя и заручиться услугами Цицерона, чтобы получить возможное возмещение. Веррес занимался грабежом в 73, 72, 71 годах до н. э. В это время Цицерон активно выступал в качестве адвоката в Риме. Нам известны названия некоторых дел, которые он вел, например, дело Публия Оппия, который, будучи квестором в Вифинии, был обвинен проконсулом в попытке лишить солдат их податей. Нам рассказывают, что бедная провинция очень страдала от этих двух офицеров, которые постоянно ссорились из-за раздела награбленного. В этом случае старший офицер обвинил младшего, и тот, благодаря помощи Цицерона, был оправдан. Квинтилиан не раз ссылается на речь, произнесенную в защиту Оппия. Цицерон также защищал Варена, обвиненного в убийстве своего брата, и некоего Кая Мустия, о котором известно только то, что он занимался сбором налогов. Он был защитником и сицилийца Стенния, обвиненного Верресом перед трибунами. Мы еще не раз услышим о Стеннее среди жертв в Сицилии. Особое обвинение в этом деле заключалось в том, что, будучи осужденным Верресом в качестве претора Сицилии, он бежал в Рим, что было незаконно. Однако он был оправдан. От этих речей до нас дошли лишь короткие фрагменты, которые цитируются авторами, чьи труды дошли до нас, например Квинтилианом; по ним мы, во всяком случае, знаем, что труды Цицерона были тщательно сохранены и что в те времена они были общедоступны для чтения. Я переведу здесь заключительные слова короткой статьи, написанной М. дю Розуаром в связи с жизнью Цицерона в этот период: "Усердие нашего оратора в адвокатуре снискало ему высокую степень благосклонности народа, потому что они видели, как строго он соблюдал цинцианский закон, запрещавший адвокатам брать деньги или подарки за то, что они заявляли ходатайства, - которым, однако, адвокаты того времени обычно не гнушались пренебрегать".⁹⁷ Хорошо быть честным, когда честность в моде; но быть честным, когда честность вышла из моды, - это великолепно.

В истории с Верресом есть два момента, которые могут заинтересовать читателя - более того, они могут научить его - если история будет достаточно хорошо рассказана. Первое - это беззаконие Верреса, которое носит столь экстравагантный характер, что становится фарсом из-за нелепости той степени, на которую он не побоялся пойти ради удовлетворения своей жадности и похоти. Как и жертвы, пострадавшие две тысячи лет назад, мы можем позволить себе забавляться неисчерпаемым богатством ресурсов этого человека и необыкновенной беззаконностью его замыслов. Затем мы сталкиваемся с неприкрытой коррупцией римских судей - коррупцией, которая, однако, стала обычным ремеслом, если не облагороженным, то, во всяком случае, аристократическим благодаря рождению, богатству, имени и сенаторскому званию грабителей. Сулла, преследуя определенные государственные цели, которые заключались в поддержании олигархии, передал привилегии заседать в судейской палате от эквитов, или рыцарей, сенаторам. Из числа последних значительное число - тридцать, возможно, или сорок, или даже пятьдесят - назначались заседать вместе с претором для рассмотрения важных уголовных дел, и по их голосам, которые записывались на табличках, обвиняемый оправдывался или осуждался. Оправдание в результате самой обильной коррупции не влекло за собой никакого позора для того, кого судили, а зачастую и для судей, которые его судили. Во времена Цицерона эта практика, со всеми ее возможностями, стала хорошо известна. Губернаторы провинций с их квесторами и лейтенантами выбирались из высшей аристократии, которая также поставляла судей. Сами судьи были заняты или надеялись быть занятыми на столь же прибыльной службе. Ведущие

адвокаты принадлежали к тому же классу. Если проконсульский вор, сделав свой мешок, делил добычу с подобием справедливости между своими собратьями, ничего удобнее быть не могло. Провинции были так велики, а греческий дух коммерческой предприимчивости, царивший в них, так жив, что места для грабежа хватало, во всяком случае, на поколение или два. Республика могла похвастаться тем, что в своей любви к чистой справедливости она предусмотрела определенные законы для защиты своих союзников от возможных ошибок в управлении со стороны собственных чиновников. Если провинции, городу или даже отдельному человеку наносился ущерб, провинция, город или человек могли принести свою жалобу в кресло из слоновой кости претора в Риме и потребовать возмещения ущерба; и было немало случаев, когда провинившегося чиновника приговаривали к изгнанию. Многие, действительно, должно было произойти, прежде чем схема в том виде, в котором она была найдена Верресом, смогла бы довести себя до совершенства. Веррес считал, что в его время все было сделано не только для безопасности, но и для великолепия. На его стороне будут все великие государственные деятели. Сицилийцы, если он сумеет вести дело так, как считал нужным, не смогут устоять на ногах. В его силах было придумать множество уловок, прежде чем им удалось бы поправить свое положение перед претором. Именно при таком положении дел Цицерон решил, что одним ударом он сможет преодолеть коррупцию в судебном корпусе, и для этого он решил подвергнуть судей воздействию общественного мнения. Если бы Верреса можно было судить в темноте, как многих других, под бушеlem, так, чтобы о суде почти ничего не было слышно в городе, то судьям не грозила бы никакая опасность. Только пристыдив их, дав им понять, что Рим станет слишком горячим, чтобы держать их, можно было заставить их вынести вердикт против обвиняемого. Цицерон решил добиться этого и добился. И мы видим, что на протяжении всего ходатайства он был заинтересован в этом деле не только ради сицилийцев или против Верреса. Можно ли что-то сделать ради Рима, ради Республики, чтобы избавить судебные инстанции от недоброжелательного отношения к ним? Может ли человек так обратиться не только к судебному корпусу, но и ко всему Риму, чтобы раз и навсегда покончить с этим беззаконием? Смог бы он вселить в умы граждан такой ужас перед подобными процессами, чтобы они решительно потребовали реформ? Гортензий, великий адвокат того времени, не только выступал от имени Верреса, но уже был избран консулом на следующий год. Метелл, который был избран претором на следующий год, горячо защищал Верреса. Действительно, среди друзей обвиняемого было три Метелла, на стороне которых выступал и тогдашний Сципион. Аристократия Рима была полностью на стороне Верреса, что вполне естественно. Но если бы Цицерону удалось осуществить задуманное, ему помогло бы само величие его противников. Когда стало известно, что он будет выступать против Гортензия в качестве адвоката и что он намерен бросить вызов Гортензию как будущему консулу, Рим, конечно, воспрянет духом; и если Рим удастся заставить воспрянуть духом, тогда этой прекрасной схеме обогащения за счет грабежа провинций будет положен конец.

Сначала я расскажу о работе судей и о попытках помешать Цицерону в начатом им деле. Затем я попытаюсь рассказать кое-что о Верресе и его делах. Эта тема естественным образом делится таким образом. Сохранилось семь так называемых ораций о Верресе, из которых две первые касаются того, как следует вести дело в суде. Эти две были произнесены на самом деле и оказались настолько действенными, что Веррес - или, возможно, Гортензий, выступавший от его имени, - был напуган и вынужден замолчать. Веррес, как мы должны сказать, признал себя виновным, что, в соответствии с судебными обычаями, он мог сделать, уйдя в отставку и отправившись в добровольное изгнание. Так он и поступил, скорее для того, чтобы не стоять на своем и не выслушивать рассказ о своих преступлениях, который Цицерон произнесет в полной речи - "*perpetua oratio*", - последовавшей за допросом свидетелей. То, что оратор говорил перед допросом свидетелей, было очень коротким. Ему

приходилось экономить время, поскольку частью грандиозного плана Гортензия было получение отсрочки за отсрочкой из-за некоторых священных обрядов и игр, во время празднования которых суды не могли заседать. Все это было предусмотрено планом; но Цицерон, чтобы помешать интриганам, как можно быстрее закончил свою предварительную работу, сказав все, что должен был сказать о способе суда, о судьях, о плане, но очень мало о беззакониях преступника. Но, преуспев таким образом, добившись своего в значительной степени благодаря неожиданной быстроте своих действий, он рассказал свою историю. Затем было сделано то "*perpetua oratio*", благодаря которому мы узнали, до какой степени римский правитель может продолжать опустошать народ, вверенный его защите. Это полное повествование разделено на пять частей, каждая из которых посвящена отдельному виду беззакония. Они никогда не были произнесены, хотя и представлены в виде речей. Если бы потребовалось, они были бы произнесены в ответ на защиту Гортензия от имени Верреса после заслушивания доказательств. Но защита потерпела полное фиаско, описанное самим Цицероном. "В тот час, когда я говорил" - это была речь, которую мы обозначаем как *Actio Prima contra Verrem*, первое выступление против Верреса, к которому мы сейчас вернемся, - "я отнял у обвиняемого, у этого наглого, богатого, беспутного и брошенного человека всякую надежду подкупить судей". В первый же день процесса, при одном только назывании имен свидетелей, жители Рима смогли понять, что если этого преступника отпустят, то у Республики не останется никаких шансов. На второй день его друзья и защитники потеряли не только всякую надежду на успех своего дела, но и всякое желание продолжать его. Третий день настолько парализовал самого человека, что ему пришлось думать не о том, какой ответ он может дать, а о том, как избежать необходимости отвечать, притворившись больным".⁹⁸ Таким образом, судебное разбирательство было завершено.

Но мы должны вернуться к началу. Когда против какого-нибудь великого римлянина того времени выдвигалось обвинение в незаконных общественных проступках, как сейчас против Верреса, ведение дела, требовавшее, вероятно, больших трудов и затрат и дававшее возможность проявить ораторское мастерство, рассматривалось как задача, которой молодой претендент на общественное расположение мог бы добиться почета и с помощью которой он мог бы заявить о себе народу. Поэтому случалось, что находилось два или более обвинителей, желающих взяться за это дело и показать себя как радеющих за невинность пострадавшего или желающих потрудиться на благо Республики. В таких случаях обращались к суду, который должен был решить, подходит ли тот или иной человек для выполнения данной работы. Такое разбирательство называлось "*Divinatio*", потому что судьи должны были выяснить все как можно лучше без помощи свидетелей, с помощью некоего процесса гадания - с помощью богов, как это могло быть. Первая речь Цицерона по делу Верреса называется *In Quintum Cæcilium Divinatio*, потому что некий Цецилий выступил, чтобы отнять у него дело. Здесь была часть плана, задуманного Гортензией. В таком деле с Цицероном, несомненно, было бы неловко. Его цель, его усердие, его мастерство, его красноречие, его честность были известны. Должен быть суд. Это было признано; но если проведение его можно было поручить человеку нечестному или не обладающему ни умением, ни способностями, ни особым стремлением к успеху, то маленький план можно было осуществить и таким образом. Итак, Сесилий был выдвинут в качестве конкурента Цицерона, и наша первая речь - это речь Цицерона, произнесенная им, чтобы доказать свое превосходство над соперником.

Был ли Сесилий нанят или нет, чтобы сломаться в своей обязанности обвинителя, мы не знаем. Биографы сошлись на том, что так оно и было,⁹⁹ основывая свое утверждение, несомненно, на крайней вероятности. Но я сомневаюсь, что существуют какие-либо доказательства этого. Цицерон сам выдвигает это обвинение, но не в той прямой манере,

которую он использовал бы, если бы мог его доказать. Сицилийцы, , во всяком случае, говорили, что это так. Что касается некомпетентности этого человека, то, вероятно, сомнений не было, и иметь некомпетентного и нечестного обвинителя было бы не менее полезно. Сам Цецилий заявил, что никто не может быть настолько подходящим для этой работы, как он сам. Он хорошо знал Сицилию, так как родился там. Он был там квестором вместе с Верресом и мог наблюдать за делами правителя. Несомненно, существовало - или существовало в более благочестивые времена - чувство, что квестор никогда не должен идти против проконсула, под началом которого он служил и которому он был почти сыном.¹⁰⁰ Но сейчас этого чувства было меньше, чем раньше. Веррес поссорился со своим Квестором. Оппий был призван защищаться от проконсула, у которого он служил. Никто не мог знать о делах правителя провинции так хорошо, как его собственный квестор, и поэтому, по словам Цецилия, он был бы лучшим обвинителем. Что касается его ненависти к этому человеку, то в этом не могло быть никаких сомнений. Все знали, что они поссорились. Цель, несомненно, заключалась в том, чтобы дать судьям какое-нибудь благовидное оправдание для спасения Верреса, великого казначея, от клыков Цицерона.

Речь Цицерона по этому случаю, которая в те дни была очень короткой, - образец мудрости и мужества. Ему пришлось отстаивать свою собственную пригодность, непригодность своего противника и пожелания в отношении сицилийцев. Это нужно было сделать без запинки. Его задача заключалась не только в том, чтобы убедить честных людей в том, что, с точки зрения достижения истины, он будет лучшим защитником из двух. Можно представить, что среди присутствующих не было ни одного судьи, ни одного римлянина, который не знал бы об этом еще до того, как оратор начал свою речь. Нужно было так громко заявить о нелепости их сравнения , чтобы судьи не посмели предать сицилийцев и освободить обвиняемых, выбрав некомпетентного человека. Когда Цицерон поднялся, чтобы выступить, среди них не было, пожалуй, ни одного человека из его собственной партии, ни консула, ни претора, ни эдила, ни квестора, ни судьи, ни сенатора, ни прихлебателя при дворе, который не хотел бы, чтобы Веррес со своей добычей спасся. От этого зависела их надежда прожить на богатства провинций. Но если бы он мог произнести крылатые слова - слова, которые должны были разлететься по всему Риму и которые могли бы разлететься и среди подвластных народов, - тогда судьи не осмелились бы осуществить эту часть плана.

"Когда, - говорит он, - я служил квестором в Сицилии и покинул провинцию так, что у всех сицилийцев осталась благодарная память о моей власти там, хотя у них были старшие друзья, на которых они очень полагались, они чувствовали, что я могу быть для них оплотом в их нужде. Теперь эти сицилийцы, преследуемые и ограбленные, пришли ко мне в общественные организации и умоляли меня взять на себя их защиту. "Настало время, - говорят они, - когда я не должен заботиться об интересах того или иного человека, а должен защищать саму жизнь и благополучие всей провинции". Чувство долга, вера, которой я обязан им, жалость к ним, пример всех добрых римлян до меня, обычаи Республики, старая конституция склоняют меня взять на себя эту задачу, но не как относящуюся к моим собственным интересам, а как к интересам моих близких друзей".¹⁰¹ Такова была его собственная причина, по которой он взялся за это дело. Затем он напоминает судьям о желании римского народа - народа, который с ужасом ощутил ущерб, нанесенный ему отнятием Суллой всей власти у трибунов и передачей всей полноты власти в руки сенаторов. "Римский народ, как бы он ни страдал, не жалеет ни о чем из того, что он потерял, так сильно, как о силе и величии старых судей . Именно желая вернуть их, они требуют для трибунов их прежней власти. Именно этот проступок нынешних судей заставил их просить о назначении на судейское место людей другого сословия. По вине и к стыду нынешних судей, власть цензора, которая до сих пор всегда считалась одиозной и суровой, теперь даже этого

требует народ".¹⁰² Далее он показывает, что, если справедливость необходима, это дело будет передано в руки того, кого выбрали сами сицилийцы. Если бы сицилийцы сказали, что не желают доверять свои дела Цецилию, потому что не знают его, но готовы доверить их Цицерону, которого они знают, разве даже это не было бы достаточно разумным само по себе? Но сицилийцы знали их обоих, знали Цецилия почти так же хорошо, как Цицерона, и выразили свое мнение ясно. Насколько они хотели иметь Цицерона, настолько же они хотели не иметь Цецилия. Даже если бы они держали язык за зубами, все бы об этом знали; но они далеко не держали язык за зубами. "И все же ты предлагаешь себя этим самым невольным клиентам", - говорит он, обращаясь к Сесилию. "Ты готов выступить в суде по делу, которое тебе не принадлежит! Ты защищаешь тех, кому лучше не иметь защитника, чем такого, как ты!"¹⁰³ Затем он нападает на Гортензия, защитника Верреса. "Пусть он не думает, что, если я буду здесь работать, судей можно будет подкупить без бесконечной опасности для всех заинтересованных лиц. Занимаясь этим делом сицилийцев, я занимаюсь также делом всего римского народа. Дело не только в том, чтобы один несчастный грешник был раздавлен, чего хотят сицилийцы, но и в том, чтобы эта ужасная несправедливость была полностью прекращена, в соответствии с пожеланиями народа".¹⁰⁴ Если вспомнить, что это было сказано в присутствии тех самых судей, в присутствии самого Гортензия, в расчете только на общественное мнение, которое он должен был создать своими собственными словами, то нельзя не признать, что это очень хорошо.

После этого он снова обращается к Цецилию. "Учись у меня, - говорит он, - как многого ожидают от того, кто берется обвинять другого. Если в тебе есть хоть одно из этих качеств, я уступлю тебе все, о чем ты просишь".¹⁰⁵ Вероятно, даже сейчас Цецилий был в союзе с Верресом. Сам он, будучи Квестором, обкрадывал народ при сборе кукурузной подати, и поэтому не мог включить этот вопрос в свое обвинение. "Ты не можешь предъявить ему никаких обвинений по этому поводу, чтобы не оказалось, что ты был его партнером в этом деле".¹⁰⁶ Он высмеивает его личную несостоятельность. "Что, Цецилий! Что касается тех профессиональных навыков, без которых невозможно вести дело, подобное этому, неужели ты думаешь, что в них ничего нет? Не нужно ни мастерства в деле, ни привычки говорить, ни знакомства с Форумом, с судебными местами и законами?"¹⁰⁷ "Я хорошо знаю, насколько сложна эта почва. Позвольте посоветовать вам заглянуть в себя и посмотреть, способны ли вы на такое дело. Есть ли у вас для этого голос, благоразумие, память, остроумие? Способны ли вы раскрыть жизнь Верреса, как это нужно сделать, разделить ее на части и сделать все ясным? И хотя природа должна была бы помочь тебе, - а она вовсе не помогла, это, конечно, подразумевается, - если бы с самого раннего детства ты был наделен грамотой; если бы ты изучал греческий в Афинах, а не в Лилибее, латынь в Риме, а не в Сицилии, - все же не было бы для тебя непосильной задачей взяться за такое дело, столь широко задуманное, завершить его своим трудом, а затем ухватить его в своей памяти; сделать его ясным своим красноречием и поддержать его голосом и достаточной силой? "Есть ли у меня эти дары, - спросите вы. Если бы! Но с самого детства я делал все, что мог, чтобы достичь их".¹⁰⁸

Цицерон так хорошо излагает свои мысли, что я охотно прочел бы всю речь, если бы не одна причина, побуждающая меня сокращать все его речи. Возможно, читатели этих ораций не всегда будут сочувствовать оратору в том вопросе, который он рассматривает, хотя его власть над словами настолько велика, что обычно увлекает читателя за собой даже на таком расстоянии, но аккуратность, с которой используется оружие, эффективность удара для намеченной цели, уверенность, с которой гвоздь попадает в голову - никогда без лишней траты сил, но всегда с точной силой, необходимой для цели, - таковы особенности речей Цицерона, которые увлекают читателя, вызывая восторг, которым он захочет поделиться с другими, как человек, услышавший хорошую историю, немедленно хочет рассказать ее

снова. И вместе с Цицероном нас очаровывает современность, тон сегодняшнего дня, который принимает его язык. То, как быстро он переходит от презрения к жалости, от жалости к гневу, от гнева к общественному рвению, а затем мгновенно к иронии и насмешке, подразумевает легкость, которая не без оснований удивляет нас тем, что она сохранилась на протяжении стольких сотен лет. То, что до нас дошли поэтические строки, даже такие тусклые, как некоторые из тех, в которых Овидий воспевал любовь, кажется более естественным, ведь над стихами, пусть и легкими, нужно было трудиться. Но эти слова, произнесенные Цицероном, кажутся почти звенящими в ушах, как будто они пришли к нам прямо из уст человека. Мы видим, как на челе Гортензия собирается гнев, за которым следует взгляд признанного поражения. Мы видим удивленное внимание судей, когда они начинают чувствовать, что в данном случае им придется отступить от намеченной цели. Мы можем понять, как трусил Цецилий, находя утешение в том, что его освободили от выполнения задания. Мы можем представить себе, как страдал Веррес - Веррес, которого не мог коснуться никакой позор, - когда все его взятки становились неэффективными под руками оратора.

Цицерон был выбран для этой задачи, и тогда началась настоящая работа. Работа, которую он выполнял, была, конечно, не по силам любому обычному адвокату. Ему необходимо было отправиться на Сицилию, чтобы получить доказательства, которые должны были быть собраны по всему острову. Он должен был также выяснить все предыдущие подробности жизни этого разбойника. Он должен был тщательно подготовлен к встрече с интриганами по всем пунктам. Он попросил сто десять дней для подготовки своего дела, но получил только пятьдесят. Надо полагать, что по мере того, как он все лучше разбирался в кознях своих противников, на него снисходили новые озарения. Если бы он использовал все отведенное ему время или даже половину его, а затем выступил с таким изложением преступника, какое он с удовольствием сделал бы, предаваясь тому "perpetua oratio", о котором мы слышали, то процесс затянулся бы до наступления определенных общественных игр, во время которых суды не заседают. По-видимому, на его пути было три набора игр: специальный набор для этого года, который должен был дать Помпей и который должен был длиться пятнадцать дней; затем *Ludi Romani*, которые продолжались девять дней. Вскоре после этого должны были начаться игры в честь Победы - так скоро, что отсрочка по ним была бы получена как само собой разумеющееся. Таким образом, суд переносился на следующий год, когда Гортензий и один Метелл становились консулами, а другой Метелл - претором, управляющим судебными местами. В этом году претором был Глабрий. На Глабрия Цицерон мог положиться. С Гортенziem и двумя Метеллами у власти Веррес был бы практически оправдан. Поэтому Цицерон должен был быть начеку, чтобы таким неожиданным образом, пожертвовав своей великой возможностью выступить с речью, победить интриганов. Мы слышим, как он отправился на Сицилию в маленькой лодке из неизвестного порта, чтобы избежать опасностей, придуманных для него друзьями Верреса.

109 Если бы можно было устроить так, чтобы умный адвокат был похищен пиратом, какой приятный способ положить конец этим отвратительным реформам! Пусть они избавятся от Цицерона, хотя бы на время, а награбленное еще можно будет поделить. Против всего этого он должен был предусмотреть все. На Сицилии он иногда путешествовал пешком, из осторожности, но никогда не ездил со свитой, которая полагалась ему как римскому сенатору. Как римский сенатор, он мог потребовать бесплатных развлечений в любом городе, в который въезжал, что обходилось городу очень дорого. Но от всего этого он воздержался и поспешил вернуться в Рим со своими доказательствами так быстро, что успел представить их судьям, чтобы избежать отсрочек, которых он опасался.

Выслушав доказательства, Веррес удалился с процесса, признав себя виновным. О свидетелях и о том, как они рассказывали, у нас нет никаких сведений. Вторая речь, которую мы имеем, - *Divinatio*, или речь против Сесилия, которая была первой, - называется *Actio Prima contra Verrem* - "первый процесс против Верреса". Она почти полностью сводится к призыву к судьям. Цицерон решил, что не будет говорить о Верресе до окончания процесса. Для этого не было необходимого времени. Он должен привести доказательства. И он так поразит этих продажных судей, что они не посмеют оправдать обвиняемого. В этом *Actio Prima* содержатся слова, в которых он привел судей в ужас. Читая их, мы жалеем судей. Их было четырнадцать, чьи имена нам известны. Возможно, их было гораздо больше. Среди них был тогдашний претор Урбана, Глабрион. С ним были Метелл, один из преторов на следующий год, и Цезоний, который вместе с самим Цицероном был назначен эдилом. Было три трибуна народа и два военных трибуна. Были Сервилий, Катул, Марцелл. Кого из них он подозревал, мы вряд ли сможем сказать. Определенно, он подозревал Метелла. Сервилию¹¹⁰ он сделал изысканный комплимент в одной из письменных ораций, опубликованных после окончания процесса, из чего можно сделать вывод, что он был к нему благосклонен. О Глабрионе он отзывался хорошо. Тело, как тело, было такого характера, что он счел необходимым привести их в ужас. Он начинает так: "Не по человеческой мудрости, о судьи, но по воле случая и с помощью, как бы, самих богов, произошло событие, благодаря которому ненависть, испытываемая сейчас к вашему ордену, и позор, связанный с судейским местом, могут быть успокоены; Ибо за границей распространилось мнение, позорное для Республики и полное опасности для вас самих, которое звучит в устах всех людей не только здесь, в Риме, но и во всех странах, что в этих судах, как они сейчас устроены, человек, если он только достаточно богат, никогда не будет осужден, хотя бы он и был виновен." Какой экзорцизм для начала судебной речи перед судейской коллегией, состоящей из преторов, эдилов и будущих консулов! И это в то время, когда в умах людей еще жила мысль о власти Суллы; когда некоторые думали, что и они могут стать суллами; когда еще была сильна идея, что несколько вельмож должны править Римской империей ради собственной выгоды и роскоши! Какие слова можно сказать Метеллу, Катулу и Марцеллу! Я привел к тебе такого негодяя, - продолжает он, - чтобы, справедливо осудив его, ты восстановил свою благосклонность к римскому народу и доверие к другим народам. "Этот суд, в котором вы, конечно, должны будете судить этого человека, которого обвиняют, но в котором также римский народ должен будет судить вас. По тому, как с ним поступят, будет определено, может ли быть осужден в Риме человек виновный и в то же время богатый."¹¹¹ Если дело здесь пойдет плохо, все люди заявят, не о том, что из вашего ордена должны быть выбраны лучшие люди, что было бы невозможно, но о том, что должен быть назван другой орден граждан, из которого будут выбраны судьи."¹¹² Эта короткая речь была произнесена. Свидетелей допрашивали в течение девяти дней; затем Гортензий, почти не сопротивляясь, уступил, и Веррес был осужден по его собственному приговору.

Когда суд закончился, и Веррес согласился отправиться в изгнание и заплатить любой штраф, "*perpetua oratio*", которую Цицерон счел нужным произнести по этому поводу, была опубликована на весь мир. Она написана так, как будто должна была быть произнесена, с поддельными ораторскими приемами, причем в первой части некоторые приемы выполнены так хорошо, что можно подумать, будто, когда эти особые слова были подготовлены, он намеревался их произнести. Однако было решено, что это не так. Она состоит из рассказа о злодействах Верреса и разделена на так называемые пять различных речей, которым даны следующие названия: *De Prætura Urbana*, в которой рассказывается о том, что Веррес делал, когда был городским претором, а также о многих вещах, которые он делал до того, как занял этот пост; *De Jurisdictione Siciliensi*, в которой описывается его поведение в качестве римского магистрата на острове; *De Re Frumentaria*, где излагается мерзость его поборов в

отношении налога на кукурузу; De Signis, где подробно описываются грабежи, которые он совершал в отношении статуй и других украшений; и De Suppliciis, где рассказывается об убийствах, которые он совершал, и о пытках, которые он применял. Иногда в разговоре возникает вопрос, улучшилось ли общее счастье мира благодаря росту цивилизации. Когда читатель узнает из этих историй, рассказанных одним из ведущих римлян того времени, как обращались с людьми при римской олигархии - не только с греческими союзниками, но и с римлянами, - я думаю, он будет склонен ответить на этот вопрос в пользу цивилизации.

Я могу привести лишь несколько из множества маленьких историй, которые сохранились для нас в этом Actio Secunda; но, возможно, этих нескольких будет достаточно, чтобы показать, как великий римский офицер мог вести себя в своем правительстве. Из поступков Верреса до того, как он отправился в Сицилию, я выделю два. Однажды ему пришлось отправиться в Лампсак, город в Азии, в качестве лейтенанта, или легата, Долабеллы, который тогда командовал в Азии. Лампсак находился на Геллеспонте, союзный город с особенно хорошей репутацией. Здесь его поселили в качестве гостя, со всеми почестями римского офицера, в доме гражданина по имени Янитор. Но он услышал, что у другого гражданина, некоего Филодама, есть прекрасная дочь - предмет, которым, надо полагать, Янитор был обеспечен не так хорошо. Веррес, решив заполучить эту даму, приказывает поселить своего подручного Рубрия в доме Филодама. Филодам, который по своему рангу имел право тяготиться только присутствием ведущих римлян, ворчит на это; но, поворчав, соглашается, а согласившись, делает все возможное, чтобы его дом был удобным. Он устраивает большой ужин, на котором римляне едят и пьют, нарочно устраивая беспорядки. Верреса, как мы понимаем, там не было. Намерение состоит в том, чтобы девушку унесли и привели к нему. В разгар попойки отцу предлагают вывести дочь, но он отказывается. Тогда Рубриус приказывает закрыть двери и начинает грабить дом. Филодам, не выдержав этого, хватается за сына и созывает вокруг него своих сограждан. Рубрию удается облить хозяина кипятком, но в этой суматохе римлянам достается больше всех. Наконец один из ликторов Верреса - абсолютно римский ликтор - убит, а женщину не унесли. Этот человек, по крайней мере, имел внешние признаки ликтора, но, по словам Цицерона, был на содержании у Верреса как его сутенер.

Пока Веррес терпит поражение, и читатель, радуясь мужеству отца, который смог защитить свой дом даже от римлян, начинает испытывать некоторое удивление от того, что был выбран именно этот случай. Пока что лейтенант не совершил задуманного, но вскоре он мстит за свою неудачу. Он уговаривает Долабеллу, своего начальника, чтобы Филодама и его сына отвезли в Лаодикею и там судили перед Нероном, тогдашним проконсулом, за убийство мнимого ликтора. В Лаодикии их судят перед Нероном, причем одним из судей выступает сам Веррес, и они осуждены. Затем на городском рынке, в присутствии друг друга, отцу и сыну отрубает головы - зрелище, по словам Цицерона, весьма печальное для всей Азии. Все это было сделано несколько лет назад, но, несмотря на это, Веррес был избран претором и отправлен в Сицилию управлять сицилийцами.

Когда Веррес был претором в Риме - за год до того, как его отправили в Сицилию, - его обязанностью или, скорее, привилегией, как он считал, стало проследить за тем, чтобы некий храм Кастора в городе был приведен в надлежащее состояние исполнителями умершего гражданина, который взял на себя контракт по поддержанию его в порядке. Этот человек, которого звали Юний, оставил сына, тоже несовершеннолетнего Юния, с большим состоянием, которое находилось в ведении различных доверенных лиц, опекунов, как их называли, в обязанности которых входила защита интересов наследника. Веррес, зная издревле, что ни одна собственность не является такой легкой добычей, как собственность несовершеннолетнего, сразу же понял, что с храмом Кастора можно что-то сделать.

Наследник дал клятву и в пределах своего имущества обязался содержать храм в исправности. Но Веррес, проведя осмотр, обнаружил, что все находится в более чем обычном порядке. На крыше нет ни единой царапины, которой можно было бы воспользоваться. Ничто не было пущено на самотек. Затем "один из его псов" - так как он хвастался своему другу Лигуру, что всегда ходит с собаками, чтобы те искали для него дичь, - предположил, что некоторые колонны стоят не перпендикулярно. Веррес не понял, что это значит, но собака объяснила. На самом деле все колонны, по строгим меркам, в большей или меньшей степени отклоняются от перпендикуляра, как мы говорим, что все глаза немного щурятся, хотя мы не видим, что они щурятся. Но поскольку колонны должны быть перпендикулярны, то здесь есть дело, над которым он может поработать. Он и принялся за работу. Попечители, зная своего человека - зная также, что при нынешнем состоянии Рима невозможно было скрыться от несправедливого претора, не заплатив много, - отправились к его хозяйке и попытались уладить с ней этот вопрос. Здесь мы имеем забавную картину того, как велись дела города в заведении этой дамы; как она устраивала свои пиры, брала взятки и вела прибыльную торговлю. Не добившись от нее ничего хорошего, попечители договорились с агентом, чтобы тот заплатил Верресу двести тысяч сестерций за прекращение дела. Это составляло около 2000 фунтов стерлингов. Но Веррес с презрением отверг это соглашение. С таким храмом и такой мелочью он мог бы поступить гораздо лучше. Он выставил ремонт на аукцион и, не получив предложения от самих попечителей - тех самых людей, которые больше всего заинтересованы в том, чтобы работы были выполнены, если бы они были, - продал его себе за пятьсот шестьдесят тысяч сестерций, или около пяти тысяч фунтов стерлингов.¹¹³ Затем нам рассказывают, как он выполнил мнимую работу, поставив грубый кран. Никакой реальной работы не было сделано, никаких новых камней не привезли, никаких денег не потратили. Именно таким образом Веррес исполнял свои обязанности претора Урбана; но, похоже, пока он ограничивался такими мелкими работами, о его беззакониях никто не вспоминал.

Затем мы переходим к делам Сицилии и начинаем длинный список грабежей, в результате которых эта провинция опустела. Кажется, ничто не давало такого простора для жадности государственного чиновника, который был одновременно и правителем, и судьей, как спорные завещания. При этом не требовалось, чтобы кто-то из заинтересованных лиц оспаривал завещание между ними. Если человек умирал и оставлял после себя имущество, Веррес находил способ затащить наследника в суд и либо запугать его взяткой, либо лишить наследства. Перед отъездом из Рима в провинцию он услышал, что большое состояние было оставлено некоему Дио с условием, что тот поставит на рыночной площади несколько статуй.¹¹⁴ Нередко человек желал украсить свой город, но решил, что эти расходы должны быть возложены на его наследника, а не на него самого. Если статуи не были установлены, наследник должен был заплатить штраф Венере Эрицине - для обогащения, то есть для поклонения этой богине, у которой был любимый храм под горой Эрикс. Статуи были воздвигнуты должным образом. Но, тем не менее, здесь была лазейка. И вот Веррес берется за дело и от имени Венеры подает иск против Дио. Вердикт выносится не в пользу Венеры, а в пользу Верреса.

Такая манера воздавать почести богам, и особенно Венере, была распространена на Сицилии. Два сына¹¹⁵ получили от отца состояние с условием, что если не будет сделано какое-то особое дело, то штраф должен быть выплачен Венере. Этот человек умер двадцать лет назад. Но "собаки", которых держал Прэтэр, были очень зоркими и, как ни далеки были времена, обнаружили оговорку. Приняты меры против двух сыновей, которые, правда, добились своего; но добились они этого благодаря взятке, столь огромной, что оказались разоренными людьми. Был один Геракл,¹¹⁶ сын Иеро, знатный сиракузский дворянин,

который получил наследство в размере 3 000 000 сестерций - скажем, 24 000 фунтов стерлингов - от своего родственника, тоже Геракла. У него также был дом, полный красивой серебряной посуды, шелка и тканей, а также ценных рабов. Человек, "Dives equom, dives pictai vestis et auri". Веррес, конечно, слышал. К тому времени он взял к себе на службу несколько сицилийских собак, жителей Сиракуз, и узнал от них, что в завещании престарелого Гераклиуса есть пункт о том, что в гимнасии города должны быть поставлены определенные статуи. Они обязуются привести служителей гимнасия, которые должны сказать, что статуи никогда не были установлены должным образом. Цицерон рассказывает, как Веррес принялся за работу, то в этом суде, то в том, нарушая все законы сицилийской юрисдикции, но все равно действуя под видом закона, пока не вытряс из него все - не только все наследство от Гераклидов, но и каждый шиллинг, и все вещи, оставленные ему отцом. Под предлогом отдать часть денег городу Сиракузы он забирает себе все ценности, коринфские вазы, пурпурные висюльки, всех рабов, каких только пожелает. Все остальное продается с аукциона. Как он делил добычу с сиракузянами, а потом ссорился с ними и как лгал о доле, доставшейся ему самому, - все это можно узнать из рассказа Цицерона. Ираклий, конечно, был разорен. Что касается историй Эпикрата и Сопатера, то я должен отослать читателя к орациям. В истории с Сопатером есть особенность: Верресу удалось добиться того, что все кругом заплатили.

История Стенния настолько интересна, что я не могу обойти ее стороной. Сфений был человеком богатым и высокопоставленным, жил в Термах на Сицилии, у него часто останавливался Веррес, так как, будучи губернатором, он много путешествовал по острову, всегда в погоне за грабежом. В доме Сфения было много красивых вещей. Все они достались Верресу: часть - выпрашиванием, часть - требованием, а часть - абсолютным грабежом. Сфений, опечаленный тем, что его разграбили, терпел все это. Он был римским претором, и подобные обиды нужно было терпеть. Однако в Термах, в общественном месте города, стояло несколько прекрасных статуй. Веррес жаждал их и просил хозяина достать их для него. Стий заявил, что это невозможно. Статуи при особых обстоятельствах были вывезены Сципионом Африканским из Карфагена, возвращены римским генералом сицилийцам, у которых они были отняты, и установлены в Термах. Там была особенно красивая фигура поэта Стесихора, старика, согнувшегося вдвое, с книгой в руке - очень великолепное произведение искусства; и была коза, вероятно, из бронзы, по поводу которой Цицерон не преминул сказать, что даже он, не сведущий в таких делах, смог разглядеть ее очарование. Ни у кого не было более острого глаза на такие красивые украшения, чем у Цицерона, и более явного вкуса к ним. Но поскольку Гортензий, его соперник и оппонент в этом деле, взял у Верреса мраморного сфинкса, он счел нужным показать, насколько он превосходит его в таких делах. Вероятно, в этом была доля шутки, поскольку его пристрастия, несомненно, были известны тем, к кому он обращался.¹¹⁷

В этом деле Стенений был неподкупен, и даже Прэитор не смог унести их без его помощи. Цицерон, очень тепло отзывающийся о Стенее, утверждает, что "наконец-то Веррес нашел один город, единственный в мире, из которого он не смог унести что-нибудь из общественного имущества ни силой, ни тайком, ни открытым приказом, ни благосклонностью".¹¹⁸ Это так не понравилось правителю, что он покинул Стену, оставив дом, который он разграбил, и поселился у некоего Агатины, у которого была прекрасная дочь Каллидама, которая вместе со своим мужем Доротеем жила у отца, Они были врагами Сфения, и нам дано понять, что Веррес сблизился с ними отчасти ради Каллидамы, которая, похоже, очень быстро была отдана ему¹¹⁹, а отчасти для того, чтобы подстрекать их к действиям против Сфения. Это удастся сделать с большим успехом, так что Сфений вынужден бежать и отправиться зимой через море в Рим. Уже рассказывалось, что, когда он

был в Риме, Веррес возбудил против него дело за то, что он сбежал, когда его судили, в котором Цицерон защищал его и был оправдан. После оправдания Веррес преследовал его по всем формам закона, которые попадали к нему в руки как к претору, но всегда вопреки закону. В действиях этого человека, в его открытом презрении к законам, исполнять которые было его особой обязанностью, есть дерзость, заставляющая нас почувствовать, насколько он был уверен, что сможет добиться всего в Риме с помощью своих денег. Грабя и скрывая свои грабежи, продавая свои приговоры таким образом, чтобы сохранить некоторую скрытность благодаря обычной предосторожности, он мог бы заработать много денег, как это делали другие правители. Но он решил, что ему выгоднее грабить повсюду открыто, а потом, когда наступит день расплаты, покупать судей оптом. Что касается стыда за такие поступки, то у римлян не осталось такого чувства.

Прежде чем перейти к рассказу о Стенее, Цицерон обращается к стоящим перед ним судьям с грандиозным ироническим призывом: "Да, о судьи, сохраните этого человека; сохраните его в государстве! Пощадите его, сохраните его, чтобы он тоже мог сидеть с нами в качестве судьи здесь, чтобы он тоже мог беспристрастно советовать нам, как сенатор, что лучше для нас в отношении мира и войны! Не то чтобы мы беспокоились о его сенаторских обязанностях. Его авторитет будет ничтожен. Когда он осмелится или когда ему вздумается прийти к нам? Разве что в праздный месяц февраль, но когда такой праздный, такой развратный человек покажется в доме сената? Пусть придет и покажет себя. Пусть он посоветует нам напасть на критян; объявить греков Византии свободными; провозгласить Птолемея царем.¹²⁰ Пусть он говорит и голосует так, как прикажет Гортензий. Это мало повлияет на наши жизни и имущество. Но помимо этого есть нечто, на что мы должны обратить внимание; нечто, что вызовет недоверие; нечто, чего должен бояться каждый хороший человек! Если по воле случая этот человек вырвется из наших рук, ему придется сесть на эту скамью и стать судьей. Он должен был бы выносить решения по поводу жизни римских граждан. Он стал бы правой рукой в армии этого человека,¹²¹ того, кто стремится стать властелином и правителем наших судейских мест. Народ Рима, по крайней мере, отказывается от этого! Этого нельзя терпеть!"

Третье из этих повествований рассказывает о том, как Веррес управлял в своей провинции поставками кукурузы для нужд Рима, сбор которой сделал владение Сицилией столь важным для римлян. Он начинает с того, что рассказывает своим читателям - как он это делает слишком часто - о том, насколько велика и необычна задача, которую он взял на себя; и он использует аргумент, который мы не можем не признать истинным, хотя мы сомневаемся, что любой современный защитник осмелится выдвинуть его. Однако мы должны помнить, что римляне не привыкли стыдиться восхваления себя. То, что Цицерон говорит о себе, все другие говорили и о себе; только Цицерон мог сказать это лучше других. Он напоминает нам, что тот, кто обвиняет другого в каком-либо преступлении, обязан сам быть особенно свободным от этого преступления. "Обвиняешь ли ты кого-нибудь в воровстве? Ты должен быть чист от всякого подозрения даже в желании обладать чужим имуществом. Привлек ли ты человека к ответственности за злобу или жестокость? позаботься о том, чтобы тебя не нашли жестокосердным. Назвал человека соблазнителем или прелюбодеем? будь уверен, что в твоей собственной жизни нет и следа таких пороков. Что бы вы ни наказали в другом, этого вы должны избегать сами. Невыносимым был бы публичный обвинитель или даже кавилер, который должен обличать грехи, за которые его самого ставят под сомнение. Но в этом человеке я нахожу все пороки вместе взятые. Нет ни одной похоти, ни одного беззакония, ни одного бесстыдства, о которых его жизнь не дала бы достаточных

доказательств". Природа трудности, с которой Цицерон столкнулся, достаточно очевидна. Поскольку Веррес - это все, что плохо, то и он, как обвинитель, должен быть всем, что хорошо; а это, надо сказать, больше, чем любой человек хотел бы заявить о себе! Но он справляется с задачей. "В отношении этого человека, о судьи, я устанавливаю для себя закон, как я его изложил. Я должен жить так, чтобы казаться и всегда быть полной противоположностью этому человеку, не только в своих словах и делах, но и в том высокомерии и наглости, которые вы в нем видите". Затем он показывает, насколько он противоположен Верресу, во всяком случае, в дерзости! "Мне не жаль видеть, - продолжает он, - что та жизнь, которая всегда была жизнью по моему собственному выбору, теперь стала для меня необходимостью по закону, который я сам для себя установил".¹²² Мистер Пекснифф говорил о себе точно так же, но никто, я думаю, ему не поверил. Цицерону, вероятно, поверили. Но самое удивительное, что его образ жизни оправдывал то, что он говорил о себе. Когда другие люди его круга предавались похоти, беззаконию и бесстыдству, он жил в чистоте, с чистыми руками, делая добро, насколько это было в его силах, для окружающих. Над его утверждением, что даже в вопросах высокомерия его поведение должно быть противоположным поведению Верреса, будут смеяться. Но это произойдет потому, что я не сумел точно истолковать смысл этих слов: *"oris oculorumque illa contumacia ac superbia quam videtis"*. Веррес, как мы можем понять, вел себя во время процесса с хвастливым, наглым, дерзким лицом, решив не показывать стыда за свои поступки. Именно в этом, что было делом манеры и вкуса, Цицерон заявляет, что будет противоположностью этому человеку, как и в поведении. Что касается обычного хвастовства, которым, надо признать, Цицерон иногда отвращает своих читателей, то невозможно составить справедливое представление о его характере, если не помнить, что у римлян принято хвастаться. Мы ждем, когда о нас скажут что-то хорошее, или должны ждать. Римлянин говорил их о себе. *"Veni, vidi, vici"* было обычным способом выражения в те времена, да и в более ранние времена у греков.¹²³ Нам это неприятно; и, вероятно, тем, кто придет после нас, через две или три сотни лет, будет неприятно, что тот или иной британский государственный деятель сделал себя графом или рыцарем Подвязки. Сейчас многие считают это вполне уместным. В будущем людей будет шокировать, что великие пэры или богатые простолюдины должны были торговаться за ленты, лейтенанты и титулы. Сейчас же это обычай времени. Хотя можно сказать, что добродетель и порок остаются неизменными от века к веку, прежде чем судить о характере человека, необходимо учесть широту, которую он допускает, и отклонения, которые поощряются в ту или иную эпоху. Хвастовство Цицерона сохранилось для нас. Мы должны помнить, что его словам 2000 лет. В них столько человечности, столько чувства цивилизации последнего времени и почти христианства, что мы склонны осуждать то, что осталось в них от язычества, как будто они были произнесены вчера. Когда мы переходим к грубости его нападок, описаниям Пизона, его оскорблениям Габиния и инвективам против Антония; когда мы читаем его измененные мнения, как показано в период правления Сезара, его лесть Сезарю, когда он был у власти, и его ликование, когда Сезар был убит; Когда мы обнаруживаем, что он мог быть грубым в своем языке, задиристым и подневольным - а это следует признать - мы должны задуматься, при каких обстоятельствах, в какой обстановке и с какой целью были использованы слова, которые нам неприятны. Выступая перед полным составом суда на этом процессе, он осмелился сказать, что знает, как жить по-мужски и вести себя по-джентльменски. Как и подобает мужчинам и джентльменам в те времена, он был оправдан.

Описание хитрости Верреса в отношении налога на кукурузу длинное и сложное, и вряд ли его стоит продолжать, разве что тем, кто хочет узнать, как беззаконие такого человека

позволило извлечь максимальную выгоду из повинности, которая сама по себе была очень плохой, и взвалить на себя бремя, пока бедная провинция не оказалась не в состоянии его нести. Существовало три вида обложения кукурузой. Первый, называемый "декуманум", был просто десятиной.

Производители на острове должны были поставлять в Рим десятую часть своей продукции, и обязанностью претора, а точнее, квестора при преторе, было следить за тем, чтобы десятина была собрана. О том, как Веррес сам следил за этим и как он обращался с сицилийскими крестьянами в отношении десятины, рассказывается так, что мы вынуждены отдать должное его безграничной плодовитости. Далее, есть "пустоцвет", или кукуруза, купленная для использования Римом, которая была двух видов. Вторая десятина должна была быть предоставлена по цене, установленной римским сенатом, которая считалась ниже реальной стоимости, а затем 800 000 бушелей были куплены, или номинально куплены, по цене, которая также была установлена сенатом, но которая была ближе к реальной стоимости. Три сестерция за бушель для первых и четыре для последних - таковы были цены, установленные в это время. Для осуществления этих платежей в Веррес переводились огромные суммы денег, учет которых велся так, что трудно сказать, попали ли они в руки крестьян, которые, несомненно, поставляли кукурузу. Третьим налогом на кукурузу был "эстиматум". Он состоял из определенного фиксированного количества, которое должно было поставляться претору для использования его правительственными учреждениями - либо в зерне, либо в деньгах. Как поступил бы с ним такой человек, как Веррес, читатель может догадаться.

Все это было жизненно важно для Рима. Сицилия и Африка были житницами, из которых Рим получал хлеб. Получать припасы из провинции было необходимо. Богатые люди держат слуг, чтобы самим жить вольготнее. Так было и с римлянами, для которых провинции выступали в роли слуг. Необходимо было иметь резкого агента, какого-нибудь проконсула или пропретора; но когда появлялся такой резкий человек, как Веррес, всякая возможность восстановить снабжение на некоторое время уничтожалась. Даже Цицерон хвастался, что во время сильного дефицита он, будучи тогда квестором в Сицилии, отправил в город огромный запас кукурузы.¹²⁴ Но он сделал это так, чтобы удовлетворить всех заинтересованных лиц.

У Верреса, который вел дела с сицилийцами, был некий друг, компаньон и служитель - один из его любимых псов, возможно, мы можем назвать его по имени Апроний, которого Цицерон описывает особо. Я должен привести это описание, потому что оно очень сильное; потому что оно показывает нам, как один человек мог в те дни говорить о другом в открытом суде перед всем миром; потому что оно дает нам пример того, какую ненависть оратор мог вложить в свои слова; но я должен скрыть его на языке оригинала, так как я не могу перевести его без обиды.¹²⁵

Затем у нас есть книга, посвященная специальному грабежу статуй и других украшений, которая, благодаря гениальному рассказу, является, пожалуй, самой забавной из всех ораций Веррина. Греческий народ проявлял своеобразную приверженность к тому, что мы обычно называем искусством. Мы часто коллекционируем картины, фарфор, бронзу и мрамор, отчасти из любви к этим вещам, отчасти из гордости за то, что украшаем свои дома так, чтобы вызвать восхищение других, отчасти из чувства, что деньги, вложенные таким образом, неплохо размещены с расчетом на будущую прибыль. Все эти чувства действовали на греков в гораздо большей степени. Инвестиции в консоли и железнодорожные акции были для них недоступны. Деньги они, конечно, давали в долг под ростовщичество, но с большой вероятностью их потерять. Греческие колонисты были трудолюбивы, жадны и благоразумны. Отсюда вытекало, что, продвигаясь по миру к городам, которые они основывали вокруг Средиземноморья, они собирали в своих новых домах огромные запасы

декоративного богатства. Это было сделано с большим изобилием в Сиракузах, греческом городе на Сицилии, и распространилось от них по всему острову. Храмы богов были заполнены работами великих греческих художников, и каждый знатный человек имел свою галерею. То, что Веррес, боров, каким его описывают, питал страсть к этим вещам, для нас очевидно. В конце концов он погиб, защищая некоторые любимые изображения. Он вернулся в Рим по амнистии Сезара, и Марк Антоний убил его за то, что он не отдал некоторые сокровища искусства. Когда мы читаем "De Signis - О статуях", нам кажется, что поиск этих вещей был главной целью Верреса на протяжении всех трех лет его правления, как раньше нам внушали, что все его мысли и время были посвящены обману сицилийцев в вопросе о кукурузе. Но хотя Веррес и любил эти безделушки, он искал их не только для себя. Лишь треть награбленного им доставалась ему самому. Сенаторов, судей, адвокатов, консулов и преторов можно было подкупить как предметами *роскоши*, так и деньгами.

Об этих ограблениях рассказывают одиннадцать отдельных историй. Я вкратце расскажу подробности одной или двух. Некий Марк Хейус, богатый житель Мессаны, в доме которого Веррес получил большое удовольствие. Сама Мессана была ему очень полезна, а мамертинцы, как называли жителей Мессаны, были его лучшими друзьями во всей Сицилии: он сделал Мессану складом своей добычи и построил там за счет правительства огромный корабль под названием "*Кибя*",¹²⁶ на котором вывозил свои сокровища с острова. Поэтому он особенно благоволил к Мессане, и считается, что в районе Мессаны его бичевали более легкими прутьями, чем в других местах Сицилии. Но у этого человека, Гея, была часовня, очень священная, в которой хранились четыре особо прекрасных образа. Там были Амур работы Праксителя, бронзовый Геркулес работы Миро и две Канефрики работы Поликлета. Это были сокровища, на которые приходил посмотреть весь мир, и которые были открыты для обозрения всем миром. Веррес забрал их и подделал счета, по которым выходило, что он купил их за ничтожные суммы. Похоже, что от Гея было получено некое вынужденное согласие на эту сделку. Существовал план, как сделать приятное проконсулу, уходящему с поста, в соответствии с которым из провинции в Рим отправлялась депутация, чтобы заявить, как хорошо и любезно вел себя проконсул во время своего правления. Союзники, даже когда с них, как бы, живьем сдирали кожу их правители, были вынуждены посылать своих депутатов. На Сицилию были отправлены депутаты из Мессаны и Сиракуз, и вместе с другими из Мессаны прибыл этот человек - Гей. Гею не хотелось рассказывать о своих статуях, но ему задавали вопросы, и он был вынужден отвечать. Цицерон рассказывает, как все это происходило. "Это был человек, - сказал он, - вот что Цицерон сообщает нам о словах Гея, - который пользовался большим уважением в своей стране и хотел бы, чтобы вы, судьи, хорошо отозвались о его религиозном духе и о его личных достоинствах. Он пришел сюда, чтобы восхвалять Верреса, потому что этого требовали его сограждане. Однако он никогда не держал в своем доме вещей на продажу; и если бы он был предоставлен самому себе, ничто не побудило бы его расстаться со священными изображениями, которые достались ему от предков как украшение его собственной часовни."¹²⁷ Тем не менее, он пришел восхвалять Верреса и, если бы это было возможно, удержал бы свой язык".

Цицерон заканчивает свой каталог рассказом о многочисленных грабежах, совершенных Верресом в Сиракузах, особенно из храмов богов; и он начинает свой рассказ о сиракузских беззакониях, проводя параллель между двумя римлянами, чьи имена были хорошо известны в этом городе: Марцеллом, который осадил его как враг и взял, и Верресом, который был послан управлять им в мире. Марцелл спас жизни сиракузян, а Веррес заставил Форум залить их кровью. Гавань, которая устояла против Марцелла, как мы можем прочитать в "Ливии", была намеренно открыта Верресом для киликийских пиратов. Сиракузы, так бережно сохраненные римским завоевателем, самый красивый из греческих городов на

земле - настолько красивый, что Марцелл сохранил для него все общественные украшения, - были раздеты Верресом. Здесь находился храм Минервы, с которого он снял все картины. В этом храме были двери такой красоты, что о них написаны книги. Он снял с них украшения из слоновой кости и золотые шары, которыми они были украшены. Он оторвал от них голову Горгоны и унес ее, оставив их грубыми дверями, готом, которым он был!

А из Пританея он забрал "Сафо" работы Силаниона - вещь такой красоты, что ни один человек не может иметь ее в своем доме, но она у Верреса - человека, которому вряд ли подобает носить такое произведение искусства как ношу, а не обладать им как собственным сокровищем. "И что же! - говорит он, - разве не ты украл Пеана из храма Эскулапия - статуи, столь замечательной по красоте, столь известной по почитанию, что весь мир стремился посетить ее? А разве образ Аристея не был похищен вами из храма Вакха? Разве вы не украли даже статую Юпитера Императора, столь священную в глазах всех людей, - того Юпитера, которого греки называют Ourios? Вы не постеснялись украсть из храма Прозерпины прекрасную голову из парийского мрамора".¹²⁸ Затем Цицерон говорит о поклонении всем этим богам, как будто сам верит в их божество. Как он начал эту главу с мамертинцев из Мессаны, так и заканчивает ее обращением к ним. "Хорошо, что вы пришли, вы одни из всех провинций, и восхваляете Верреса здесь, в Риме. Но что вы можете сказать в его защиту? Разве не ваш долг - построить корабль для Республики? Вы не построили ни одного такого корабля, но построили огромное частное транспортное судно для Верреса. Разве вас не освободили от налога на кукурузу? Разве вы не освобождены от военно-морских и военных рекрутов? Разве не вы были вместилищем всех его краденых вещей? Им придется признаться, этим мамертинцам, что многие корабли, груженные его добычей, покинули их порт, и особенно этот огромный транспортный корабль, который они построили для него!"

В De Suppliciis - трактате о наказаниях, как называется последний раздел этого процесса, - Цицерон рассказывает миру о том, как Веррес мстил тем, кто был против него, и с какой ужасной жестокостью он свирепствовал против своих врагов. Истории, действительно, очень страшные. Страшно подумать, что такой злой человек был наделен столь великой силой для столь дурных целей. Но современного читателя больше всего поражает святость имени римского гражданина и дерзость, с которой римский проконсул пренебрег этой святостью. "Cives Romanus" - это крик Цицерона с самого начала и до конца. Несомненно, он обращается к римлянам и стремится к популярности, как делал это всегда. Но, тем не менее, требования, предъявляемые к внешнему миру славой этого прозвища, поразительны, даже если они выдвигаются по такому случаю, как этот. Некий Гавий бежит из сиракузской тюрьмы и, направляясь в Мессану, глупо хвастается, что скоро окажется в Италии, вне пределов досягаемости претора Верреса и его жестокостей. Веррес, к несчастью, находится в Мессане и вскоре узнает от своих друзей, мамертинцев, о том, что говорил Гавий. Он тут же приказывает публично выпороть Гавия. "Cives Romanus sum!" - восклицает Гавий, несомненно, искренне. Веррес делает вид, что не верит в это, и заявляет, что этот человек - беглый раб. Несчастный все еще кричит "Cives Romanus!" и полагается только на этот призыв. Тогда Веррес ставит крест на берегу моря и распинает его на виду у Италии, чтобы он смог увидеть страну, которой так гордится. Совершил ли он что-нибудь, чтобы заслужить распятие, порку или вообще наказание, мы не знаем. Верреса обвиняют не в том, что он распял человека, а в том, что он распял римлянина. Именно в этом случае Цицерон использует слова, ставшие пословицей, о беззаконии этой процедуры.¹²⁹ Во время рассказа этой истории он объясняет эту доктрину, требуя для римского гражданина, во всем мире, такой защиты, какую масоны должны предоставлять друг другу, будь то знакомые или незнакомые. "Люди из соломы, - говорит он, - не имеющие особого происхождения, ходят по миру. Они приходят в места, которых никогда не видели, где они никого не знают, и никто не

знает их. Здесь, доверяя только своим притязаниям, они чувствуют себя в безопасности - не только там, где находятся наши магистраты, связанные как законом, так и мнением, не только среди других римских граждан, которые говорят на их языке и следуют тем же обычаям, но и за границей, во всем мире, и они считают это достаточной защитой". ¹³⁰ Далее он говорит, что если какой-нибудь претор по своей воле отменит эту святость, то все провинции, все королевства, все свободные государства, весь зарубежный мир очень скоро утратят это чувство.

Но самая примечательная история - та, что рассказывается о некоем пиратском капитане. Веррес был небрежен в отношении пиратов - очень труслив, если верить Цицерону. Пиратство в Средиземном море в то время было ужасным препятствием для торговли, и через год или два Помпей сумел его уничтожить. Губернатор Сицилии, помимо прочих особых обязанностей, должен был зорко следить за пиратами. Этого Веррес не делал настолько, что эти морские бичи вскоре узнали, что могут делать на сицилийских берегах почти все, что им заблагорассудится. Но случилось так, что в один прекрасный день пиратское судно случайно попало в руки офицеров губернатора. По словам Цицерона, оно не было захвачено, но было настолько перегружено, что его подняли, едва не потопив. ¹³¹ Оказалось, что на нем полно красивых мужчин, серебра, чеканки и драгоценных вещей. Хотя его не "взяли", его "нашли" и доставили в Сиракузы. Сиракузы переполнены этой новостью, и первое требование - убить всех пиратов, согласно римскому обычаю. Но это не устраивает Верреса. Рынки рабов в Римской империи открыты, и среди пиратов есть люди, которых ему выгоднее продать, чем убить. Среди них есть шесть музыкантов, "симфониакос хоминес", которых он посылает в подарок другу в Рим. Но жители Сиракуз настроены очень серьезно. Они слишком остры, чтобы отвлекаться на притворство, и считают количество убитых пиратов. Изюм в день обезглавливают только бесполезных, слабых, уродливых стариков; и, прекрасно понимая, сколько людей должно было быть, чтобы грести и управлять таким судном, они требуют, чтобы вся команда была приведена на плаху. "Нет ничего более приятного в победе, - говорит Цицерон, - нет более надежного доказательства, чем видеть, как тех, кого ты боялся, но теперь одержал верх, выводят на пытки или смерть". ¹³² Веррес настолько напуган решимостью граждан, что не смеет пренебречь их желаниями. В тюрьмах Сиракуз лежит множество пленников, римских граждан, от которых он рад избавиться. Он выводит их, завернув головы, чтобы их не узнали, и обезглавливает их вместо пиратов! Много говорится и о пиратском капитане - архи-пирате, как его называют. Похоже, что между ним и Верресом были какие-то денежные дела, из-за которых Веррес держал его в тайне. Во всяком случае, архи-пират был спасен. "Вот так и происходит эта знаменитая победа. ¹³³ Пиратский корабль захватывают, а главному пирату позволяют скрыться. Музыкантов отправляют в Рим. Красивых и молодых мужчин отводят в дом претора. Всех римских граждан, которые займут их места, везут как врагов народа, пытаются и убивают! Все золото, серебро и драгоценные вещи становятся наградой Верреса!"

Таковы обвинения, выдвинутые против этого замечательного человека, истинность которых, как мне кажется, в целом признается. Картина римской жизни, которую он демонстрирует, удивительна тем, что такие зверства были возможны, и в равной степени тем, что провинциальное подчинение терпело такие жестокости. Но во всей этой картине самое большое удивление вызывает то, что должен был подняться человек, столь решительно настроенный выступить на стороне слабого против сильного без всякой награды, очевидно, не имея иной перспективы, кроме как сделать себя одиозным для партии, к которой он принадлежал. Цицерон не был Гракхом, стремящимся броситься в объятия народа; он был олигархом по убеждению, рожденным для олигархии, воспитанным для нее, убежденным, что только с ее помощью можно сохранить Римскую республику. Но он также был убежден,

что если не заставить этих олигархов выполнять свой долг, то республика не устоит. Поэтому он осмелился бросить вызов своим братьям и сделать оправдание Верреса невозможным. Я склонен думать, что день, когда Гортензий выбросил губку, а Веррес подчинился изгнанию и штрафу, был самым счастливым в жизни оратора.

Верреса заставили заплатить штраф, весьма недостаточный для его преступлений, а затем удалиться в комфортное изгнание. Из нее он вернулся в Рим, когда римские изгнанники были амнистированы, и вскоре после этого был убит Антонием, как уже рассказывалось ранее.

Глава VII.

ЦИЦЕРОН КАК ЭДИЛ И ПРЕТОР.

69 г. до н. э., *ætat.* 38.

Год после суда над Верресом был годом эдильства Цицерона. Мы мало знаем о нем, как он исполнял свои обязанности, но можем предположить, что он был доволен народом. Он не тратил много денег на их развлечения, хотя у эдилов был обычай разорять себя, добиваясь популярности подобным образом; и все же, когда через два года после этого он попросил у народа преторства, его трижды избрали первым претором во всех комициях - три отдельные выборы были необходимы из-за некоторых нарушений и фактических трудностей. На все должности, одну за другой, он избирался в первый год своей жизни - первый год, возможный в соответствии с его возрастом, - и был избран сначала в почетном звании, сначала претором, а затем первым консулом. Это, несомненно, отчасти объясняется соблюдением им правил агитации, которые, как говорят, разработал его брат Квинт и которые я уже цитировал; но это также доказывает доверие, которое испытывал к нему народ. Кандидаты, в большинстве своем, были кандидатами от аристократии. Они были выдвинуты с мыслью, что таким образом можно наилучшим образом сохранить аристократическое правление в Риме. Их выборы проходили с помощью подкупа, и народ в большинстве своем был равнодушен к происходящему. Будь то Веррес, Антоний или Гортензий, они брали деньги, которые шли в ход. Они позволяли себе наслаждаться играми и делали то, что им предлагали. Но время от времени появлялось имя, которое будоражило их, и они шли к ручкам для голосования - *ovilia* - со своей собственной целью. Когда появлялся такой кандидат, он обязательно становился первым. Таким был Марий, таким был великий Помпей, таким был Цицерон. Двое первых были людьми, успешными в войне и завоевавшими голоса народа своими победами. Цицерон завоевал их тем, что делал внутри города. Он мог позволить себе не влезать в долги и не разоряться во время своего эдильства, как это часто случалось с эдилами, потому что смог добиться популярности другим способом. Главной обязанностью эдилов было присматривать за городом в целом - следить за храмами богов, за тем, чтобы дома не рушились, за очисткой улиц и водоснабжением. В их ведении находились рынки, полиция и периодические праздники. Деятельный человек, обладающий здравым смыслом, каким был Цицерон, несомненно, хорошо справлялся со своими обязанностями эдила.

Он продолжал заниматься адвокатской практикой в течение всех лет своего правления. До нас дошли часть одной речи и вся другая, произнесенная в этот период. Первая была произнесена в пользу Фонтея, которого галлы преследовали за грабеж в качестве пропретора, а вторая - это гражданское дело от имени Кецины, адресованное "восстановителям", как и речь Марка Туллия. Речь в защиту Фонтея примечательна тем, что

она так же жестко направлена против провинциальных галлов, как его речь против Верреса была благосклонна к сицилийцам. Но галлы были варварами, тогда как сицилийцы - греками. Не следует забывать, что Цицерон выступал в качестве адвоката, а похвалы и порицания адвоката нужно принимать с большим количеством соли. Ничто из того, что эти жалкие галлы могли сказать против римского гражданина, не должно быть принято в качестве доказательства! "Все римляне, - говорит он, - побывавшие в провинции, желают Фонтею добра. Неужели ты предпочтешь поверить этим галлам, руководствуясь какими чувствами? Мнению людей! Неужели мнение ваших врагов имеет больший вес, чем мнение ваших сограждан, или свидетели заслуживают большего доверия? Неужели вы предпочтете неизвестных людей известным - лживых людей честным - иностранцев своим соотечественникам - жадных людей тем, кто пришел к вам просто так - людей без религии тем, кто боится богов - тех, кто ненавидит империю и имя Рима, - союзникам и гражданам, которые добры и верны?"¹³⁴ В каждом слове он задает вопрос, чтобы убедить нас в слабости своего собственного дела; и когда он окончательно взывает к жалости судей, мы убеждаемся в виновности Фонтея. Он говорит судьям, что у бедной матери обвиняемого нет другой поддержки, кроме этого сына, и что есть сестра, одна из девственников, посвятивших себя служению Весте, которая, будучи весталкою, не может иметь собственных сыновей и поэтому имеет право на то, чтобы ее брат был сохранен для нее. Когда мы читаем подобные аргументы, мы уверены, что Фонтей злоупотреблял галлами. Мы верим, что он был оправдан, потому что нам говорят, что вскоре после этого он купил дом в Риме; но мы чувствуем, что он избежал этого благодаря слишком большому влиянию своего защитника. Нас заставляет усомниться, что власть над словами, которой человек может достичь благодаря природным дарованиям, практике и эрудиции, не может принести зло вместо добра. Человек с таким языком, как у Цицерона, заставит слушателя поверить почти во все, что ему заблагорассудится; а адвоката не сдерживает никакой страх перед ложью. Только в его профессии считается почетным быть оплотом против обмана и заставлять худшее дело казаться лучшим. Цицерон поступал так, когда, как ему казалось, этого требовал случай, и в результате был обвинен в лицемерии. В одном из диалогов, *De Oratore*, есть отрывок, который постоянно цитируется против него, потому что слово "ложь" используется с одобрением. Оратору говорят, что ему следует украсить свою хорошую историю маленькой белой ложью - "*mendaciunculis*".¹³⁵ Совет действительно не относится ни к фактам, ни к доказательствам, ни к аргументам. Он не идет дальше того, чтобы предложить ту долю преувеличения, которую использует каждый рассказчик хорошей истории, чтобы история была хорошей. Такие "*mendaciuncula*" есть в устах каждого лондонского обедающего, и мы можем пожалеть о званых вечерах, на которых они не используются. Сейчас мы упоминаем о них потому, что употребление этого слова Цицероном, неправильно понятое некоторыми, кто сурово обращался с его именем, было приведено в доказательство его лживости. Вы расскажете историю об очень маленьком человеке и скажете, что в нем всего тридцать шесть дюймов. Вы прекрасно знаете, что его рост превышает четыре фута. Это будет "*mendaciunculum*", согласно Цицерону. Эта фраза переходила от одного врага к другому, пока не стало считаться, что маленькие фикции Цицерона, рекомендующего, - это прямая ложь, предлагаемая им всем защитникам, и поэтому постоянно используемая им как защитником. Они были лишь украшением его шуток. Как адвокат, он был примерно таким же лживым и примерно таким же правдивым, как адвокат наших дней.¹³⁶ То, что ему не платили, и то, что нашим английским барристерам платят за работу, которую они делают, не имеет, я думаю, никакого значения ни для невинности, ни для лживости этой практики. Я не могу не верить, что в будущем улучшение общего настроения запретит человеку чести использовать аргументы, которые он считает неправдивыми, или заставлять других верить в то, во что он сам не верит. Такого положения вещей нет сейчас в Лондоне, как не было его и в

Риме во времена Цицерона. В мольбе в защиту Фонтея есть штрихи красноречия, но читатель, вероятно, согласится со мной, что оратор прекрасно понимал, что покойный губернатор, над которым шел суд, плохо обращался с этими несчастными галлами.

В год, следующий за годом эдильства Цицерона, были написаны первые из дошедших до нас его посланий. Ему тогда еще не было тридцати девяти лет - ок. 68 г. - и в течение этого года и последующих семи было написано одиннадцать писем, все к Аттику. Письма к другим друзьям - Ad Familiares, как мы привыкли их называть; Ad Diversos, как их принято называть сейчас, - начались только к концу его консульского года. Как получилось, что сохранились только те, которые были написаны после того периода жизни, когда большинство людей перестают быть свободными корреспондентами, нельзя сказать с уверенностью. Вероятно, это произошло потому, что он позаботился о сохранении своих писем, как только сам понял, насколько велика будет их ценность. О характере их ценности вряд ли можно говорить слишком высоко. Я не готов согласиться с часто цитируемым утверждением Корнелия Непоса, что тот, кто прочтет его письма к Аттикусу, не лишится многого из истории тех дней.¹³⁷

Человек, который должен был бы читать только их и ничего больше, даже во времена Августа, не узнал бы многого о предшествующей эпохе. Но если не для целей истории, то для целей биографии писем, если их читать правильно, было вполне достаточно. Для понимания характера человека их, как мне кажется, вполне достаточно. Из них на писателя падает такой поток света, что становятся видны все его благородства и все его недостатки, все его стремления и все его колебания. Мы знаем, насколько он был человеком, и насколько он тоже был только человеком - как он вздыхал о великих событиях и позволял себе иногда думать, что их можно совершить с помощью маленьких маневров - как, подобно человеку, он мог гордиться своей работой и хвастаться - как, подобно человеку, он мог отчаяться и почти умереть. Но я хочу, чтобы те, кто читает его письма, признали, чтобы они также могли прочесть его характер, что это были частные письма, написанные с целью сказать правду, и что если им можно верить в отношении его слабостей, то им также следует верить в отношении его силы. Если они необычайно прозрачны в отношении человека - открывают, особенно Аттикусу, двери его души полнее, чем это сделала бы любая девушка XIX века в письме к своему близкому другу, - их следует воспринимать как более правдивые. Рассматривать стремления как лицемерие, а лишь низменные излияния его ума как олицетворение истинного человека - неразумно и немилосердно. Думаю, и тот читатель не сможет понять, как увидеть истину, кто не научит себя тому, что в случае с Цицероном было следствием смелости рассказать другу неприкрашенную историю. Когда нам в голову приходит какая-нибудь плохая мысль, мы не садимся и не пишем ее другому, а если бы и написали, то письмо получило бы бессмертие. Если бы кто-то из нас потерял все, как Цицерон потерял все, когда его отправили в изгнание, я думаю, вполне возможно, что он на какое-то время остался бы без чувств; но он либо не написал бы, либо, написав, скрыл бы большую часть своих чувств. Потеряв свою Туллию, какой-нибудь современный отец сохранил бы все это в своем сердце, не стал бы выплескивать свои горести. Даже к самой искренней любви к друзьям примешивается некий страх, который не позволяет говорить открыто. К добру это или ко злу, я не скажу, но это так. Цицерону, знал он или не знал, что его письма будут жить, не мешал такой страх. Он говорил все, что было в нем, и в этом, надо сказать, был так же непохож на других римлян того времени, как и на нас самих. В сборнике, как он дошел до нас, есть около пятидесяти писем - не от Цицерона - написанных Цицерону его братом, Децимом Брутом, Планком и другими. Думаю, следует признать, что их тон сильно отличается от того, который использовал он сам. Нет ни одного письма от Аттика - ни одного, написанного в условиях такой легкой дружбы, какая царила, когда многие из них

были написаны самим Цицероном. Вероятно, будет признано, что его манера открыто обращаться к корреспонденту была ему свойственна. Если это так, то он, несомненно, должен иметь как преимущества, так и недостатки своей манеры изъясняться. Читатель, который позволяет себе думать, что истинный характер этого человека можно прочесть в маленьких хитростях, которые он говорил Аттикусу, а более благородные идеи были выдвинуты лишь для того, чтобы обмануть публику, будет так же несправедлив к себе, как и к Цицерону.

Читая всю переписку - письма Цицерона к Аттику или к другим людям, - следует помнить, что в обычном переложении, сделанном Гравием¹³⁸, они часто неправильно расположены в хронологическом отношении. В последующие времена были предприняты усилия, чтобы вернуть их в правильное положение, и именно так их и следует читать. Письма к Аттику и *Ad Diversos* обычно публикуются отдельно. Для обычного литературного удовольствия их, возможно, лучше всего читать именно так. Тон у них разный. Большая часть переписки носит политический или квазиполитический характер. В письмах, адресованных Аттикусу, манера гораздо более привычная, менее строгая - хотя и не свидетельствующая о меньшей серьезности, - чем в других. За одним или двумя существенными исключениями, те, что адресованы Аттикусу, достойны прочтения. Характер писателя, возможно, лучше всего понять при раздельном прочтении; но для общего понимания фактов из жизни Цицерона всю переписку следует воспринимать в том виде, в каком она была написана. В таком виде она была опубликована, как и в другом, и в таком виде будет использоваться в моей попытке изобразить жизнь того, кто ее написал.¹³⁹

до н. э. 68, *этта* 39.

У нас есть три письма, написанные в тридцать восемь лет, в год после его эдильства. В первом он сообщает своему другу о смерти своего двоюродного брата Луция Цицерона, который путешествовал с ним по Сицилии, и упоминает о разногласиях, которые произошли между Помпонией, сестрой Аттика, и ее мужем Квинтом Цицероном - братом нашего Цицерона. Марк во всем, что он говорит о своем брате, выставляет его в лучшем свете. В том, что Квинт был ученым и знатным человеком, сомневаться не приходится; к тому же он занимал высокие посты в Республике. Но он был высокомерен, суров, жесток с теми, кто от него зависел, и совершенно не обладал той человечностью, которая была характерна для его брата. "Когда я обнаружил, что он не прав, - пишет Цицерон в своем первом письме, - я написал ему как брату, которого я любил; но как тому, кто младше меня, и кому я должен был рассказать о его вине". Как обычно бывает с корреспондентами, половина письма занята оправданиями за то, что он не написал раньше; затем он дает поручения на покупку статуй для своей тускуланской виллы, о которой мы слышим впервые, и рассказывает другу, как его жена Теренция передает ему привет, хотя и страдает от подагры. Туллия, милая маленькая Туллия, "*deliciæ nostræ*",¹⁴⁰ тоже передает привет. В следующей главе он рассказывает, что некий дом, который Аттик намеревался приобрести, был куплен Фонтеем за 130 000 сестерций - примерно за 1000 фунтов стерлингов, если считать, что сестерция стоит 2 д. Это, несомненно, часть добычи, которую Фонтей захватил у галлов. У Квинта налаживаются отношения с женой. Затем он резко сообщает своему другу, что его отец умер в том году на восьмой день до календ декабря - 24 ноября. Вероятно, был задан вопрос о дате смерти старика. Он дает новые заказы на статуи и говорит о своей тускуланской вилле, что счастлив только тогда, когда находится там. В третьем письме он обещает, что в определенный день будет готов заплатить одному Цинцию 170 фунтов стерлингов, что, вероятно, является ценой большего количества статуй, и дает указания своему другу относительно покупки книг. "Вся

моя перспектива наслаждаться в свое удовольствие зависит от вашей доброты". Эти письма он писал, когда только что перестал быть Эдилом.

Из последующих двух лет до нас дошло пять писем, главным образом заметных по постоянным заказам, которые Цицерон давал Аттику на статуи. Статуи и еще больше статуй нужны для украшения его Тускуланума. Если их будет больше, чем требуется для этой виллы, он начнет украшать другую, которая у него есть, Формианум, недалеко от Кайеты. Ему нужно все, что Атик сочтет нужным для своих "палестры" и "гимназия". Атик продает библиотеку или коллекцию карт, и Цицерон соглашается купить их, хотя, похоже, в настоящее время у него нет денег. По его словам, он оставляет себе все свои небольшие доходы, "виндемиолы" - то, что он мог бы заработать, продавая свой виноград, как деревенская дама может получить небольшой доход от своего запасенного масла, - чтобы иметь книги в качестве ресурса для своей старости. И еще он просит Аттика не бояться того, что он, Цицерон, сможет когда-нибудь их купить - а если он сможет это сделать, то будет богаче Красса и никому не позавидует ни его особнякам, ни его лужайкам. Он также объявляет, что обручил Туллию, которой тогда было десять лет, с Каем Пизоном, сыном Луция Пизона Фруги. Предложенный брак, который после трех лет обручения был должным образом торжественно оформлен, считался во всех отношениях желательным. Цицерон был очень высокого мнения о своем зяте, который состоял в родстве с Кальпурнием Пизоном, одним из консулов того года. Пока все шло хорошо у нашего оратора.

67 год до н. э., эстафета 40

Тогда он стал кандидатом на пост претора и, как уже говорилось, был избран первым. В том же году в Риме по инициативе трибуна Габиния был принят закон, уполномочивающий Помпея истребить пиратов в Средиземном море и дающий ему для этого почти неограниченные полномочия. Помпей, правда, не был назван в этом законе. Сенат утвердил одного генерала, который был консулом, с исключительным правом командования на море и в пятидесяти милях от берега. Он должен был выбрать в качестве своих офицеров доселе невиданное число людей, все они были сенаторского ранга. Когда закон был сформулирован, хорошо понимали, что только Помпей мог занять это место. Сенат всеми силами противился этой затее, хотя за семь лет до этого он признал необходимость каких-то мер по истреблению пиратов. Но ревность взяла верх, и сенат боялся Помпея. Габиний, однако, провел свой закон голосами народа, и Помпей был назначен.

Ничто так ясно не говорит нам о жалком положении дел в Риме в это время, как этот набег пиратов, в результате которого его торговля была практически уничтожена. Сулла восстановил внешнюю видимость сильного правительства - правительства, которое было достаточно сильным, чтобы позволить богатым людям безопасно жить в Риме; но он ничего не сделал для консолидации империи. Даже Лукулл на Востоке добился лишь частичного успеха, оставив Митридата, с которым еще предстояло разобраться Помпею. Какой характер носило управление провинциями при аристократии Суллы, мы узнаем из процессов над Верресом, Фонтеем и Катилиной. Средиземное море кишело пиратами, которые приучили себя к мысли, что им нечего бояться рук римлян. Плутарх сообщает нам - несомненно, с достаточной точностью, поскольку это описание признается последующими авторами, - насколько велик был ужас этих грабежей.¹⁴¹ Сейчас для нас удивительно, что такое можно было допустить - удивительно, что пираты достигли такой степени важности, что Веррес счел нужным принести в жертву римских граждан вместо них. Помпей отправился в путь со своими офицерами, флотом и деньгами и очистил Средиземное море за сорок дней, как говорит Плутарх. Флорас рассказывает, что римляне не потеряли ни одного корабля и не оставили в морях ни одного пирата.¹⁴²

В истории Рима этого времени мы находим выдающихся людей, чьи характеры по мере чтения становятся нам понятны или кажутся понятными. О Мариусе и Сулле у нас есть определенное представление. Сезар, с его невозмутимым мужеством, отсутствием угрызений совести и уверенностью в успехе, становится для нас родным. Цицерона, я думаю, мы, безусловно, можем понять. Катилин, Катон, Антоний и Брут оставили нам свои портреты. О Помпее я должен признать, что имею лишь смутное представление. Кажется, что его замечательные успехи были достигнуты благодаря очень малой собственной силе! Он не был решительным и ядовитым, как Марий; не был хладнокровным и безжалостным, как Сулла; конечно, не был уверенным в себе, как Цезарь; не был гуманным, как Цицерон; не был страстным, как Катилина; не был стоическим, как Катон; не был безрассудным, как Антоний, и не был приверженцем идеи олигархии, как Брут. Успех сопутствовал ему, и он находил его - находил снова и снова, пока фортуна, казалось, не усыновила его. Успех поднимал его все выше и выше, пока наконец ему не стало казаться, что он должен стать Суллой, хочет он того или нет. ¹⁴³Но он не мог смириться с мыслью о сопернике Суллы. Я сомневаюсь, что честолюбие побудило бы его бороться за империю Республики, если бы он не понимал, что эта империя попадет в руки Сезара, если он сам не схватит ее. Его бы устроило, чтобы все шло своим чередом, пока граждане называли его "Магнусом" и считали человеком, который может совершить великое дело, если захочет, если только ему не навязжут соперничество. Сезар навязал ему соперничество, и тогда, как само собой разумеющееся, он пал. Он должен был понимать войну с юности, хорошо знать цели римского легиона и римских вспомогательных войск. Он уничтожил Сертория в Испании, человека, безусловно, более великого, чем он сам, и добился чести положить конец Сервильной войне, когда Спартак, предводитель рабов и гладиаторов, уже был убит. Он должен был в полной мере оценить значение этих слов: "Cives Romanus". Он был красивым мужчиной с крепким здоровьем, терпеливым к труду, не склонным к роскоши, сдержанным, я бы сказал, неблагородным и с сильным оттенком тщеславия; человеком, способным выражать, но не способным чувствовать дружбу; не обладающим ни одним из высших признаков мужественности, но обладающим всеми второсортными признаками в лучшем виде; способным, храбрым человеком, но непременно попавшим под пяту такого человека, как Цезарь, и столь же непременно оставившим в беде такого человека, как Цицерон.

Необходимо, чтобы читатель попытался осознать личные качества Помпея, поскольку с этого времени политическая жизнь Цицерона - а его жизнь теперь стала полностью политической - определялась жизнью Помпея. То, что так было в значительной степени, несомненно, но, как мне кажется, в печальной степени. Они были ровесниками, но Помпей стал полководцем среди солдат еще до того, как Цицерон перестал быть учеником среди адвокатов. Пока Цицерон пробивался вперед, Помпей уже был первым среди римлян. Он стал консулом на семь лет раньше положенного срока, а в последнее время, как мы уже видели, был наделен чрезвычайными полномочиями в деле усмирения пиратов. В некотором роде на него легла мантия Суллы. Он был лидером той партии, которую мы можем назвать консервативной. Если, в чем я сомневаюсь, политическое управление людьми представляло для него интерес, он хотел, чтобы они управлялись олигархическими формами. Таковы были формы в Риме, где, хотя голоса народа были источником всей власти, эти голоса едва ли шли дальше выбора того или иного олигарха. Помпей, несомненно, чувствовал целесообразность сохранения старого порядка вещей, в центре которого он родился в высоком звании и достиг вершины либо благодаря удаче, либо благодаря заслугам. За искренним убеждением в том, что может быть лучше для его страны или его соотечественников, каким образом он мог бы с наибольшей уверенностью использовать свою власть на благо граждан в целом, мы должны, я думаю, напрасно искать того Помпея, которого донесла до нас история. Но из всех вопросов, интересовавших Цицерона, управление людьми интересовало его больше всего.

Как сделать так, чтобы великий Рим его времени возвысился до небывалого могущества и при этом был таким же бедным, как в дни своей сравнительной малочисленности? Как управлять Римом, чтобы римляне были хозяевами мира, как в умственных способностях, так и в телесной силе, как в искусствах, так и в оружии - как в доблести, так и в добродетели? Он тоже был олигархом по глубокому убеждению. Его ум не мог представить себе ничего лучшего, чем консулы, преторы, цензоры, трибуны и все остальное; правда, с оговоркой, что консулы и преторы должны быть честными людьми. Условие, несомненно, было невыполнимым, но он не видел или не хотел видеть этого. Сам Помпей был достаточно честен. До сих пор он не проявлял вопиющей жажды личной власти. Его руки были чисты, когда он так много грабил. Он был лидером консервативной партии. Оптиматы, или "бони", как безразлично называет их Цицерон, то есть, как мы должны сказать, высшие классы, которые были намерены поддерживать свой порядок, верили в него, хотя в то время они не хотели доверять ему власть, которую дал ему народ. Сенат не хотел другого Суллы, и все же именно Сулла восстановил сенат. Сенат, если бы мог, помешал бы Помпею командовать пиратами, а затем и Митридатом. Но, тем не менее, он, естественно, был их главой, что стало очевидным, когда через семнадцать лет после этого Цезарь перешел Рубикон, а Цицерон в душе признал Помпея своим политическим лидером, пока Помпей был жив. Я думаю, что так оно и было в печальной степени, поскольку Помпей был неспособен на тот патриотический энтузиазм, которого требовал Цицерон. Далее мы увидим, что худшие эпизоды в политической карьере Цицерона были вызваны его сомнительной приверженностью лидеру, которого он с горечью ощущал как нечестного по отношению к себе, и доверие к которому становилось все слабее и слабее к концу.

Затем наступило правление Цицерона. Во времена Цицерона было восемь преторов, два из которых работали в городе, а шесть других - в провинциях. Прæтор Урбанус" занимал только город и считался первым по авторитету. Именно эту должность занимал Цицерон. В его обязанности входило председательствовать среди судей, а также назначать судью или судей для рассмотрения особых дел.

66 г. до н. э., *ætat* 41.

Цицерон в это время, когда ему и Помпею было по сорок или сорок один год, основательно верил в Помпея. Когда великий полководец был еще в отъезде, занимаясь делами своей морской войны с пиратами, встал постоянно актуальный вопрос о продолжении Митридатской войны. Лукулл отсутствовал по этому делу почти семь лет и, хотя поначалу одерживал грандиозные победы, в конце концов потерпел поражение. Его собственные солдаты, уставшие от долгого отсутствия, взбунтовались против него, а Глабрион, более поздний консул, посланный взять командование из его рук, побоялся столкнуться с трудностями. Необходимо было что-то предпринять, и некий Манилий, трибун, человек, не пользующийся известностью, но чье имя дошло до потомков в оратории *Pro Lege Manilia*, предложил народу, чтобы командование принял Помпей. Тогда Цицерон впервые вступил, можно сказать, в политическую жизнь. Хотя он был квестором и эдилом, а теперь стал претором, он принимал участие только в исполнительном управлении. У него были свои политические идеи, и он очень сильно выразил их в вопросе о судьях, который, учитывая состояние Рима, был, безусловно, политическим вопросом большой важности. Но он делал это как адвокат и вмешивался лишь так, как это мог бы делать современный барристер, который при рассмотрении дела перед судьями должен был напасть на предполагаемое злоупотребление патронажем. Теперь же он впервые выступил с политической речью, обратившись к народу на публичном собрании с трибуны. Эта речь - орация *Pro Lege Manilia*. Это он объясняет в своих первых словах. До сих пор он обращался к судьям - *Judices*; теперь -

к народу - Quirites: "Хотя, Quirites, ни одно зрелище никогда не было мне так приятно, как видеть вас, собравшихся толпой, хотя это место всегда казалось мне самым подходящим в мире для действия и самым благородным для речи - тем не менее, не моя собственная воля, а обязанности профессии, которой я следовал с ранних лет, до сих пор мешали мне вступить на этот лучший путь к славе, который открыт для любого хорошего человека". Для нашей цели достаточно сказать, что этот приказ был отдан Помпею в противовес сенату.

Что касается самой речи, то она требует нашего внимания по двум пунктам. Это одна из тех отборных лакомств отточенной латыни, которые обеспечили Цицерону высший ранг среди литераторов и, возможно, сделали его величайшим прозаиком, которого создал мир. Иногда я пытался составить краткий список его *кулинарных шедевров* - его лакомых кусочков, как я должен сказать, если я должен выражаться по-английски. Список никогда не позволял себе быть коротким, и поэтому стал почти невозможным; но, когда бы ни была предпринята попытка, это краткое выступление в его целостности всегда включалось в него. Вряд ли моя площадь позволит мне вставить образцы авторского стиля, но я приведу в приложении¹⁴⁴ два кратких отрывка как образцы красоты слов на латыни. Мне кажется, что при правильном прочтении они будут изящны даже для тех, кому латынь незнакома. Я осмеливаюсь приложить к ним в параллельных колонках свой собственный перевод, признавая в отчаянии, как невозможно мне уловить хоть что-то из ритма автора. В том, что касается красоты языка, я, вероятно, не найду оппонентов. Но на характер Цицерона было совершено серьезное нападение, поскольку предполагалось, что его чрезмерные похвалы Помпею были сделаны с целью заручиться поддержкой великого полководца при выдвижении его кандидатуры на пост консула. Даже Миддлтон повторяет это обвинение и лишь слабо отбивается от него. Французский критик М. Дю Розуар утверждает, что "во всей оратории нет ни одного слова, которое не было бы продиктовано Цицерону-претору его желанием стать консулом, и что все это время он думал о своем собственном возвышении, а не о возвышении Помпея". Этот вопрос был бы для нас малозначительным, если бы не то, что честность Цицерона как политика зависит от истинности или ложности его веры в Помпея. Помпею почти чудесным образом везло до этого периода его жизненной карьеры. Он оказал государству бесконечно ценную услугу. Он уже разгромил пиратов. Были все основания полагать, что в его руках римское оружие окажется более эффективным против Митридата, чем в руках любого другого полководца. Все, что Цицерон говорит по этому поводу, какими бы мотивами он ни руководствовался, во всяком случае, было правдой.

Человек, желающий возвыситься на службе своей стране, конечно же, придерживается своей партии. То, что Цицерон ошибался, полагая, что Республика, которая фактически уже пала, может быть восстановлена силой одного человека, может быть поддержана любым лидером, следует признать; то, что, доверяя Помпею как политику, он опирался на хрупкий тростник, я признаю; но я не признаю, что, восхваляя этого человека, он лицемерил или излишне корыстолюбив. В наших собственных политических состязаниях, когда подчиненный член кабинета ревностно служит своему начальнику, мы не обвиняем его в лживости, потому что этим рвением он укрепил и свои собственные руки. Как патриот может делать дело своей страны, если он не занимает высокого поста, и как он может достичь этого поста, если не сотрудничать с теми, кому он доверяет? Те, кто порицает Цицерона за то, что он выступил от имени Помпея по этому случаю, как мне кажется, игнорируют не только необходимость, но и сами достоинства политической жизни.

Еще одна замечательная речь, произнесенная Цицероном во время своего преторства, - в защиту Аула Клуенция Габита. Как самая длинная, так и самая запутанная, а из-за различных юридических моментов самая трудная для понимания из всех его речей. Но, пожалуй, ни

одна из них не говорит нам больше об условиях, или, возможно, я бы сказал, о возможностях, жизни римлян того времени. Обвинение против Росция Америна сопровождалось ужасными обстоятельствами. Беззакония Верреса, как государственного чиновника, имевшего власть благословлять или проклинать целый народ, были очень ужасны; но они не потрясают так сильно, как рассказанная здесь история частной жизни. То, что любой мужчина жил так, как Оппианик, или любая женщина так, как Сассия, доказывает, что положение вещей было хуже, чем то, которое описал Ювенал сто пятьдесят лет спустя. Цицерон, несомненно, был недобросовестным адвокатом, но он ничего не выиграл бы, если бы отошел от правдоподобия. Мы должны принять данную нам картину за правду и признать, что, хотя судебные процессы были обычным делом, преступления, подобные тем, что совершили этот мужчина и эта женщина, не только были возможны, но и могли совершаться безнаказанно. Эта история слишком длинная и запутанная, чтобы ее можно было даже сократить; но она должна быть прочитана теми, кто хочет узнать о состоянии жизни в Италии в последние дни Республики.

65 г. до н. э., 42 г.

В год после того, как он стал претором, - в первый из двух лет между преторством и консульством, до н. э. 65 г. - он произнес речь в защиту некоего Кая Корнелия, о которой мы слышим, что состязания по этому делу заняли четыре дня. Нам, с нашими бесконечно длинными "причинами", это не кажется большим, но речь самого Цицерона была настолько длинной, что при публикации он разделил ее на две части. Этот Корнелий был трибуном в позапрошлом году, и его обвиняли в том, что он злоупотреблял своей властью во время пребывания в должности. Он навлек на себя вражду аристократии попытками народных масс сдержать сенат, особенно жесткостью закона, предложенного для пресечения подкупа на выборах. Речи Цицерона не сохранились. Мы располагаем лишь некоторыми едва разборчивыми фрагментами, которые сохранил Асконий,¹⁴⁵ комментатор некоторых ораций Цицерона; но есть основания предполагать, что эти корнелианские оратории были в то время делом столь же важным, как те, что произносились против Верреса, или почти как те, что произносились против Катилины. Цицерон защищал Корнелия, который подвергся нападкам со стороны сената - богачей, желавших получить должности и управление провинциями. Закон, предложенный для ограничения взяточничества на выборах, несомненно, пытался суровостью наказания добиться большего, чем можно достичь подобными средствами: он был смягчен, но Цицерон все равно признал его слишком суровым. Гнев сената против Корнелия, похоже, был вызван этой попыткой; но незаконность, в которой его обвинили и за которую судили, была связана с другим предложенным им законом - о возвращении народу права на помилование, которое было узурпировано сенатом. Кай Корнелий, по-видимому, был человеком честным и страстно желал спасти Республику от алчности олигархов, но, как и Гракх, был готов пойти слишком далеко в своем стремлении ограничить собственную власть, пытаясь сдержать власть сената. Второй трибун в интересах сената попытался воспользоваться властью, которая, несомненно, принадлежала ему, запретив публикацию или чтение предложенного закона. Человек, в чьи обязанности входило читать его, был остановлен; тогда Корнелий оттолкнул нижестоящего чиновника и прочитал его сам. Было много насилия, и люди, выдвинувшие обвинение против Корнелия - два брата по имени Комини, - вынуждены были спрятаться и спасти свои жизни, сбежав по крышам домов.

Это произошло, когда Цицерон выдвигал свою кандидатуру на пост претора, и смятение, вызванное этим, было столь велико, что некоторое время выборы было невозможно

провести. В год после его преторства Корнелий предстал перед судом, и были произнесены обе речи.

Судя по всему, этот вопрос представлял для Рима жизненно важный интерес. Сенат боролся за все, что делало государственную жизнь дорогой для такого органа. Не давать взятки - не иметь возможности выложить деньги, чтобы они вернулись в десятикратном, стократном размере, - означало бы для них перестать быть аристократами. Борьба, которую вели Гракхи, Ливий Друз, другие, чьи имена нас здесь только утомляют, этот Корнелий - все это были усилия тех, кто действительно хотел честной республики. Такую борьбу вел и сам Цицерон; хотя при этом он постоянно поддерживал идею, которой, по правде говоря, не сочувствовали ни демагоги, ни аристократы, что реформа может быть осуществлена не путем лишения сената власти, а путем обучения сената честному ее использованию. Мы можем сочувствовать этой идее, но вынуждены признать, что она была бесполезной.

Хотя мы знаем, что это было так, фрагменты речей, хотя они и стали для нас понятными благодаря "аргументам" или рассказу о них, приложенному Асконием в его примечаниях, не могут представлять интереса для читателей. Они сохранились во времена Квинтилиана, который отзывается о них с наивысшей похвалой. ¹⁴⁶ Цицерон сам выбирает некоторые отрывки из этих речей в качестве примеров красноречия или ритма, ¹⁴⁷ тем самым показывая, с каким трудом он их сочинял, оттачивая их как с помощью слуха, так и с помощью интеллекта. От Аскония мы знаем, что этот процесс в то время рассматривался как жизненно важный.

У нас есть два письма Цицерона, написанные в год после его преторства, оба к Аттику, в первом из которых он рассказывает о своем вероятном соперничестве за пост консула; во втором он сообщает своему другу, что у него родился сын - ему тогда было сорок два года - и что он думает взяться за защиту Катилина, которого обвиняли в казнокрадстве как претора в Африке. "Если его оправдают, - говорит Цицерон, - я надеюсь, что он будет на моей стороне в деле моей агитации. Если же он будет осужден, я смогу вынести и это". Кандидатов должно было быть шесть или семь, из которых, конечно же, выберут двоих. Цицерону было бы выгодно "баллотироваться", как мы выражаемся, с тем, кто среди его конкурентов имел бы наибольшие шансы на успех. Катилина, несмотря на его печально известную в то время личность - в связи со злодеяниями его правительства в Африке, - с его рождением, связями и способностями, как предполагалось, имел наилучшие шансы. Цицерон мог защищать Катилина так же, как он защищал Фонтея, и мы знаем из его собственных слов, что он думал сделать это. Но он этого не сделал; не присоединился Цицерон и к Катилине в агитации. Вероятно, характер и намерения Катилина с каждым днем становились все более ясными. Катилина судили и оправдали, как говорят, подкупив судей.

Глава VIII.

ЦИЦЕРОН КАК КОНСУЛ.

До сих пор Цицерону все удавалось. Его удача и слава шли рука об руку. Доброжелательность граждан была ему обеспечена по всем возможным поводам. Он уверенно, если не сказать быстро, поднялся на вершину своей профессии и занял там такое положение, что сорвал венок с чела своего предшественника и соперника Гортензия. Ни в одном памятном случае он не был побежден. Если время от времени ему и не удавалось

выиграть дело, в котором он был заинтересован, то только в том случае, когда, как он сказал Атиккусу, говоря о своей предполагаемой защите Катилина, он не должен был разрывать свое сердце, если бы его победили. Можно предположить, что до этого момента его жизнь была настолько счастливой, насколько вообще может быть счастливой жизнь человека. Он удачно женился. У него родились дети, которые доставляли ему бесконечное удовольствие. Он обзавелся домом, мрамором, книгами и всей интеллектуальной роскошью, которую может дать хорошо использованное богатство. Вокруг него было много друзей. Его промышленность, способности и честность были признаны. Горожане дали ему все, что было в их силах дать. Теперь же, в самый ранний день, при обстоятельствах гораздо более почетных, чем обычно, он был поставлен на самое высокое место, какое только могла предложить его страна, и знал, что является единственным человеком, на которого в этот момент уповала его страна. Затем наступил один двенадцатимесячный период, вершина его судьбы; после этого в течение двадцати последующих лет на него сыпались одно несчастье за другим - одна беда на голову другой беды, столь жестокой, что читатель, зная манеру римлян, почти удивляется, что он снисходительно относился к жизни.

64 г. до н. э., эстафета 43

Он был избран консулом, как нам говорят, не голосованием, а единодушным одобрением граждан. Каким именно образом это было сделано, мы сейчас вряд ли сможем понять. Консулы избирались голосованием, для чего народу раздавались деревянные билеты; но Цицерон говорит нам, что в его случае никаких билетов для голосования не использовалось, а он был избран общим голосом всего народа.¹⁴⁸ У него было шесть конкурентов. Из них следует упомянуть только двух, поскольку только от них зависела жизнь Цицерона, и поскольку из всех шести только они, по-видимому, были выдвинуты на первый план во время голосования. Это были Катилин-заговорщик, как нам придется называть его, когда мы будем говорить о его имени в следующей главе, и Кай Антоний, один из сыновей Марка Антония, великого оратора предшествующей эпохи, и дядя Марка Антония, с которым мы все так хорошо знакомы и с которым нам предстоит еще многое сделать, прежде чем мы доберемся до конца этой работы. Цицерон был настолько легко первым, что о нем можно сказать, что он прошел по этому пути. Было ли это достигнуто благодаря макиавеллистским приемам, которым обучал его брат Квинт в своем трактате *De Petitione Consulatus*, или же это объяснялось его общей популярностью, может быть предметом сомнения. Насколько мы можем судить по сохранившимся признакам общественного чувства того времени, кажется, что в это время его соотечественники относились к нему с особой симпатией. Он никого не ограбил и ни к кому не был жесток. Он уже отказался от прибыли провинциального правительства, на которую имел право по обычаю после года работы в качестве претора, чтобы остаться в Риме среди народа. Хотя он сам был членом сената и преисполнен славы сената, как он достаточно ясно заявил в том отрывке из одной из ораций Веррина, который я уже цитировал, он обычно выступал на стороне народа. Он был настолько умен, что даже когда выступал на непопулярной стороне - как, можно предположить, было при защите Фонтя, - придавал делу популярный аспект. Мы не можем сомневаться, судя по громкому выражению народной радости по поводу его избрания, что он сделал себя любимым. Но, тем не менее, он не упустил ни одной из тех забот, которые, как ожидалось, должен был взять на себя кандидат. Он произнес свою предвыборную речь "в *toga candida*" - в белом одеянии, как это делали кандидаты, которые оттого так и назывались. Она не дошла до нас, и мы не жалеем об этом, судя по выдержкам, собранным из заметок, которые Асконий написал к ней. В ней много личных оскорблений в адрес Антония и Катилина, его конкурентов. Такова была практика Рима в это время, как и у нас не так давно. Такого красноречия у нас будет более чем достаточно, прежде чем мы выполним свою задачу. Когда мы перейдем к языку, на

котором Цицерон говорил о Хлодии, своем враге, о Пизоне и Габинии, консулах, которые позволили его изгнать, и о Марке Антонии, его последнем великом противнике - племяннике человека, который теперь был его коллегой, - мы получим очень много подобного. Следует еще раз оговориться, что нецензурные выражения, срывавшиеся с уст других людей, не сохранились, и поэтому нельзя считать, что Цицерон был более нецензурным, чем его соперники. Мы легко можем представить, что он был более язвителен, чем другие, потому что у него было больше возможностей вложить в свои слова тот смысл, который он хотел в них передать.

Антоний был выбран коллегой Цицерона. Из тех свидетельств, которые мы можем получить по этому вопросу, следует, что Цицерон доверял Антонию не больше, чем Катилину, но, оценив мудрость максимы "divide et impera" - разделяй своих врагов и одержишь над ними верх, которая, без сомнения, была известна как тогда, так и сейчас, - он вскоре решил использовать Антония как своего союзника против Катилина, который, как предполагалось, причислял Антония к своим соратникам. Саллюст вкладывает в уста Катилины соответствующее заявление: [149](#), а Цицерон действительно использовал Антония для этой цели. История заговора Катилина - это, по сути, история консульства Цицерона, и я могу быть оправдан, если поспешу рассказать о других событиях года его правления; но все же кое-что рассказать необходимо. Хотя поведение Катилина находилось в поле его зрения в течение всего года, только в октябре начались дела, которыми мы будем интересоваться.

О том, каков был характер административной работы, которую выполняли великие римские государственные деятели, мы знаем очень мало; возможно, лучше сказать, что мы ничего не знаем. Люди в своих дневниках, если они их ведут, или даже в личных письмах редко рассказывают о тех повседневных делах, которые для них самих являются рутинной и, как они полагают, малоинтересны для других. Наш премьер-министр, если бы он был так же склонен раскрывать себя в переписке, как Цицерон со своим другом Аттиком, вряд ли рассказал бы, когда он отправился в Казначейские палаты и что он там делал. Можно представить, что для кабинетного министра даже совет кабинета министров после многих заседаний становится само собой разумеющимся. Ведущий барристер вряд ли оставит после себя записи о своей работе в палатах. Таким образом, получается, что, хотя мы можем представить себе Цицерона перед судьями, или обращающегося к народу с трибуны, или высказывающего свое мнение в сенате, мы ничего не знаем о нем, когда он сидел в своем кабинете и занимался консульской работой. Мы не можем не предположить, что в его кабинете должно было быть много клерков. Должна была быть тяжелая ежедневная работа. Вся работа правительства находилась в ведении консула, и для Цицерона, имевшего на руках Катилину, она должна была быть более чем обычно тяжелой. Как он это делал, с какой помощью, сидя за каким письменным столом, одетый в какие одежды, в каком окружении архивов и волокиты, я не могу себе представить. Я могу представить, что в нем было много достоинства, как и во всех ведущих римлянах, но дальше этого я не могу продвинуться даже в фантазиях о том, какой была официальная жизнь консула.

В прежние времена консул, как правило, отправлялся воевать. Когда появлялся враг здесь или враг там, консул обязательно спешил со своей армией на север или на юг, в разные части Италии. Но постепенно эта система стала непрактичной. Расстояния становились слишком большими, поскольку империя выходила за пределы Италии, и отсутствие консулов было недопустимо. Войны растягивались на множество кампаний, как, например, та, что вскоре должна была произойти в Галлии при Сезаре. Консулы оставались дома, а генералы рассылались с проконсульской властью. Это стало настолько привычным, что Цицерон, став консулом, не боялся, что его позовут воевать с врагами своей страны. В то время Помпею

предстояло много сражений на Востоке, но это не доставляло особых хлопот великим офицерам дома, разве что для отправки необходимых припасов.

Однако работа консула была достаточно тяжелой. Из его собственных слов в письме к Аттику, написанном в 61 году до н. э., когда он был консулом, мы узнаем, что в качестве консула он произнес двенадцать публичных речей. Каждое из них должно было быть трудом, требующим полного владения темой и расстановки слов, очень отличающихся по своему отточенному совершенству от общих парламентских речей, к которым мы привыкли. Подготовка его дел, должно быть, занимала много времени. Письма шли медленно и с большими затратами. Писать, должно быть, было утомительно, когда это чаще всего делалось металлическим острием на мягком воске. Адвокату, который серьезно занимался делом, приходилось многое делать самому. Мы слышали, как Цицерон добирался до Сицилии, пробираясь в маленькой лодке через уготованные ему опасности, чтобы добыть доказательства против Верреса. Защищая Аулуса Клуенция, когда он был претором, Цицерон, должно быть, находил работу огромной. При подготовке нападения на Катилина, кажется, каждый свидетель был приведен к нему самому. В год его консульства было произнесено четыре речи Катилины, но в том же году он произнес еще много других. Он упоминает, как мы сейчас увидим, двенадцать различных речей, произнесенных в год его консульства.

Я полагаю, что произнесенные слова ни в коем случае не могли быть идентичны тем, что дошли до нас - которые, как мы можем сказать, были подготовлены для печати Тиро, его рабом и секретарем. В отношении некоторых из них, особенно второй оратории Катилина, у нас есть доказательства того, что время не позволяло написать и выучить ее наизусть после возникновения обстоятельств, на которые она ссылается. Она должна была быть написана заблаговременно, с той мысленной подготовкой, которую могла дать ему одна ночь. Как записывались слова в таком случае, мы не знаем; но нам известно, что использовались скорописцы, хотя вряд ли наука стенографии была доведена до совершенства, как у нас.¹⁵⁰ Слова, которые мы читаем, вероятно, были значительно отшлифованы перед публикацией, но насколько это было сделано, мы не знаем. Зато мы знаем, что слова, которые он произносил, трогали, убеждали и очаровывали тех, кто их слышал, как и слова, которые мы читаем, трогают, убеждают и очаровывают нас. Об этих двенадцати консульских речах Цицерон особо рассказывает своему другу. "Я пришлю тебе, - говорит он, - те речи¹⁵¹, которые ты требуешь, а также некоторые другие, видя, что те, которые я выписал по просьбе нескольких молодых людей, тебе также нравятся. Мне было выгодно следовать здесь примеру этого вашего согражданина в тех ораториях, которые он называл своими филиппиками. В них он скрашивал себя и отказывался от своей манеры говорить "nisi prius", чтобы достичь чего-то более достойного, чего-то более государственного. Так я поступил и с этими моими речами, которые можно назвать "консульскими", поскольку они были произнесены не только в год его консульства, но и с некоторым консульским достоинством. "Из них одна, о предложенных новых земельных законах, была произнесена в Сенате на календах января. Вторая, на ту же тему, обращена к народу. Третья была посвящена закону Оттона.¹⁵² Четвертая - в защиту Рабирия.¹⁵³ Пятое - о детях тех, кто потерял свое имущество и звание в результате проскрипции Суллы.¹⁵⁴ Шестая была обращением к народу и объясняла, почему я отказался от управления провинцией.¹⁵⁵ Седьмая изгнала Катилина из города. Восьмая была обращена к народу на следующий день после бегства Катилина. Девятая была вновь обращена к народу в тот день, когда аллоброги давали свои показания. Затем, опять же, десятая была обращена к сенату пятого декабря" - также о Катилине. "Есть также две короткие дополнительные речи об Аграрной войне. Вы получите их целиком.

Поскольку то, что я пишу, и то, что я делаю, одинаково интересны для вас, вы почерпнете из одних и тех же документов все мои дела и все мои высказывания".

Не следует думать, что в этом списке содержатся все речи, которые он произнес в год своего консульства, но только те, которые он произнес как консул - те, к которым он хотел добавить что-то от достоинства государственного деятеля, что-то сверх веса, придаваемого его заявлениям как адвоката. В качестве адвоката, хотя он и был консулом, он продолжал выполнять свою работу; отсюда мы узнаем, что ни одно государственное достоинство не было настолько высоко, чтобы освободить признанного адвоката от обязанности защищать своих друзей. Гортензий, будучи избранным консулом, взялся защищать Верреса. Цицерон защищал Мурену, когда был консулом. Он защищал также К. Кальпурния Пизона, обвиненного, как и многие, в проконсульском вымогательстве; но в этом ли году или в предыдущем, я думаю, не известно.¹⁵⁶ О его речи по этому случаю у нас ничего не сохранилось. Из его мольбы в защиту Мурены мы имеем если не всю, то существенную часть, и, хотя до Мурены сейчас никому нет особого дела, ораторская речь очень забавна. Она была произнесена в конце года, 20 ноября, после второго выступления Катилины и перед третьим, в тот самый момент, когда Цицерон был полностью занят доказательствами, на основании которых он намеревался осудить соратников Катилины. Читая ее, я скорее удивляюсь, чем восхищаюсь энергией человека, который в такой период своей жизни мог отдать все свое время на изучение деталей, необходимых для суда над Муреной.

В начале года Цицерон добился принятия закона, который в его честь был назван Lex Tullia, усиливавшего строгость мер по борьбе со взяточничеством со стороны кандидатов в консулы. Его намерение, вероятно, состояло в том, чтобы помешать Катилине, который снова собирался стать кандидатом. Но в сети попались Мурена, который был избран, а также Силан, другой назначенный консул. Катон, человек сурового характера, великий стоик того времени, был рад возможности выступить против кого-то и не преминул напасть на Мурену с оружием, предоставленным из оружейной друга Мурены, Цицерона. Однако Силану, который приходился Катону двоюродным братом, позволили пройти без помех. Обвинителями выступили Сульпиций, который был одним из разочарованных кандидатов, Катон и Постумий. Гортензий, Красс и Цицерон объединились для защиты Мурены. Но когда мы читаем единственное дошедшее до нас ходатайство, мы чувствуем, что, в отличие от тех римских процессов в целом, этот проходил без какого-либо ожесточения с обеих сторон. Наверное, Катон хотел, чтобы имел возможность продемонстрировать свою добродетель, но было решено, что Мурена будет оправдан. Мурену обвиняли, помимо всего прочего, в танцах! Греки могли танцевать, как мы слышим от Корнелия Непоса,¹⁵⁷ но для римского консула это было бы в высшей степени позорно. Дамы, конечно, могли танцевать, но не много. Саллюст рассказывает о Семпронии - которая, действительно, была очень плохой женщиной, если все, что он говорит о ней, правда, - что она танцевала более изящно, чем подобает честной женщине.¹⁵⁸ Она была женой консула. Но мужчина-римлянин высокого положения мог вообще не танцевать. Цицерон защищает своего друга, показывая, насколько это невозможно, насколько чудовищна эта идея. "Ни один мужчина не станет танцевать, если он не пьян или не безумен". Тем не менее, я представляю, что Мурена танцевал.

Цицерон пользуется возможностью поспорить с Катоном о его стоицизме и с удовольствием использует ее. Гораций был не более счастлив, когда, защищая Аристиппа, заявил, что любой философ воротил бы нос от капусты, если бы мог пригласить себя к столу богачей.¹⁵⁹ "Был один Зенон, - говорит Цицерон, - который устанавливал законы. Ни один мудрец не простил бы ему ни одного проступка. Ни один человек, достойный называться

человеком, не позволит себе быть жалким. Мудрые люди красивы, даже если они уродливы; богаты, хотя не имеют ни гроша; цари, хотя они рабы. Мы же, кто не мудр, - изгнанники, беглецы, враги своей страны и безумцы. Любая ошибка - непростительное преступление. Убить старого петуха, если он тебе не нужен, так же плохо, как убить своего отца!"¹⁶⁰ И в эти доктрины, о которых большинство из нас говорит лишь как о чем-то, этот Катон абсолютно верит и старается жить по ним. Мне придется вернуться к этому, когда я буду говорить о философии Цицерона более подробно; но его здравый смысл постоянно проявляется в выражениях, которые он использует для защиты обычных условий жизни человека в противовес тому невозможному превосходству над обыденными вещами, которому философы якобы учат своих учеников. Он обращается к Катону и задает ему вопросы, на которые тот сам отвечает своей философией: "Ты ничего не простишь? Да, но не все. Сделаешь ли ты что-нибудь ради дружбы? Иногда, если только долг не помешает. Вы бы никогда не испытывали жалости? Я бы сохранил привычку к искренности, но кое-что, несомненно, должно быть позволено человечеству. Хорошо придерживаться своего мнения, но только до тех пор, пока не возобладает другое, лучшее". Во всем этом человечность нашего Цицерона, в равной степени противостоящая невозможной добродетели Катона или отвратительному пороку Верреса, опережает его эпоху и напоминает нам о том, чему учил нас Христос.

Но самое лучшее во всей оратории - то, в чем он поносит юристов. Следует понимать, что Цицерон не гордился тем, что он адвокат. Он был адвокатом, и если ему нужен был закон, то были люди более низкого класса, к которым он мог обратиться за его получением. По правде говоря, он разбирался в законах, будучи человеком глубоких исследований, который докапывался до всего. Поскольку были затронуты юридические вопросы, он обращается к Сульпицию, который, судя по всему, обладал познаниями в юриспруденции, был кандидатом в консулы и своим близким другом: "Я должен избавить тебя от тщеславия, - говорит он, - именно другие твои дарования, а не знание законов - твоя умеренность, твоя мудрость, твоя справедливость - сделали тебя, по моему мнению, достойным любви. Я не скажу, что вы тратили время на изучение права, но не этим вы сделали себя достойным консулата.

¹⁶¹ Сила красноречия, величественная и исполненная достоинства, которая так часто помогала возвести человека в консулы, способна своими словами тронуть умы сената, народа и судей. ¹⁶² Но в такой бедной науке, как юриспруденция, какая может быть честь? Ее детали заняты одними словами и обрывками слов. ¹⁶³ Они забывают о справедливости в вопросах права и придерживаются одной лишь буквы". ¹⁶⁴ Он перечисляет предполагаемую сцену сутяжничества, которую он, будучи консулом, должен был разыграть перед судьями и народом, без сомнения, к крайнему удовольствию всех. В конце концов он говорит: "Как бы я ни был полон дел, если вы вызовете мой гнев, я стану адвокатом и выучусь всему за три дня". ¹⁶⁵ Из этих и многих других отрывков из трудов и речей Цицерона, а также из Квинтилиана мы узнаем, что римский адвокат был отнюдь не тем же самым, что английский барристер. Предполагалось, что наука, которую он должен был освоить, заключалась в том, чтобы просто рассказывать свою историю эффективным языком. Несомненно, ему приходилось много работать над деталями своей истории - тем, что мы можем назвать доказательствами, - но за законом он обращался в другое место, к людям другой профессии. Адвокат - "juris consultus" или "juris peritus" - считался гораздо менее важным, чем "patronus" или защитник, который выступал перед всем городом и отстаивал свою позицию. В этом процессе над Муреной, который по профессии был солдатом, Цицерону было выгодно принизить юристов и превознести армию. Когда он говорит Сульпицию, что не будучи адвокатом, человек может стать консулом, он продолжает восхвалять высокое достоинство профессии своего клиента. "Наибольшей славы добиваются те, кто преуспевает в сражениях. Вся наша империя, вся наша республика защищается и укрепляется ими". ¹⁶⁶

Так мог говорить адвокат! И это говорит человек, который всегда себе славу, заявляя, что "тогда" превосходит шлем и щит. Он уже заявлял, что ошибаются те, кто думает, что в речах, произносимых в судах, они узнают его частное мнение.¹⁶⁷ Он умел защищать своего друга Мурену, который был солдатом, и при этом мог говорить очень резкие вещи, хотя и в шутку, против своего друга Сульпиция, адвоката. Но на самом деле мало кто понимал римское право лучше, чем Цицерон.

Но мы должны вернуться к тому аграрному закону, по поводу которого, как он рассказывает, были произнесены четыре его консульские речи. Он был выдвинут Руллом, одним из трибунов, в конце прошлого года. Трибуны вступали в должность в декабре, тогда как в этот период Республики консулы вступали в должность только с 1 января. У Цицерона, который не мог узнать подробности нового закона до его провозглашения, было всего несколько дней, чтобы ознакомиться с его деталями. По его мнению, он был совершенно революционным. До нас дошли слова многих пунктов; и хотя с такого расстояния трудно понять, каковы были бы его последствия, я думаю, мы вправе сказать, что он был направлен на подрыв всей собственности. Собственность, если говорить о ней в целом, не может быть уничтожена. Земля остается, а совокупные результаты человеческой промышленности слишком многочисленны, слишком велики и слишком долговечны, чтобы стать массовой жертвой человеческого гнева или безумия. Даже стихии, когда они выходят из строя, мало что могут сделать для совершенствования разрушения. Нужен потоп - или тот удар судьбы, который, независимо от того, наступит он или нет, по мнению всего мира, очень далек. Но в человеческих силах уничтожить владение и перераспределить блага, которые скопились в результате промышленности, скупости или, возможно, несправедливости. В наши дни те, кто владеет собственностью, настолько сильнее тех, кто ее не имеет, что мысль о подобном перераспределении не вызывает особой тревоги среди владельцев. Дух коммунизма не царит среди людей, которые поняли, что на самом деле легче заработать, чем украсть. Но у римлян политическая экономия, естественно, не продвинулась так далеко, как у нас. Подрыв собственности в значительной степени произошел не позднее, чем во времена Суллы. Как это происходило, нам объясняет история с имуществом Росция Америна. При Сулле ни один человек с домом, с накопленными деньгами, с семьей рабов, с богатыми украшениями не был в безопасности. Имущество переходило из рук в руки безрассудно, безжалостно, жестоко, в результате незаконного применения закона, изданного одним человеком, который, однако, сам не руководствовался никакими иными соображениями, кроме как восстановить политический порядок вещей, который он одобрял. Руллус, вероятно, руководствуясь другими мотивами, хотел совершить подрывную деятельность, которая, хотя и была столь же велика, должна была идти совсем в другом направлении. Предполагаемая цель была такова: поскольку римский народ своей доблестью и мудростью одержал для Рима великие победы, а значит, и большие богатства, он, как римский гражданин, имеет право пользоваться тем, что завоевал; в то время как на самом деле сладости победы достались лишь немногим аристократам. Для исправления этого зла следовало принять закон о том, что все приобретенное таким образом общественное имущество, будь то земля или движимое имущество, должно быть продано, а на вырученные деньги должны быть куплены другие земли, пригодные для использования римскими гражданами, и отданы тем, кто пожелает их получить. В частности, было предложено купить богатую страну Кампанию - ту, на которой сейчас стоит Неаполь с прилегающими островами, - и отдать ее под большую римскую колонию. Для исполнения этого закона должны быть назначены десять магистратов, наделенных полномочиями как по купле, так и по продаже. В этом было много подтекстов. Никто не должен был продавать, если только он сам не решил продать; но в этот момент многие земли принадлежали не иначе, как по проскрипциям Суллы. Нынешние владельцы находились в ежедневном страхе лишиться собственности из-за какого-нибудь

нового закона, принятого с целью вернуть их имущество тем, кто был так жестоко ограблен. Они были бы очень рады получить любую цену за землю, право владения которой было столь сомнительным; и именно этим людям "децемвиры", или десять магистратов, стремились помочь. Нам рассказывают, что тесть самого Рулла сделал крупное приобретение, воспользовавшись проскрипциями Суллы. А затем последовала бы мгновенная продажа обширных областей, полученных в результате завоеваний и теперь принадлежащих Римскому государству. Когда на рынок выбрасывалось такое количество земли, она продавалась очень дешево и тем, кому "децемвиры" могли отдать предпочтение. Сейчас мы вряд ли можем надеяться разгадать все предполагаемые детали, но мы можем быть уверены, что основа, на которой стояла собственность, была бы полностью изменена этой мерой. Децемвиры" должны были обладать пленарной властью в течение десяти лет. Все налоги во всех провинциях должны были быть проданы или выставлены на рынок. Все, что должно было принадлежать римскому государству, должно было быть продано в каждой провинции, чтобы собрать огромную сумму денег, которая должна была быть разделена в виде земли между беднейшими римлянами. Какими бы ни были частные намерения Рулла, хорошими или плохими, даже на таком расстоянии очевидно, что был задуман передел собственности, который можно охарактеризовать только как всеобщее ниспровержение. Против этого новый консул выступил решительно, успешно и, надо сказать, патриотично.

В этих аграрных орациях, как и в последующих, посвященных заговору Катилины, проявляется напряженный интерес, с которым Цицерон относился к своей работе. В своей энергии он возвышается до самовосхваления, которое побуждает читателя почувствовать, что человек, который может так говорить о себе, не боясь противоречий, имеет право утверждать превосходство своего характера и интеллекта. С другой стороны, он снисходит до ярости личных оскорблений в адрес Рулла, которые, хотя и оскорбительны на наш вкус, но даже для нас убедительны, заставляя нас чувствовать, что такой человек не должен был браться за подобную работу. Он описывает способ, которым законопроект был впервые представлен: "Наши трибуны наконец-то приступили к исполнению своих обязанностей. Особенно ожидается речь Рулла. Он - провозвестник закона, и ожидалось, что он будет вести себя с особой дерзостью. Еще будучи избранным трибуном, он стал принимать другой облик, говорить другим голосом, ходить другим шагом. Мы все видели, как он появлялся в испачканной одежде, с неухоженным лицом, испачканным грязью, с нечесаными и неухоженными волосами и бородой".¹⁶⁸ В Риме люди, попавшие в беду, особенно если их обвиняли, показывали себя в испачканной одежде, чтобы вызвать жалость, и здесь имеется в виду, что Рулл ходил как бы в печали по поводу состояния своих бедных сограждан, которые страдали из-за отсутствия этого аграрного закона. Ни одно описание не могло бы вызвать больше насмешек над человеком, чем то, что он взял на себя обязанность олицетворять в своем лице горести города. Изображение человека в самозваном одеянии общественного горя, как будто он достаточно велик, чтобы продемонстрировать горе всего Рима, не могло не быть эффективным. Считается, что Цицерон оскорблял трибуна, потому что тот был грязным. Это не так. Он высмеивал Рулла за то, что тот осмелился выступить в трауре - "sordidatus" - от имени своей страны.

Но тон, в котором Цицерон говорит о себе, великолепен. Он настолько величественен, что мы чувствуем: консул Рима, на плечах которого лежат все заботы о Риме, вправе заявить о своем величии сенату и народу. Есть две важные оратории - та, что была произнесена сначала в сенате, а затем речь к народу, из которой я уже цитировал отрывок, относящийся лично к Рулле. В обеих орациях он излагает свое представление о консуле и о себе как о консуле. Он говорит о влиянии предложенного закона на доходы государства, а затем продолжает: "Но я опускаю то, что я должен сказать по этому вопросу, и оставляю это для

народа. Сейчас я говорю об опасности, которая угрожает нашей безопасности и нашей свободе. Ибо что останется для нас нетронутым в Республике, что останется от вашей власти и свободы, когда Рулл и те, кого вы боитесь гораздо больше Рулла, [169](#) с этой бандой готовых на все рыцарей, со всем плутовством Рима, нагруженные золотом и серебром, захватят Капую и все города вокруг? Всеми этому, сенаторы, - называет он их *Patres conscripti*, - я противопоставлю ту власть, которая у меня есть. Пока я консул, я не позволю им осуществить свои замыслы против Республики".

"Но ты, Рулл, и те, кто с тобой, жестоко ошиблись, полагая, что вас будут считать друзьями народа в ваших попытках подмять под себя Республику в противостоянии с консулом, который, как известно, является другом народа. Я призываю вас, я приглашаю вас встретиться со мной в собрании. Пусть народ Рима будет судьей между нами. Давайте оглянемся вокруг и посмотрим, чего на самом деле желает народ. Мы увидим, что ничто так не дорого им, как мир, спокойствие и легкость. Вы передали мне город, полный тревоги, подавленный страхом, встревоженный этими проектами законов и мятежными собраниями". (Следует помнить, что в этот день он только начал свое консульство) "Злых вы наполнили надеждой, добрых - страхом. Вы лишили Форум верности, а Республику - достоинства. Но теперь, когда посреди этих душевных и телесных бедствий, когда в этой великой тьме голос и власть консула услышаны народом, когда он ясно дал понять, что нет никаких причин для страха, что никакая чужая армия не будет набирать себя, никакие банды не будут собираться сами; что не будет ни новых колоний, ни продажи доходов, ни измененной империи, ни королевских "децемвиров", ни второго Рима, ни другого центра правления, кроме этого; что пока я консул, здесь будет совершенный мир, совершенная легкость - неужели вы полагаете, что я буду бояться превосходной популярности вашего нового аграрного закона? Неужели я буду бояться выступить против вас в собрании граждан, когда разоблачу беззаконие ваших замыслов, мошенничество этого закона, заговоры, которые ваши народные трибуны, популярные, как они сами считают, затеяли против римского народа? Должен ли я бояться - я, который решил стать консулом по той моде, по которой только человек может делать это с достоинством и свободой, не желая просить для себя ничего, что любой трибун мог бы возразить против того, чтобы мне дали?" [170](#)

Это было обращение к сенату, но, обращаясь к народу, он ведет себя еще смелее. Он начинает с напоминания о том, что у великих государственных деятелей, которые пользовались правом иметь в своих домах бюсты и изображения своих предков, всегда был обычай в своей первой речи к народу присоединять к благодарности за оказанные им милости некоторые записи о благородных деяниях, совершенных их предками. [171](#) Однако он не мог сделать ничего подобного: у него не было такого права: никто в его семье не достиг такого достоинства. Говорить о себе было бы слишком гордо, а молчать - неблагодарно. Поэтому он сдержался, но все же сказал бы что-нибудь, чтобы признать то, что получил. А потом он предоставит им самим решать, заслужил ли он то, что они для него сделали.

"Давным-давно - почти за пределами памяти нас, собравшихся здесь, - вы в последний раз назначили нового человека консулом. [172](#) Этот высокий пост вельможи оставили для себя и защищали его, так сказать, валами. Вы обеспечили его мне, чтобы в будущем он был открыт для любого, кто окажется его достоин. Вы не только сделали меня консулом, как бы это ни было важно, но вы сделали это таким образом, что лишь немногие из старой знати подверглись такому обращению, и ни один новый человек - "*novus ante me nemo*". Я, если хотите знать, был единственным новым человеком, который выдвинул свою кандидатуру на пост консула в первый год, когда это было законно, и получил его". Затем он продолжает

напоминать им в словах, которые я уже цитировал, что они избрали его своим единогласным голосованием. Все это, говорит он, было очень благодарно ему, но он прекрасно понимал, что это было сделано для того, чтобы он мог трудиться от их имени. А труд этот был тяжелым, заявляет он. Само консульство должно быть защищено. Период консульства для любого консула должен быть годом серьезной ответственности, но для него - больше, чем для любого другого. Ему, если он будет сомневаться, великие вельможи не дадут доброго совета. Если он будет перегружен работой, они не окажут ему никакой помощи. Но в первую очередь он должен был искать их доброго мнения. Заявить сейчас, перед народом, что он будет исполнять свои обязанности ради блага народа, было его естественным долгом. Но в том месте, где было трудно говорить подобным образом, в самом сенате, в первый же день своего консульства, он заявил то же самое - "*popularem me futurum esse consulem*".¹⁷³

Курс, которым ему предстояло следовать, был благородным, но очень трудным. Он, конечно, хотел, чтобы его признали другом народа, но он хотел так подружиться с ним, чтобы одновременно поддержать власть аристократии. Он все еще верил, как мы не можем поверить сейчас, что в Сенате есть остаток добра, достаточный для того, чтобы расцвести в новые силы честного правительства. Говоря с олигархами в сенате о Рулле и его земельном законе, он легко увлекал их за собой. То, что консул должен противостоять трибуну, выступающему с "*Lex agraria*" в руках, как последний ученик Гракхов, не выходило за рамки обычного порядка вещей. Другой консул либо искал бы популярности и расширения возможностей грабежа, как это сделал Антоний, либо придерживался бы своего порядка, как он его называл, - как это было в случае с Коттами, Лепидами и Пизонами предыдущих лет. Но Цицерон решил противостоять демагогу Трибуну, доказав народу, что он еще больший демагог, чем он. Ему это удалось, и Рулл со своим аграрным законом был отправлен обратно во тьму. Я рассматриваю вторую речь против Рулла как *ne plus ultra*, самый лучший идеал политической речи, обращенной к народу на стороне порядка и хорошего правительства.

Я не могу закончить эту главу, в которой я попытался описать менее значительные операции консульства Цицерона, не обратившись снова к нарисованной Вергилием картине великого человека, подавляющего бури мятежного восстания серьезностью своего присутствия и весом своих слов.¹⁷⁴ В памяти поэта наверняка был случай, когда произошел этот великий триумф характера и интеллекта вместе взятых. Когда рыцари во время консульства Цицерона попытались занять свои привилегированные места в общественном театре в соответствии с законом, принятым Росцием Отхоном несколькими годами ранее (ок. 68 г.), в здание вошел сам основатель этого отвратительного закона. Народ, разъяренный против человека, который вмешивался в их жизнь и удовольствия и как бы накладывал на них новые ограничения со стороны аристократии, поднялся и начал ломать все, что попадалось под руку. "*Tum pietate gravem!*" За консулом послали. Он призвал народ следовать за ним из театра в храм Беллоны и там обратился к ним с той замечательной орацией, с которой они ушли не только умиротворенные, но и в добром расположении духа к самому Отто. "*Iste regit dictis animos et pectora mulcet*". Я уже говорил о хвалебном отзыве Плиния о делах великого консула в этом году. Отрывок короткий, и я его переведу:¹⁷⁵ "Но, Марк Туллий, как мне примириться с тем, что я буду молчать о тебе, или какой особой славой мне лучше всего заявить о твоём превосходстве? Как лучше, чем ссылаясь на великое свидетельство, данное тебе всем народом, и на достижения твоего консульства как образца всей твоей жизни? По вашему голосу племена отказались от своего аграрного закона, который был для них хлебом насущным. По твоему убеждению они простили Отто его закон и с добрым юмором переносили разницу в назначенных им местах. По твоей молитве дети проскрибированных не стали требовать своих прав на гражданство. Благодаря твоему мастерству и красноречию

Катилина обратили в бегство. Именно ты заставил замолчать [176](#) М. Антония. Приветствую тебя, тот, к кому впервые обратились как к отцу своей страны - первый, кто в одежде мира заслужил триумф и получил лавровый венок красноречия". Это была великая похвала, сказанная о человеке более чем через сто лет после его смерти тем, кто не испытывал к нему никаких особых симпатий, кроме тех, что были вызваны литературным родством.

Ни одно из писем Цицерона не дошло до нас после года его консульства.

Глава IX

КАТИЛИНА.

Отмыть черную мавру от белил - любимая задача некоторых современных историков. Найти парадокс в характере - это облегчение для исследовательского ума, который не желает всегда ходить по проверенным тропам или следовать по канавкам, сделанным простыми и неинтересными предыдущими авторами. Тиберий и даже Нерон были воспеты. Память наших ранних лет была потрясена указаниями считать Ричарда III и Генриха VIII великими и щепетильными королями. Дьявол, возможно, был нарисован чернее, чем следовало бы, и умы справедливых людей, которые не принимают вердикт большинства, были сильно напряжены, чтобы исправить ситуацию. Теперь нам говорят, что Катилин был народным героем; что, хотя он, возможно, и хотел убить Цицерона, его, в соответствии с практикой его дней, не стоит сильно винить за это; и что он был просто последователем Гракхов и предтечей Цезаря в его желании противостоять олигархии Рима. [177](#) В этом есть много правды. Убийства были обычным делом. Тот, кто видел сулланские проскрипции, как это делали Катилина и Цицерон, вполне мог научиться относиться к крови менее щепетильно, чем мы в наши дни. Даже Цицерон, который из всех римлян был самым человеческим, - даже он, без сомнения, был бы вполне доволен тем, что Катилина уничтожил народ. [178](#) Даже он был причиной, как мы сейчас увидим, казни лидеров заговорщиков, которых Катилин оставил после себя в городе - казни, законность которой, во всяком случае, весьма сомнительна. Но, судя даже о кровопролитии, мы должны учитывать обстоятельства того времени при вынесении вердиктов. Наше сознание изменившихся нравов и роста мягкости заставляет нас это делать. Мы не можем осуждать заговорщиков, убивших Сезара, как это сделали бы те, кто сейчас мог бы подстроить смерть тирана; мы также не можем так сурово расправиться с убийцами Сезара, как мы поступили бы тогда с заговорщиками-катилинистами в Риме, если бы заговор Катилины удался. И так же, признавая, что Катилин был результатом деятельности Гракхов и в некоторой степени подготовкой к Цезарю, мы должны снова сравнить его с ними, его мотивы и замыслы с их, прежде чем мы сможем позволить себе сочувствовать ему, потому что в них было много достойного похвалы и чести.

То, что Гракхи были подстрекателями, не отрицает ни один историк. Они охотно пользовались обычаями и законами Республики, когда те помогали им, но так же охотно действовали незаконно, когда эти обычаи и законы шли вразрез с ними. В тех реформах или изменениях, которые они пытались провести, они, несомненно, были мятежниками; но ни один читатель не встретит рассказ о смерти сначала одного, а затем другого без сожаления. Приходится признать, что они были убиты во время беспорядков, которые сами же и спровоцировали. Но они были честны и патриотичны. История говорит о них, что их усилия были направлены на то, чтобы избавить своих соотечественников от тирании олигархов, как они считали. Республика в их время уже слишком прогнила, чтобы ее можно было спасти; но

мир не менее благодарно отзывался о них за желание творить добро, и имена двух братьев, какими бы бунтарями они ни были, дошли до нас со сладким привкусом. С другой стороны, Сезар, несомненно, принадлежал к той же политической партии. Он тоже выступал против олигархов, но ему и в голову не приходило, что можно спасти Республику, борясь за свободу. Его разум не был настроен на патриотизм такого рода - ни на воспоминания, ни на ассоциации. Даже законы были для него ничем, кроме их возможной пользы. По его мнению, вероятно, еще в ранние годы, Римское государство требовало хозяина. Его богатства, его удовольствия, его солдаты, его власть были доступны любому, кто мог их взять, и любому, кто мог их удержать. Мистер Бизли, последний защитник Катилина, утверждает, что до заговора Катилина о Сезаре в Риме было известно очень мало, и в этом я с ним согласен. Он занимал высокое семейное положение, был квестором и эдилом, но только с этого года его имя стало на слуху у людей, и он стал присматриваться к делам. Возможно, он и раньше был в сговоре с Катилиной - и был в сговоре с ним до тех пор, пока не пришло время для великой попытки. Улики, насколько можно судить, указывают на то, что так оно и было. Рим был жертвой многих заговоров. Власть Мария и власть Суллы были достигнуты благодаря заговорам. Несомненно, у многих сложилось мнение, что и Цезарь, и богач Красс были связаны с Катилиной. Но Цезарь был очень дальновиден и, если такая связь существовала, умел отстраниться от нее, когда время было неподходящим. Но от начала до конца он всегда выступал против олигархии. От Гракхов до него было столько же шагов, сколько от жирондистов до Наполеона. Катилина, несомненно, была одной из ступеней, как и ступени Дантона и Робеспьера. Продолжение ступеней в каждом случае сначала было вызвано плохим управлением и жадностью нескольких людей у власти. Но как Робеспьер был гнусен и низок, в то время как Верньо был честен, а Наполеон велик, так и Катилин был между Гракхами и Сезаром. На мой взгляд, Катилину нет оправдания в том, что он был естественной ступенью, даже если бы он был необходимой ступенью, между Гракхами и Сезаром.

Я считаю тщетными попытки переписать историю на основе моральных убеждений и философских выводов. История очень часто переписывалась и, несомненно, еще не раз будет переписываться, с пользой и во имя истины, при обнаружении новых фактов. На свет появляются записи, которые до сих пор были похоронены, а свидетельства сравниваются со свидетельствами, которые раньше не встречались вместе. Но представить, что человек мог быть хорошим, который находился под запретом всех историков, всех поэтов и всех рассказчиков анекдотов, а затем объявить о такой доброте просто в соответствии с велениями щедрого сердца или противоречивого духа, - значит скорее помешать, чем помочь истории. О Катилине мы, по крайней мере, знаем, что он возглавил мятеж в Риме в год консульства Цицерона; что он внезапно покинул город; что он был убит в окрестностях Пистойи, сражаясь против генералов Республики, и что он оставил в Риме сообщников, которые были преданы смерти по эдикту сената. В этом, я думаю, уверен самый ярый сомневающийся. От его современников, Саллюстия и Цицерона, мы имеем весьма резкое мнение о его характере. Они оставили нам обличения этого человека, которые сделали его одиозным для всех последующих эпох, так что современные поэты сделали его основным персонажем и драматизировали его как изверга. Вольтер описывает его как человека, призывающего своих соратников убить Цицерона и Катона и сжечь город. Бен Джонсон заставляет Катилина убить раба и смешать его кровь, чтобы потом выпить ее со своими друзьями. "Нет лучшего напитка, чем эта санкция". Друзья Катилина скажут, что это не свидетельствует ни о каких уликах против него. Конечно, нет; но это продолжение выражения чувства, которое преобладало со времен Катилина. В его собственную эпоху Цицерон и Саллюст, которые были противоположны во всех своих политических взглядах, объединились, чтобы плохо отзываться о нем. В следующей книге Вергилий изображает его как терпящего наказание в аду.¹⁷⁹ В следующем Веллий Патеркул говорит о нем как о

заговорщике, которого Цицерон изгнал.¹⁸⁰ Ювенал делает различные намеки на него, но все в одном духе. Ювенал не заботился об истории, но использовал имена известных людей в качестве иллюстрации к излагаемой им идее.¹⁸¹ Валерий Максим, написавший похвальные маленькие эссе о всех добродетелях и всех пороках, которые он иллюстрировал именами всех порочных и всех добродетельных людей, которых он знал, очень сурово отзывается о Катилине.¹⁸² Флор, писавший через два с половиной века после заговора, рассказывает о Катилине ту же личную историю, что и Саллюстий и Цицерон: "Прежде всего, распутство, затем нищета, которую оно породило, а затем возможность того времени, поскольку римские армии находились в дальних странах, побудили Катилина составить заговор с целью уничтожения своей страны".¹⁸³ Моммзен, который, безусловно, не испытывал никаких чувств к Цицерону, заявляет, что Катилина, в частности, можно назвать "одним из самых гнусных людей в тот гнусный век. Его злодеяния принадлежат криминальным сводкам, а не истории".¹⁸⁴ Все это не является доказательством. Цицерон и Саллюст, возможно, объединились, чтобы солгать о Катилине. Другие римские писатели могли последовать за ними, а современные поэты и современные историки могли последовать за римскими писателями. Не исключено, что мир мог ошибаться в отношении какого-то периода римской истории, с которым он считал себя хорошо знакомым; но теперь миру не на что ориентироваться, кроме как на факты, дошедшие до него. Писатели последующих веков отзывались о Цицероне с уважением и восхищением. Они также объединились, чтобы говорить о Катилине с отвращением. Они также согласились относиться к другим мятежникам, Гракхам, так, что, несмотря на их подстрекательство, к их именам, как я уже говорил, приливает сладкий аромат. Что касается меня, то я доволюсь мнением мира и уверен, что не совершу никакой несправедливости, говоря о Катилине так, как говорили о нем все, кто писал о нем до сих пор. Я не могу согласиться на создание благородного патриота из таких материалов, какие мы имеем о нем.¹⁸⁵

В защиту Катилина г-н Бизли привел два сильных аргумента. Его предки были консулами, когда предки патрициев более позднего времени "хлопали в ладоши и подбрасывали вверх свои потные ночные колпаки". То, что аристократ Каска должен выражать презрение к народу, Шекспир вполне допускал; но как либерал наших дней заставил себя оказать честь своему герою подобными аллюзиями? На самом деле, однако, слава древней крови и позор, связанный с признаками труда, - идеи, от которых редко отказываются даже демократические умы. Говард нигде не может быть прекраснее, чем в Америке, а пропотевший ночной колпак - менее приятным. Затем нам напоминают, как Катилин умер, сражаясь, с ранами наперевес; и говорят, что "в мире обычно есть щедрые слова для памяти храбреца, умирающего за свое дело, каким бы оно ни было; но для Катилина - ни одного!" Я думаю, что в выраженном здесь чувстве есть ошибка. Умереть с готовностью, когда смерть должна наступить, - это совсем несложно, и это ежедневно делают самые бедные из людей. Римляне, как правило, умели это делать, и китайцы тоже. Зулус вполне способен на это, да и люди, стоящие ниже по уровню цивилизации, чем китайцы или зулусы. Встретить смерть или смертельную опасность ради долга - когда есть выбор, но долг и смерть предпочитаются позорной безопасности или, что еще лучше, безопасности, которая принесет с собой самоуничтожение, - это великое дело. Когда я слышу, что человек "бросился в поле и, сражаясь, пал", если не было подходящего случая, я считаю его глупцом. Если же он решил поторопиться с необходимым событием, как это сделал Катилин, я признаю, что он был наделен определенными физическими качествами, которые не являются ни славными, ни позорными. То, что Катилин по своей конституции был храбрым человеком, никто не отрицает. Убийца Раш был одним из самых храбрых людей, о которых мне доводилось слышать. То, что причитается Рашу, причитается и Катилину.

Мы считаем, что история жизни Катилина такова: Во времена Суллы он, как и подобает великому дворянину древней крови, занимался исполнением предписаний диктатора и добивался своего любыми доступными ему средствами. О нем рассказывают страшные истории об убийстве собственного сына и других родственников; мистер Бизли, несомненно, прав, когда говорит, что такие истории слишком легкомысленно рассказывались в Риме, чтобы заслуживать безоговорочного доверия. Для достижения цели любой человек мог рассказать что угодно о любом враге. Ему приписывают удивительные качества: он был одновременно погружен в роскошь и в то же время мог и хотел переносить все телесные лишения. Он, вероятно, занимался убийствами - как мог не заниматься этим человек, служивший под началом Суллы во время диктатуры? Возможно, он склонялся к разврату молодых аристократов, когда все молодые аристократы были склонны к этому. Вероятно, ему пришлось пережить холод и голод. Читая об этом, читатель инстинктивно поймет, чему можно верить, а что следует принять за миф. То, что он был шустрым молодым дворянином, воспитанным в духе отсутствия угрызений совести, пренебрежения к крови и взгляда на свою страну как на дойную корову, из которой молодого дворянина можно кормить нескончаемыми потоками богатых сливок в виде денег, которые можно занять, богатств, которые можно урвать, и, прежде всего, иностранцев, которых можно грабить, мы можем принять, я думаю, как доказанное. Несмотря на свои пороки или благодаря им, он возвысился на службе своей стране. То, что такой человек стал претором и губернатором, было естественно. Он отправился в Африку с проконсульскими полномочиями и, конечно же, обобрал африканцев. Это было так же естественно, как то, что стадо овец теряет шерсть во время стрижки. Вернулся он, как и положено, с намерением стать консулом и продолжать игру на повышение и грабеж. Но тут в его колесе появилась спица - необычная спица обвинения из провинции. Обвиненный в провинциальном грабеже, он не мог выдвинуться в качестве кандидата, и таким образом его карьера была остановлена.

Сейчас невозможно распутать все личные распри того времени - все семейные ссоры. Клодий - тот самый Клодий, который впоследствии был печально известным врагом Цицерона и жертвой ярости Милона, - стал обвинителем Катилина от имени африканцев. Хотя Клодий был намного моложе, они были людьми одного сословия. Возможно, что Клодий был назначен на эту работу, как предполагалось назначить Цецилия на обвинение Верреса, чтобы обеспечить не осуждение, а оправдание виновного. Историки и биографы утверждают, что Клодия наконец-то подкупили взяткой и что он предал африканцев именно таким образом. Возможно, такой подкуп был запланирован с самого начала. Наш интерес к этому процессу заключается в том, что Цицерон, несомненно, намеревался, руководствуясь политическими мотивами, защищать Катилина. Говорят, что он так и поступил. Насколько нам известно, он отказался от этого намерения. У нас нет ни следов его речи, ни упоминаний в истории о событии, которое непременно было бы упомянуто.¹⁸⁶ Но не было никаких причин, почему бы ему не сделать этого. Он защищал Фонтея, и я вполне готов признать, что он знал, что Фонтей был разбойником. Когда я смотрю на практику наших дней, я вижу, что воров и мятежников защищают благородные адвокаты, которые не стесняются брать свои доклады вразрез с собственным мнением. Цицерону было выгодно поступать так же. Если бы меня уличили в заговоре с целью взорвать кабинет министров, я не сомневаюсь, что мне пришлось бы защищать покойного генерального прокурора.¹⁸⁷

Но Катилина, хотя он и был оправдан, помешали выдвинуть его кандидатуру на пост консула в следующем, 65 году до н. э. П. Сулла и Автроний были избраны¹⁸⁸ - тот Сулла, о чьей последующей защите я только что говорил в этой заметке, - но были изгнаны за подкуп, а на их место были избраны двое других, Торкват и Котта. Таким образом, трое мужчин, стоявших на высоте перед своими соотечественниками, - один из которых был лишен права

претендовать на пост консула, а двое других лишились награды даже тогда, когда она была в их руках, - не без основания стали предателями в душе. Почти так же естественно они объединились и составили заговор. Почему именно их выбрали в качестве жертв, ведь они всего лишь делали то, что должен был делать каждый аристократ, следуя своей признанной профессии и живя за счет подвластных народов? Вероятно, их поведение было таким же, как и у других, а если и более вопиющим, то лишь настолько, насколько это всегда бывает с пороками, когда они становятся более распространенными. Однако трое мужчин пали и стали центром заговора, который известен как первый заговор Катилины.

Читатель должен помнить, что сейчас я рассказываю историю Катилина, возвращаясь к периоду за два года до консульства Цицерона, а это было в 63 году до нашей эры. О том, как во время того года Цицерон успешно защищал Мурену, когда Катон пытался лишить его предстоящего консульства, уже было рассказано. Возможно, руки Мурены были не чище, чем у Суллы и Автрония, и им не хватало только консульского авторитета и судебного красноречия адвоката, защищавшего Мурену. В то время, когда два назначенных консула были отвергнуты, Цицерон еще почти не принимал участия в государственной политике. Он был квестором, эдилом и претором, занимая эти административные должности в меру своих сил и возможностей. О первом заговоре он, по его словам, почти не слышал.¹⁸⁹ То, что его слова правдивы, доказывается, как мне кажется, отсутствием всяких упоминаний о нем в его ранних письмах, а также в сохранившихся речах или их фрагментах. Но в том, что такой заговор существовал, мы не можем сомневаться, как и в том, что три названных человека, Катилина, Сулла и Автроний, были его лидерами. Нас интересует, если бы только мы могли узнать правду, были ли в нем замешаны Цезарь и Красс.

Необходимо еще раз рассмотреть состояние Республики. Для нас заговор с целью подрыва правительства, при котором живет заговорщик, кажется либо очень страшным средством от больших бед, либо попыткой совершить зло, которому должны противостоять все хорошие люди. У нас есть счастливый заговор, в котором Вашингтон стал военным лидером, и Французская революция, которая, как бы кровава она ни была, сумела избавить французов от крепостного права. На родине мы имеем свой собственный заговор против королевской власти Стюартов, который также привел к благородным результатам. Гракхи пытались осуществить нечто подобное в Риме, но моральное состояние народа стало настолько низким, что настоящей любви к свободе не осталось. Заговор! О да. Пока есть что добывать, тот, кто этого не получил, конечно, будет замышлять против того, кто получил. Были заговоры за и против Мария, за и против Цинны, за и против Суллы. Это была жажда грабежа, жажда власти, которая подразумевала роскошь, жажда крови, которая росла из ненависти, порожденной соперничеством. Именно эти причины послужили поводом для заговоров: не то, чтобы римляне были свободны, а то, чтобы Сулле или Котте было позволено бесчинствовать в провинции.

К этому времени Сезар не успел ничего сделать в римском мире, кроме того, что сильно влез в долги. Зная, как мы знаем сейчас, о его огромных интеллектуальных способностях, мы не можем сомневаться, что в возрасте, которого он достиг сейчас, тридцати пяти лет, до 65 года, он глубоко задумался о своих жизненных перспективах. Нет никаких оснований полагать, что он задумал стать великим воином. Она пришла к нему по чистой случайности, несколько лет спустя. Быть квестором, претором и консулом и следить за происходящим, по-видимому, было для него причиной того, что он столкнулся с необычайным долгом. Что он стал бы Верресом, Фонтеем или Катилиной, мы, конечно, не вправе думать. К какому бы народу он ни пришел править и каким бы способом ни получил свое королевство, он царствовал с дальним прицелом, ориентируясь на будущие результаты. В этот период он

искал способ продвинуться по службе. Было три человека, все всего на шесть лет старше его, которые достигли или достигли большой известности; это были Помпей, Цицерон и Катилина. Двое из них отличались чистотой рук на фоне всей грязи вокруг, и они, несомненно, были первыми римлянами того времени. Катилин решил, что он тоже станет одним из первых римлян того времени, но его руки никогда не были чистыми. Какой же путь лучше выбрать такому человеку, как Сезар?

Иметь под ногами Помпея или Цицерона, должно быть, казалось тогда Сезару невыполнимой задачей, хотя пришло время, когда он, в разной степени, ухватился за обоих. С Катилиной шансы на успех могли быть выше. С Крассом он уже справился. Красс был похож на месье Пуарье в пьесе - человек, который, разбогатев, позволил себе роскошь честолубия. Если Сезар присоединился к заговору, мы вполне можем понять, что Красс должен был пойти с ним. У нас есть все основания утверждать, что так оно и было, но недостаточно оснований, чтобы заявить об этом. То, что Саллюст в своем кратком рассказе о первом заговоре не должен был привлекать Сезара, было само собой разумеющимся,¹⁹⁰ так как он писал полностью в интересах Сезара. То, что Цицерону не следовало упоминать об этом, также вполне объяснимо. Он не хотел ставить на уши весь дом аристократии. На протяжении всей своей карьеры он стремился поддерживать законность с минимальными нарушениями; но он был достаточно мудр, чтобы понимать, что, когда законы нарушаются со всех сторон, он не может поймать в свои сети всех, кто их нарушает. Ему приходилось многое пропускать мимо ушей, чтобы наилучшим образом использовать то положение вещей, которое он находил. Не следует думать, что заговорщик против республики вызывал у него такой же ужас, как для нас предатель короны: их было слишком много, чтобы вызывать ужас. Если бы можно было заставить Сезара и Красса замолчать, он был бы готов не добавлять их в список своих врагов. Предполагается, что Ливий рассказал нам, что этот заговор имел целью восстановить изгнанных консулов и убить консулов, которые были установлены на их место. Но книга, в которой это было написано, утеряна, и у нас есть только Эпитома, или заголовок книги, из которого мы знаем, что он был написан не Ливием.¹⁹¹ Суетоний, который, не исключено, получил свою историю от Ливия, говорит нам, что Сезар подозревался в том, что присоединился к этому заговору вместе с Крассом;¹⁹² и далее он сообщает, что Цицерон, написав впоследствии некоему Аксию, заявил, что "Сезар пытался в свое консульство осуществить владычество, которое он намеревался захватить в свое одичество" в тот год, о котором идет речь. Однако такого письма не сохранилось. Асконий, который, как я уже говорил, писал во времена Тиберия, утверждает, что Цицерон в своей утраченной оратории "In toga candida" обвинил Красса в том, что тот был автором заговора. Такова информация, которой мы располагаем; и если мы решим поверить в то, что Сезар тогда объединился с Катилиной, мы должны руководствоваться скорее нашими представлениями о вероятности, чем доказательствами.¹⁹³ Как я уже говорил, заговоры были очень распространены. Для Сезара, несомненно, становилось очевидным, что республика с ее олигархами должна пасть. Впоследствии она пала, а он - не скажу, что заговорщик, не скажу, что предатель, но человек власти, который, имея в руках легионы Республики, использовал их против Республики. Я вполне могу понять, что он должен был присоединиться к такому заговору, как первый заговор Катилина, а затем отказаться от него, когда обнаружил, что не может доверять тем, кто присоединился к нему.

Заговор провалился. Один человек не подал сигнал в одно время, другой - в другое. Сенат должен был быть перебит, два консула, Котта и Торкват, убиты, а два бывших консула, Сулла и Автроний, заменены. Хотя все детали, похоже, были известны консулам, Катилину позволили выйти на свободу и не предприняли никаких мер для наказания заговорщиков.

Второй заговор был предпринят в консульство Цицерона, 63 г. до н. э., через два года после первого. Катилин боролся за консульство и потерпел неудачу. Снова не было бы ни провинции, ни грабежа, ни власти. Это вмешательство, как ему, должно быть, казалось, в его особые привилегии, исходило от Цицерона. Цицерон был занятым человеком, пытавшимся остановить порядок вещей, который, по его мнению, был специально установлен всеми богами для пропитания такого родовитого и в то же время такого бедного человека, как он сам. В этом была вульгарная суэта - все это проистекало из буйной добродетели консула, чей отец был ничтожеством в Арпинуме, - которая должна была довести Катилина до безумия. Поэтому он принялся за работу, собрал в Риме таких же недовольных и почти таких же благородных людей, как и он сам, а в стране к северу от Рима - армию мятежников и начал свои действия, не соблюдая особой секретности. Во всей этой истории наиболее примечательной чертой является открытость, с которой осуществлялись многие детали заговора. Существование армии мятежников было известно; было известно, что Катилина возглавлял вождь; были известны причины его недовольства; были известны его товарищи по вине. Когда намечалось какое-либо особое действие, например, убийство консула или обстрел города, тайные заговоры придумывались в изобилии. Но грандиозный факт широкомасштабного заговора мог пройти в Риме голым, и даже Цицерон не осмеливался вмешиваться в него.

63 г. до н. э., эстафета 44 г.

Что касается второго заговора, с которым нас так хорошо познакомили Саллюстий и Цицерон, то нет достаточных оснований утверждать, что Цезарь был в нем замешан.¹⁹⁴ То, что он был сильно озабочен обращением с заговорщиками, не вызывает сомнений. Вероятно, он научился ценить ярость, безумие и бессилие Катилина по достоинству. Он также, я думаю, считал Цицерона мешающим, чрезмерно добродетельным болтуном, как и Помпей после возвращения с Востока. Какая практическая польза могла быть от такого человека в такое время - от того, кто действительно верил в честность, кто думал о свободе и Республике и воображал, что может исправить мир разговорами? Так, должно быть, чувствовал себя Сезар, которому опыт и прозорливость подсказывали, что Рим хочет и должен иметь хозяина. Вероятно, у него было достаточно патриотизма, чтобы почувствовать, что если он получит власть, то будет заниматься не только грабежом, но и перережет глотки всем своим врагам и будет кормить своих сторонников за счет имущества своих противников. Но Цицерон был непрактичен - разве что ему можно было так польстить, что он стал бы полезен. Именно так, я думаю, относился к Цицерону Цезарь, и именно так он побудил Помпея относиться к нему. Но теперь, в год своего консульства, Цицерон действительно добился власти, и на этот год его добродетель должна быть полностью реализована.

Он так много сделал за этот год, так эффективно сдерживал на время алчность и жестокость аристократии, что неудивительно, что его научили верить в себя. Да и других людей, радеющих за Республику, было достаточно, чтобы подкрепить его веру в себя. Был тот Корнелий, в защиту которого Цицерон произнес две великие речи, к сожалению, утраченные, был Катон, а до этого времени, как считал Цицерон, был Помпей. Цицерон, пока не стал кандидатом в консулы, довольствовался отдельными делами, в которых, несомненно, была замешана политика, но которые не были исключительно политическими. Он выступал за использование Помпея на Востоке, защищал Корнелия. Он был хорошо знаком с историей Республики, но, вероятно, никогда не задавал себе вопрос, находится ли она в смертельной опасности, и если да, то можно ли ее спасти. Во время своего консульства он

сделал это; и, видя Республику меньше, чем мы можем видеть сейчас, сказал себе, что это возможно.

Истории, рассказанные нам о заговоре Катилина Саллюстом и Цицероном, настолько мало противоречат друг другу, что мы можем доверять им обоим. Доверяя им обоим, мы вправе считать, что знаем правду. Нас здесь интересует только та часть, которую принимал Цицерон. Ничто из того, что говорит Цицерон, не опровергается Саллюстием, хотя о многом, что Цицерон, безусловно, делал, Саллюстий умалчивает. Саллюст порицает его, но только слабой похвалой. Поэтому мы можем принять рассказ о заговоре, приведенный самим Цицероном, за достоверный: мне неизвестно, чтобы хоть один из фактов Цицерона был поставлен под сомнение.

Саллюст утверждает, что попытка Катилина была популярна в Риме в целом.¹⁹⁵ Это, я думаю, должно быть воспринято как свидетельство того, что революция и заговор сами по себе были популярны: то, что при таком положении вещей вокруг, какое существовало в Риме, заговорщик государственных заговоров должен быть в состоянии собрать себе последователей, было само собой разумеющимся; то, что было много граждан, которые не хотели работать и рассчитывали жить в роскоши на государственные или частные грабежи, - это несомненно. Когда о заговоре впервые объявили в сенате, Катилин собрал армию; но у нас нет доказательств того, что сердца жителей Рима в целом были на стороне заговорщиков. С другой стороны, беспримерная преданность, которую граждане проявили к Цицерону после подавления заговора, доказывает, что их сердца были с ним. Население, любящее перемены, любило беспорядки; но ничто не свидетельствует о том, что Катилина любили так же, как Гракхов и других трибунов, пришедших после них.

Осенью 63 года до н. э. Катилина устроил внешние обстоятельства своего заговора, зная, что он в третий раз потерпит неудачу в своей агитации за консульство. Первой целью Цицерона и других сенаторов было убийство, а затем захват консульства силой. 21 октября Цицерон сделал первый доклад сенату о заговоре и призвал Катилина к ответу. Именно тогда Катилина произнес свой знаменитый ответ: "Республика состоит из двух тел, одно из которых слабое и с плохой головой" - имеется в виду аристократия с Цицероном во главе - "а другое сильное, но без головы", то есть народ; "но что касается его самого, то народ так хорошо заслужил его, что, пока он жив, должна появиться голова".¹⁹⁶ Затем на этом заседании сенат постановил, как обычно, "чтобы консулы заботились о том, чтобы Республика не страдала".¹⁹⁷ 22 октября были избраны новые консулы - Силан и Мурена. 23 октября Катилина обвинил в заговоре молодой дворянин Паулус Лепид в соответствии с принятым пятьдесят пять лет назад законом "de vi publica" о насилии в отношении государства. Через два дня после этого было официально сообщено, что Манлий - или Маллий, как его обычно называли, - лейтенант Катилины, открыто взял в руки оружие в Этрурии. Заговорщики назначили 27-е число для убийства Цицерона и других сенаторов. О том, что все это должно было произойти и было так устроено Катилином, Цицерон заявил в сенате сам в тот день, когда Катилина рассказал им о двух телах и двух головах. Цицерон, благодаря своему уму, изобретательности и проницательности, узнал все подробности. Среди заговорщиков был один Курий, образец молодого римского аристократа того времени, который рассказал обо всем своей любовнице Фульвии, а та донесла информацию до консула. Все это с достаточной драматической точностью описано в скучной пьесе Бена Джонсона, хотя он и приписал Цезарю участие в заговоре, на что у него не было полномочий. Цицерон на том заседании сената особенно старался дать понять Катилине, что ему в частном порядке известны все обстоятельства заговора. На протяжении всего заговора его целью было не захватить Катилина, а изгнать его из Рима. Если бы народ в гневе мог убить его, это было бы

хорошо; таким образом можно было бы покончить со всеми неприятностями. Но если этого не произойдет, то лучше всего сделать город невыносимым для заговорщиков. Если их можно будет изгнать, то они должны будут либо уйти в чужие края и рассеяться, либо сражаться и быть непременно побежденными. Сам Цицерон никогда не был кровожадным, но ему было крайне необходимо избавить Республику от этих кровожадных людей.

План по уничтожению Цицерона и сенаторов 27 октября оказался неудачным. 6 числа следующего месяца в доме некоего Марка Порция Лека состоялось собрание, на котором был составлен план убийства Цицерона на следующий день - убийства только Цицерона, который к тому времени был признан единственным препятствием на их пути. Для этой цели были отряжены два рыцаря, которых звали Варгунтей и Корнелий. Они, по римской моде, должны были рано утром на следующий день пробраться в спальню консула, чтобы якобы осыпать его утренними комплиментами, но, оказавшись там, убить его. Все это, однако, было рассказано Цицерону, и двум рыцарям, когда они пришли, было отказано в приеме. Если бы Цицерон был человеком, склонным к страху, как о нем говорили, он, должно быть, прожил бы в этот период жалкую жизнь. Насколько я могу судить по его словам и поступкам на протяжении всей его жизни, ему не мешала конституционная робость. Он боялся опозорить свое имя, снизить свой авторитет, стать маленьким в глазах людей, совершить политические ошибки, сделать то, что может обернуться против него. Во многом это было падение от того достоинства, которое, если мы не часто находим его в человеке, мы все можем себе представить; но личного страха за свою шкуру, за свою жизнь было очень мало. В это время, когда, как он хорошо знал, многие люди со множеством оружия в руках, люди, которые были совершенно беспринципны, искали его крови, он, кажется, никогда не дрожал.

Но весь Рим дрожал - даже по словам Саллюстия. Я уже показал, как в одной части своего повествования он заявляет, что весь народ в целом был на стороне Катилина, и попытался объяснить, что подразумевалось под этим выражением. В другом месте, в более ранней главе, он говорит, что "государство", то есть город, "было взбудоражено всем этим, и его облик изменился".¹⁹⁸ Вместо радости и легкости, царивших в последнее время, - следствия долгого мира - на всех навалилась внезапная печаль". Я цитирую этот отрывок, потому что другой отрывок был принят за доказательство популярности Катилина. Думаю, нет никаких сомнений в том, что население Рима в массе своей боялось Катилина. Город должен был быть сожжен, консулы и сенат должны были быть убиты, долги должны были быть списаны, рабы, вероятно, должны были быть воодушевлены против своих хозяев. "permota civitas" и "cuncta plebes", о которых говорит Саллюст, означают, что все "домохозяева" были встревожены, а все "грубияны" горели революционными надеждами.

8 ноября, на следующий день после того, как консула должны были убить в его собственном доме, он созвал специальное заседание сената в храме Юпитера Статора. Во времена Цицерона сенат созывался в различных храмах в зависимости от целесообразности, а может быть, и от достоинства случая. Ни один из них не имел более высокой репутации, чем храм особого Юпитера, который, как считается, подружился с Ромулом в его борьбе с сабинянами. Здесь была запущена та гроза красноречия, которую все английские школьники знают по ее "Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra". То ли от благоговения, дошедшего до меня с ранних лет, смешанного, возможно, с чем-то вроде страха перед великим педагогом, который впервые заставил эти слова величественно звучать в моих ушах, то ли истинное критическое суждение с тех пор утвердило меня в истинном весе этих слов, но они, несомненно, содержат для моего интеллекта выражение почти божественного негодования. Затем следует ряд вопросов, переводить которые было бы напрасно, а цитировать, для тех, кто читает на этом языке, наверняка излишне. Говорят,

что недостатком Цицерона было то, что в своих речах он слишком часто впадал в ту жилку гневного допроса, которая, несомненно, портит нам впечатление от английского ораторского искусства, когда к ней часто прибегают. Они кажутся слишком легкими и содержат слишком мало аргументов. Вероятно, именно на это жаловались его современники, называя его стиль витиеватым, избыточным и азиатским.¹⁹⁹ Этот вопрос проходит почти через всю речь, но читатель не может не признать его действенность применительно к рассматриваемому вопросу. Катилин сам сидел в сенате, и вопросы по большей части были адресованы ему. Мы видим его сейчас - крупного мужчину с дерзкими, сверкающими глазами, который в гневе смотрел так, словно даже там, в сенате, с трудом удерживал свои руки от горла консула. Зная, что на него будет совершено нападение, он проследовал в храм и занял почетное место среди скамей, предназначенных для тех, кто был консулом. Никто не заговорил с ним, никто не отсалютовал ему. Консульские сенаторы попятись, покидая свои привилегированные места. Даже его братья-заговорщики, которых было немало, не осмелились его узнать. Там, несомненно, был Лентул, и Цетег, и двое из рода Суллан, и Кассий Лонгин, и Автроний, и Лека, и Курий. Все они были или уже были заговорщиками в одном деле. Был там и Сезар, и Красс. Соратник Катилина по заговору, вероятно, был сенатором. Цицерон знал их всех. Нельзя сказать, что в этом деле был виновен Цезарь, но Цицерон, несомненно, чувствовал, что сердце Цезаря было на стороне Катилина. Его задачей было так прогреметь своим красноречием, чтобы превратить этих злейших врагов в кажущихся друзей, изгнать Катилина из их среды, чтобы казалось, что он изгнан теми, кто на самом деле был его братом-заговорщиком; что он и сделал.

Он объявил о сути заговора и смело заявил, что при таких обстоятельствах Катилин заслуживает смерти. "Если, - говорит он, - я прикажу схватить и убить тебя, поверь, меня скорее будут винить за промедление, чем за жестокость". Он говорил так, словно вся власть была в его собственных руках - либо ударить, либо не дать. Но его целью было изгнать его, а не убить. "Иди, - сказал он, - твой лагерь и Маллий, твой лейтенант, слишком долго без тебя. Возьми с собой своих друзей. Возьми их всех. Очисти город от своего присутствия. Когда его стены будут между мной и тобой, я буду чувствовать себя в безопасности. Здесь, среди нас, вы можете больше не беспокоиться. Я этого не потерплю, не выдержу. Если бы я позволил убить вас, ваши последователи в заговоре остались бы здесь; но если вы выйдете, как я того желаю, эта выгребная яма нечистот вытечет из города. Неужели вы не решаетесь сделать по моему приказу то, что охотно сделали бы сами? Консул требует, чтобы враг покинул город. Ты спрашиваешь меня, должен ли ты отправиться в изгнание? Я не приказываю; но если ты спрашиваешь моего совета, я советую". Изгнание было самым суровым наказанием, известным римскому праву, применимым к гражданину, и такое наказание не в силах был назначить ни консул, ни другой государственный чиновник. Хотя он и взял на себя обязанность защищать Республику, он все же не мог осудить гражданина. Он должен был полагаться на моральный эффект своих слов: "Non jubeo, sed si me consulis, suadeo". Катилин выслушал его до конца, а затем, бормоча проклятия, покинул сенат и вышел из города. Саллюст рассказывает, что он пригрозил погасить в разгар всеобщего разорения, которое он создаст, пламя, приготовленное для его собственной гибели. Саллюст, однако, не присутствовал при этом событии, и угроза, вероятно, была произнесена в более ранний период карьеры Катилина. Цицерон в одной из своих последующих работ прямо говорит нам, что Катилина поразила немота.²⁰⁰

О первой оратории Катилина Саллюстий говорит, что "Марк Туллий, консул, то ли опасаясь присутствия этого человека, то ли возбужденный гневом, произнес блестящую речь, очень полезную для республики".²⁰¹ Это, исходящее от врага, является более сильным

свидетельством правдивости истории, рассказанной Цицероном, чем любая пылкая похвала из-под пера друга.

В ту же ночь Катилин встретился с некоторыми из своих коллег. Это были те самые люди, которые в качестве сенаторов присутствовали при его смятении, и им он объявил о своем намерении отправиться в путь. В городе ему делать было нечего. До консула было не добраться. За самим Катилиной слишком внимательно следили, чтобы он мог действовать лично. Он должен был присоединиться к армии в Фесуле, а затем вернуться и сжечь город. Его друзья, Лентул, Цетегус и другие, должны были остаться и быть готовыми к огню и резне, как только Катилин со своей армией появится перед стенами. Он ушел, и Цицерон добился успеха.

Но эти люди, Лентул, Цетегус и другие сенаторы, хотя и не осмеливались сидеть рядом с Катилиной в сенате и не говорили с ним ни слова, с наступлением вечера с усердием принялись за дело. В народе распространился слух, что консул взялся изгнать одного гражданина. Катилин, злосчастный Катилин, Катилин, друг народа, отправился в Марсель, чтобы избежать гнева тирана-консула. В этом мы видим ревность римлян к тому, чтобы отдельное должностное лицо подвергало гражданина любому наказанию. Полностью осознавая, что может произойти, Цицерон иронично заявил, что он лишь посоветовал заговорщику уйти. Чувство было настолько сильным, что на следующее утро он был вынужден обратиться к народу по этому поводу. Тогда была произнесена вторая оратория Катилины, которая была произнесена под открытым небом перед широким кругом граждан. И здесь среди слов, которыми он начал свою речь, есть почти такие же знакомые нам, как "Quousque tandem" - "Abiit; excessit; evasit; erupit!". Этого Катилина, говорит Цицерон, этого вредителя своей страны, бушующего в своем безумии, я выгнал из города. Если вам так больше нравится, я изгнал его своими словами. "Он ушел. Он бежал. Он покинул нас. Он сбежал!" "Я объяснил вам всем этот заговор, как и обещал, если, конечно, здесь есть кто-то, кто не верит, что друзья Катилины поступят так же, как поступил бы Катилина. Но сейчас нет времени на мягкие меры. Мы должны действовать решительно. Я сделаю для этих людей только одно. Пусть они тоже уйдут, чтобы Катилин не тосковал по ним. Я покажу им дорогу. Он пошел по улице Аурелия. Если они поторопятся, то смогут догнать его до ночи". Этим он намекает, что история с Марселем была ложной. Затем он с иронией говорит о себе, как о том жестоком консуле, который одним лишь дыханием своих уст мог загнать граждан в изгнание. "Ego vehemens ille consul qui verbo cives in exsilium ejicio". И он продолжает, правда, защищая себя, но ведя их за собой, чтобы принять участие в обвинении, которое он намерен выдвинуть против главных заговорщиков, оставшихся в городе. Если они тоже пойдут, то смогут уйти невредимыми; если же они решат остаться, то пусть сами за собой следят.

Во всем этом мы видим только одно, чего он боится: что обстоятельства вынудят его предпринять какие-то шаги, которые впоследствии будут признаны не совсем законными и которые поставят его во власти его врагов, когда день его восшествия на престол пройдет. Это неоднократно повторяется в его речах.²⁰² Похоже, он осознает, что ему навяжут какую-то слишком сильную меру, за которую он один будет нести ответственность. Если ему удастся избежать этого, он не будет бояться ничего другого; если он не сможет избежать этого, он столкнется даже с этой опасностью. Его предвидение было удивительно точным. Сильная рука была использована, и наказание обрушилось на него не от врагов, а от друзей, почти до разрыва сердца.

Хотя сенат постановил, что консулы должны следить за тем, чтобы республика не пострадала, и хотя предполагалось, что таким образом дается чрезвычайная власть,

очевидно, что не было дано права налагать наказания. Антоний, как коллега Цицерона, был никем. Власть, ответственность, действия должны были и должны были оставаться за Цицероном. Он не мог законно изгнать кого-либо. Было совершенно очевидно, что предстоит большая резня. Была армия мятежников, с которой придется сражаться. Пусть они уходят, эти мятежники в городе, и либо присоединяются к армии и погибают, либо исчезают, где им вздумается, в провинциях. Цель второй оратории Катилина, произнесенной перед народом, заключалась в том, чтобы убедить оставшихся заговорщиков, что им лучше уйти, и научить горожан, что, давая такие советы, он никого не "изгоняет". В том, что касается граждан, он добился успеха; но он не убедил друзей Катилина последовать за своим вождем. Это произошло 9 ноября. После оратории сенат собрался снова и объявил Катилина и Маллия врагами общества.

До произнесения третьей речи прошло двадцать четыре дня - двадцать четыре дня, в течение которых Рим, должно быть, находился в состоянии сильнейшей лихорадки. Цицерон был активно занят распутыванием заговоров, детали которых все еще разворачивались в городе; но тем не менее он произнес ту речь за Мурену перед судейской коллегией, о которой я рассказывал в прошлой главе, а также, вероятно, еще одну за Пизона, о которой у нас ничего не осталось. Мы не можем не удивляться тому, что он мог в такое время посвятить свой ум подобным темам и тщательно изучить все детали судебных дел. Только 21 октября Мурена был избран консулом, а уже 20 ноября Цицерон с большим мастерством защищал его по обвинению во взяточничестве. В этой речи есть легкость, игривость, мягкость, шутливость, которые кажутся почти несовместимыми с суровыми, поглощающими реалиями и большими личными опасностями, в центре которых он находился; но быстрота его ума была такова, что, похоже, для него не было никаких трудностей в этих быстрых изменениях.

В тот же день, 20 ноября, когда Цицерон защищал Мурену, в доме некой римлянки по имени Семпрония разворачивался заговор. Именно о ней Саллюст сказал, что она лучше танцует, чем становится честной женщиной. Если верить Саллюсту, она была погрязла в роскоши и пороке. В ее доме вынашивался гнусный проект по внедрению в Рим злейших иноземных врагов. В это время в городе находились делегаты от народа, называемого аллоброгами, который населял нижнюю часть Савойи. Аллоброги были галльского происхождения. Они были воинственны, злобны и в данный момент особенно недовольны Римом. Им был нанесен некий ущерб, реальный или предполагаемый, в связи с чем делегаты были отправлены в город. Там их задержали, отмахнулись официальными ответами, которые не принесли никакого удовлетворения, и предположили, что они готовы причинить Республике любое зло. А что, если заставить их внезапно вернуться к себе домой и привести легион рыжеволосых галлов, чтобы помочь заговорщикам сжечь Рим? Депутация делегатов пришла в дом Семпрония и встретила там с заговорщиками - Лентулом и другими. Они свободно присоединились к проекту; но, имея, как это обычно бывало с иностранными посольствами в Риме, своего покровителя или друга среди аристократии, некоего Фабия Санга по имени, они сочли нужным посоветоваться с ним.²⁰³ Санга, как водится, все рассказал нашему проницательному консулу.

Затем дело было улажено со всей ловкостью современного инспектора полиции. Аллоброгам было приказано подчиниться, оговорив, однако, что у них должны быть письменные подписанные полномочия, которые они могли бы предъявить своим правителям на родине. Письменные документы с подписями были им выданы. С некоторыми заговорщиками, которые должны были помочь им покинуть город, они были отправлены в путь. У моста через Тибр их остановили эмиссары Цицерона. Произошла притворная драка, но кровь не пролилась, и послы с письмами были доставлены домой к консулу.

Мы поражаемся удивительной глупости этих заговорщиков, так что вряд ли поверили бы в эту историю, если бы ее не рассказывали в равной степени Цицерон и Саллюстий, и если бы ссылки на детали не были распространены среди более поздних писателей.²⁰⁴ Послы были схвачены на Мильвийском мосту рано утром 3 декабря, и в течение этого дня Цицерон послал к нему руководителей заговора. Лентул, который в то время был претором, Цетегус, Габиний и Статилиус повиновались вызову. Они не знали, что произошло, и, вероятно, думали, что их лучшая надежда на безопасность - подчиниться. Послали и за Цепарием, но он на время сбежал - и напрасно: не прошло и двух дней, как его схватили и предали смерти вместе с остальными. Цицерон снова созвал сенат и вошел в него, ведя за руку провинившегося претора. Здесь преступники были допрошены и практически признали свою вину. Доказательства против них были настолько убедительны, что они не могли отрицать этого. Подписи некоторых были найдены; в доме другого было обнаружено спрятанное оружие. Сенат постановил держать их под стражей до тех пор, пока не будет вынесено решение об их судьбе. Затем каждый из них был отдан под опеку какому-нибудь знатному римлянину того времени. Лентул Прэтэр был отдан на содержание цензору, Цетег - Корнифицию, Статилий - Цезарю, Габиний - Крассу, а Цепарий, который не успел далеко убежать, как был схвачен, - Терентию. Можно представить, с какой готовностью Красс и Цезарь отпустили бы своих людей, если бы осмелились. Но Цицерон был на подъеме. Сезар, который, как мы можем предположить, понимал, что еще не настал час покончить с постылой Республикой, а также осознавал, что Катилина нельзя считать подходящим помощником в этом деле, должен был оттягивать время и на время подчиниться. То, что он был склонен благоволить к заговорщикам, не вызывает сомнений; но в данный момент он мог дружить с ними только в соответствии с законом. Аллоброги были вознаграждены. Прэторы города, помогавшие Цицерону, получили благодарность. Самому Цицерону было предписано прошение. Прошение было изначально благодарением богов за победу, но впоследствии стало почетом, оказываемым полководцу, одержавшему победу. В данном случае это было просто средством добавить славы Цицерону, и это было своеобразно, так как до сих пор награда давалась только за военные заслуги.²⁰⁵ Помня об этом, мы можем понять, что в то время, должно быть, чувствовали в Риме по поводу преимуществ, которые давала деятельность и патриотизм консула.

Вечером того же дня, 3 декабря, Цицерон снова обратился к народу, объясняя ему свои действия и то, что он ранее объяснял в сенате. Это была третья речь Катилины, и по быстроте изложения ее, пожалуй, не превзойдет ничто из того, что он когда-либо говорил. Он снова объясняет мотивы, которыми он руководствовался, и при этом превозносит мужество, проникательность, активность Катилина, а глупость и ярость остальных высмеивает.²⁰⁶ Если бы Катилин остался, говорит он, мы были бы вынуждены сражаться с ним здесь, в городе; но с сонным Лентулом, толстым Кассием и безумным Цетегусом справиться было сравнительно легко. Именно поэтому он избавился от них, зная, что их присутствие не принесет вреда. Затем он напоминает людям обо всем, что боги сделали для них, и обращается к ним на языке, который заставляет почувствовать, что они действительно верили в своих богов. Это один из многих примеров, которые дает нам история и опыт, когда честный и добрый человек пытался использовать в благотворных целях веру, в которой он сам не участвовал. Неужели современный епископ, призывая свое духовенство молиться о хорошей погоде, верит, что Всевышний изменит предписанные времена года и заставит его причины быть бездейственными, потому что фермеры беспокоятся о сене или пшенице? Но он считает, что, когда люди попадают в беду, им следует общаться с небесными силами. Так же считал и Цицерон, и поэтому говорил так, как говорил в этот раз. Что касается его собственных религиозных взглядов, я расскажу об этом в одной из следующих глав.

Затем в отрывке, прекрасном по своему языку, хотя он вряд ли соответствует нашим представлениям о том, как человек должен говорить о себе, он объясняет свои амбиции: "За все это, мои соотечественники, я не прошу никакого другого вознаграждения, никакого украшения или почета, никакого памятника, кроме того, чтобы этот день жил в вашей памяти. Именно в вашей груди я хотел бы собрать и сохранить мой триумф, мою славу, трофеи моих подвигов. Никакие безмолвные, безголосые статуи, ничто, что может быть даровано никчемным, не может доставить мне удовольствия. Только благодаря вашей памяти мои удачи могут быть возвращены - вашими добрыми словами, записями, которые вы заставите написать, они могут быть укреплены и увековечены. Я думаю, что этот день, память о котором, я верю, будет вечной, войдет в историю благодаря тому, что город был сохранен, а мое консульство было славным".²⁰⁷ Он заканчивает абзац ссылкой на Помпея, принимая его в братство патриотизма и похвалы. Мы увидим, как Помпей отплатил ему за это.

Сколько всего должно было будоражить его ум, когда он произносил эти слова о Помпее! В следующем предложении он рассказывает народу о своей собственной опасности. Он позаботился об их безопасности, теперь они должны позаботиться о своей.²⁰⁸ Но они, эти квириды, эти римские граждане, эти хозяева мира, которыми, как предполагалось, управлялось все, не могли позаботиться ни о ком; ни о себе, ни о других. Они могли только голосовать, то так, то эдак, как им скажут, или, что более вероятно, как им заплатят. Помпей возвращался домой и вскоре должен был стать фаворитом. Цицерон, должно быть, чувствовал, что заслужил многое от Помпея, но отнюдь не был уверен, что долг благодарности будет выплачен.

Теперь мы переходим к четвертой или последней орации Катилина, которая была произнесена перед сенатом, созванным 5 декабря с целью решить судьбу главных заговорщиков, содержащихся под стражей. Мы узнаем, какими были три речи, произнесенные во время этих дебатов - Цезаря, Катона и Цицерона. Первые две переданы нам Саллюстием, но вряд ли можно считать, что мы имеем дело с точными словами. Сезарианский дух, побудивший Саллюста полностью игнорировать слова Цицерона, побудил бы его дать свое собственное представление о двух других, даже если бы мы предположили, что он смог записать их от руки - слова Цицерона, мы не сомневаемся, с такой полировкой, которую мог добавить к записям от руки Тиро, его раб и секретарь. Все эти три книги совместимы друг с другом, и мы вправе считать, что знаем линию аргументации, использованную тремя ораторами.

Силан, один из избранных консулов, начал дебаты с того, что предложил смерть. Можно считать, что его убедил сделать это предложение Цицерон. Во время обсуждения он содрогнулся от последствий и высказался за то, чтобы отложить решение до тех пор, пока они не разберутся с Катилиной. Мурена, другой избранный консул, и Катул, принцепс сената,²⁰⁹ высказались за смерть. Тиберий Нерон, дед императора Тиберия, внес предложение о отсрочке, на которое Силан уступил. Затем, или, скорее, в ходе дебатов, поскольку мы не знаем, кто еще мог выступить, встал Сезар и внес свое предложение. Его целью было спасти жертвы, но он прекрасно понимал, что при таком настроении, какое царило в сенате и городе, он сможет сделать это, не оправдав, а осудив. Какими бы злыми ни были эти люди, отвратительно, по его мнению, то, что сенат думал о собственном достоинстве, а не о чудовищности преступления. Поскольку, по его мнению, они не могут придумать нового наказания, адекватного столь отвратительному преступлению, будет лучше, если они оставят заговорщиков на произвол судьбы в соответствии с обычными законами. Таким образом, он хитростью подкинул им идею о том, что они, как сенаторы, не имеют права выносить смертные приговоры. Он не осмелился прямо сказать им, что им

грозит какая-то опасность, но умело выставил ее перед их глазами. "Их преступления, - снова говорит он, - заслуживают худшего, чем любые пытки, которые вы можете применить. Но люди обычно помнят то, что приходит последним. Когда наказание будет суровым, люди будут помнить скорее о суровости, чем о преступлении". Все это он аргументирует чрезвычайно убедительно. Речь отличается большой изобретательностью, независимо от того, принадлежат ли эти слова Саллюсту или Цезарю. Можно, правда, сомневаться, что общее утверждение о смерти имело большой вес для сенаторов, когда он сказал им, что смерть для нечестивцев - это облегчение, тогда как жизнь - это длительное наказание; но когда он продолжил напоминать им о Lex Porcia, по которому право наказывать римского гражданина, даже по законам, ограничивалось изгнанием, если только народный плебисцит не выносил решение о смерти, тогда он был эффективен. В заключение он предложил продать все имущество заговорщиков и приговорить их к пожизненному заключению, каждого в отдельном городе. Это, я полагаю, было бы столь же незаконно, как и смертный приговор, но не было бы необратимым. Сенат или народ в следующем году могли бы вернуть людям свободу и компенсировать их имущество. Цицерон решил, что эти люди должны умереть. Они не послушались его, покинув город, и он был уверен, что пока они живы, будет жить и заговор. Он полностью осознал опасность и решил встретить ее. Он ответил Цезарю, с бесконечным мастерством воздерживаясь от выражения какого-либо сильного мнения, но в то же время он привел своих слушателей к убеждению, что смерть необходима. Ему самому было сказано об опасности; "но если человек храбр в своем долге, смерть не может быть для него позорной; для того, кто достиг почестей консульства, она не может быть преждевременной; ни для одного мудрого человека она не может быть несчастьем". И хотя брат, и жена, и маленький мальчик, и только что вышедшая замуж дочь предупреждали его о грозящей ему опасности, все это не повлияло на него. "Вы, - говорит он, - отцы-призывники, заботьтесь о безопасности Республики. Это не Гракхи и не Сатурнины, которых привели к вам на суд, - люди, которые, конечно, нарушили законы и за это пострадали от смерти, но которые все же не были непатриотами. Эти люди поклялись сжечь город, убить сенат, навязать вам Катилина в качестве правителя. Доказательства этого находятся в ваших собственных руках. Это я, как ваш консул, должен был донести до вас эти факты. Теперь вы должны немедленно, до ночи, решить, что делать. Заговорщиков очень много; вы имеете дело не только с этими немногими. Что бы вы ни решили, решайте быстро. Цезарь рассказал тебе о законе Семпрония [210](#) - законе, запрещающем убивать римского гражданина, но можно ли считать гражданином того, кто был уличен в вооружении против города?" Затем он обрушивается на предполагаемое милосердие Цезаря, показывая нам, что Цезарь уже пытался сделать капитал из той добродетели, которую он так ярко проявил впоследствии при Алезии и Укселодунуме. Затем он снова говорит о себе в таких величественных выражениях, что невозможно не сочувствовать ему: "Пусть славится имя Сципиона, благодаря мудрости и доблести которого Ганнибал был вытеснен из Италии. Пусть громко восхваляют Африкана, который разрушил Карфаген и Нумантию, два самых враждебных Риму города. Пусть Паулуса считают великим, чей триумф украсил великий царь Перс. Пусть Марий будет в нерушимом почете, дважды спасший Италию от иноземного ига. Пусть превыше всего превозносят Помпея, чьи благородные деяния широки, как солнечные лучи. Возможно, среди них найдется место и для меня; если, конечно, завоевывать провинции, в которые мы можем отправиться в изгнание, - это больше, чем охранять тот город, в который завоеватели провинций могут вернуться в безопасности". Прекрасны и последние слова оратора: "Поэтому, отцы-призывники, принимайте решения мудро и без страха. На карту поставлена ваша собственная безопасность, безопасность ваших жен и детей, безопасность ваших очагов и алтарей, храмов ваших богов, домов, содержащихся в вашем городе, ваша свобода, благосостояние Италии и всей Республики. Вам предстоит принять решение. Во мне вы

имеете консула, который подчинится вашим указам и позаботится о том, чтобы они были исполнены, пока в нем еще теплится жизнь". Катон выступил за смерть, и сенат постановил, что они должны умереть. Цицерон сам повел Лентула в сводчатую тюрьму внизу, где палачи были готовы к работе, а остальных четырех человек заставили последовать за ним. Через несколько минут после этого, в сиянии вечера, когда Цицерона провожала домой аплодирующая толпа, его спросили о судьбе заговорщиков. Он ответил им лишь одним словом: "Vixerunt" - говорят, что у римлян существовало суеверие по поводу любого упоминания о смерти: "Они прожили свою жизнь".

О том, что происходило за пределами Рима с армией заговорщиков в Этрурии, биографу Цицерона нет необходимости много рассказывать. Катилина сражался и погиб в бою. С заговором было покончено. 31 декабря Цицерон сложил с себя полномочия, а Катилин пал в битве при Пистойе 5 января следующего, 62 года до н.э.

Один римский историк, писавший в царствование Тиберия, счел нужным напомнить, что к консульскому году Цицерона добавилась большая слава в связи с рождением Августа - того, кто впоследствии стал Августом Цезарем.²¹¹ Если бы какой-нибудь римлянин жил сейчас, он мог бы сказать, что для Августа было большой честью родиться в год консульства Цицерона.

Глава X.

ЦИЦЕРОН ПОСЛЕ КОНСУЛЬСТВА.

Мысль о том, что великий консул поступил незаконно, предав граждан смерти, не могла утихнуть ни на один день. Следует помнить, что декрет Сената не имеет силы закона. Законы могли быть изменены или даже принят новый закон только народом. Такова была конституция Республики. В дальнейшем, когда Цицерон будет апеллировать к тому, что его действительно судили за преступление, которое он якобы совершил, мне придется обсудить этот вопрос; но это дело было поднято против него даже в момент его триумфа, когда он покидал консульский пост. Повторение его самовосхваления создало ему множество врагов. Оно настроило против него друзей и заставило людей даже из его собственной партии задаться вопросом, стоит ли терпеть все эти добродетели. Когда человек считает себя более справедливым, чем его соседи, найдется множество способов бросить в него снаряд. Обычно консул, покидая свой пост, произносил какую-нибудь напутственную речь. Цицерон, вероятно, должен был в полной мере воспользоваться этой возможностью. Из других его слов, сказанных по другим поводам, но на ту же тему, было бы нетрудно составить такую речь, которую он мог бы произнести. Но нашлись те, кому уже надоело слушать, как он говорит, что Рим был спасен благодаря его уму и мужеству. Можно представить, что мог сказать Сезар среди своих друзей о целесообразности отстранения этого самовосхваляющего консула. В итоге Метелл Непос, один из трибунов, запретил уходящему в отставку офицеру делать больше, чем приносить обычную присягу при уходе с должности, поскольку он незаконно причинил смерть римским гражданам. Метелл, как трибун, имел право остановить любое официальное разбирательство. От самого Цицерона мы слышим, что он вполне справился с этой задачей. Он принес торжественную клятву, не соответствующую форме, принятой для консулов при уходе с должности, но утверждающую, что во время его консульства Рим был спасен только благодаря его работе.²¹² Мы располагаем этой историей только в изложении самого Цицерона, который утверждает, что

народ принял клятву как присягу с величайшей похвалой.²¹³ То, что это было именно так, мы, я думаю, можем принять за истину. Не приходится сомневаться в популярности Цицерона в этот момент, а также в том, что Метелл действовал в согласии с Цезарем, а также в соответствии с пониманием чувств Помпея, который отсутствовал со своей армией на Востоке. Этот трибун до недавнего времени был офицером при Помпее и вступил в должность вместе с Цезарем, который в том же году стал претором. Это, вероятно, было началом партии, которая через два года после этого образовала первый триумвират, 60 г. до н.э. Несомненно, именно сейчас, в год, следующий за консульством Цицерона, Цезарь в качестве претора начал свою великую карьеру.

62 г. до н. э., æтат 45.

Читая историю того времени, мы убеждаемся в том, что будущий диктатор постепенно начинал понимать, что старые формы республики прогнили, и что любой человек, намеревающийся осуществлять власть в Риме или в Римской империи, должен получить ее и удерживать незаконными методами. Вероятно, он присоединился к первому заговору Катилина, но лишь настолько умеренно, что смог выйти из него, когда обнаружил, что его товарищи не подходят для этой работы. Очевидно, что он симпатизировал более позднему заговору, хотя можно усомниться в том, что он сам когда-либо был его участником. Когда заговор был подавлен Цицероном, он дал свое полное согласие на его разгром. Мы видели, как громко он осуждал злодеяния заговорщиков, пытаясь спасти их жизни. Но, несмотря на все это, в его душе жило обоснованное убеждение, что Цицерон, при всех его достоинствах, не был практичен. Не то чтобы Цицерон был для него тем же, что и Катон, который со своим стоическим великодушием, по его мнению, должен был быть совершенно бесполезен. Цицерон, хотя и был слишком добродетелен для верховного правления, слишком добродетелен, чтобы захватить власть и удержать ее, слишком добродетелен, чтобы презирать институты Республики как немодные, все же был человеком настолько одаренным и способным во многих вещах, что мог бы стать отличным помощником, если бы только снизошел до помощи. Именно в таком свете Сезар, похоже, относился к Цицерону с течением времени: восхищался им, симпатизировал ему, готов был действовать вместе с ним, если бы это было возможно, но не менее решительно пресекал все попытки патриотической республиканской добродетели, которым оратор с удовольствием предавался. Мистер Форсайт высказывает мнение, что Сезар, пока он не перешел Рубикон после десятилетней войны в Галлии, не вынашивал твердого плана свержения конституции. Скорее всего, нет, и даже не тогда. Можно усомниться в том, что Сезар когда-либо говорил себе о свержении конституции. Постепенно он пришел к пониманию того, что власть и богатство можно получить насильственными действиями, и только насильственными. Перед ним были примеры Мариуса и Суллы, которые пользовались властью и умерли в своей постели. Были также примеры других людей, которые, неосторожно ступив в те опасные времена, были изгнаны, как Веррес, или убиты, как Катилина. Мы легко можем понять, что он, обладая великим гением, должен был признать необходимость как мужества, так и осторожности. И то и другое было проявлено, когда он согласился отсутствовать в Риме и почти в Италии в течение десяти лет галльских войн. Но вот что, я думаю, несомненно: с того времени, когда его имя стало известным - с периода, а именно со времени заговора Катилины, - он решил не свергать конституцию, а так вести себя среди великих дел дня, чтобы не быть свергнутым самому.

Какого характера были отношения между ним и Помпеем, когда тот еще отсутствовал на Востоке, мы не знаем, но вряд ли можно сомневаться в том, что между ними возникло некоторое взаимопонимание. Цицерон, вероятно, знал об этом. Помпей был тем человеком,

которого Цицерон предпочитал считать лидером своей партии, поскольку сам он не был достаточно рано приобщен к реальной политике Рима, чтобы выдвинуть себя в качестве лидера своей партии. Ему, как "новому человеку", пришлось стать адвокатом, а затем и государственным служащим, прежде чем он занялся политикой. То, что это было именно так, я показал, процитировав вступительные слова его речи *Pro Lege Manilia*. Как ни гордился он делами своего консульства, он был еще слишком новичком в своем деле, чтобы думать, что таким образом он может претендовать на первенство. Да и честолюбие не вело его в этом направлении. Он желал скорее личной похвалы, чем личной власти. Когда в последней оратории Катилина к народу он говорит о великих людях Республики - двух Сципионах, Пауле Эмилии и Мариусе, - он добавляет к ним имя Помпея, или, скорее, дает Помпею большую славу, чем любому из них: "*Anteponatur omnibus Pompeius*". Это было всего за несколько дней до того, как Метелл в качестве трибуна остановил его речь - по наущению, вероятно, Сезара и в поддержку взглядов Помпея. Помпей и Цезарь, во всяком случае, могли согласиться в этом - они не хотели, чтобы такой человек, как Цицерон, вмешивался в их дела.

Все это понимал и сам Цицерон. Особо богатую провинцию Македонию, которая должна была принадлежать ему, если бы он решил занять ее после ухода с поста консула, он передал Антонию - несомненно, в качестве взятки, как у нас один государственный деятель может передать другому особую должность, чтобы не дать тому перебить следы. Затем Галлия стала его провинцией, , как и положено, - Цизальпийская Галлия, как тогда называли северную Италию; провинция, менее богатая грабежами и податями, чем Македония. Но Цицерон не хотел провинции и решил поручить ее Метеллу Целеру, брату Непоса, который, будучи претором, когда сам был консулом, имел право на управление. Это тоже была политическая взятка. Если любезность Сезара, если провинции, отданные то тут, то там Антониям и Метеллам, если лесть, которой осыпали Помпея, могли что-то дать, то он не мог позволить себе отказаться от такой помощи. Все было бесполезно. С этого времени и в течение двадцати лет, которые оставались до его смерти, его жизнь всегда была связана с проблемами и сомнениями, часто с отчаянием, а во многих случаях с настоящими страданиями. Источником этого был Помпей, которого он, наделенный божественными качествами, превозносил выше всех остальных римлян.

Первое сохранившееся письмо, написанное Цицероном после консульства, было адресовано Помпею.²¹⁴ Помпей все еще находился на Востоке, но успешно завершил свои походы против Митридата. Цицерон начинает с поздравлений, как будто это и было целью его письма. Затем он сообщает победоносному полководцу, что некоторые в Риме не так довольны этими победами, как он сам. Предполагается, что здесь он ссылается на Сезара; но если это так, то он, вероятно, неправильно понял союз, который уже формировался между Сезарем и Помпеем. Далее следует истинная цель послания. Он получал письма от Помпея, в которых тот весьма холодно поздравлял его со славой консулата. Он ожидал гораздо большего от друга, для которого он так много сделал. Тем не менее он благодарит своего друга, объясняя, что удовлетворение, действительно необходимое ему, - это чувство, что он вел себя хорошо по отношению к своему другу. Если бы его друг был менее дружелюбен к нему в ответ, то баланс дружбы был бы на его стороне. Если бы Помпей не был связан с ним, Цицероном, личной благодарностью, он был бы связан необходимым сотрудничеством на службе Республике. Но чтобы Помпей не понял его превратно, он заявляет, что ожидал более теплых слов в отношении своего консульства, которые, по его мнению, были удержаны Помпеем, чтобы не обидеть кого-то третьего. Под этим он подразумевает Сезара и тех, кто сейчас присоединился к Сезарю. Далее он предупреждает его о будущем: "Тем не менее, когда ты вернешься, ты увидишь, что мои действия были такого рода, что, даже если ты будешь больше Сципиона, я буду признан достойным быть принятым как твой Лелий".²¹⁵

К написанию этого письма была приложена бесконечная забота, и оно было продиктовано острыми душевными терзаниями. Только утверждая, что он сам удовлетворен своей дружеской верностью, Цицерон мог выразить свое недовольство холодностью Помпея. Только продолжая осыпать Помпея такой лестью, какая содержится в упоминании Сципиона, в котором к лести примешивается тонкая ирония, он мог объяснить природу похвалы, которая, как он считал, причиталась ему самому. В характере этих выражений есть что-то презрительное, если бы не римская чрезмерность поклонения. Но в письме есть и мужество, когда он говорит своему корреспонденту, что, по его мнению, было причиной холодности, на которую он жалуется: "Quod verere ne cuius animum offenderes" - "Потому что вы боитесь, как бы не обидеть кого-нибудь". Но позвольте мне сказать вам, - продолжает он, - что мое консульство было такого рода, что вы, Сципион, как вы есть, должны признать меня своим другом".

В этих словах мы находим ключ ко всей связи Цицерона с человеком, которого он признает своим политическим лидером. Он всегда был недоволен Помпеем, в душе обвинял его в неблагодарности и неискренности, часто с горькой правдой говорил Аттику об эгоизме и неспособности этого человека, даже о его жестокости и отсутствии патриотизма, давал ему прозвища за его нелепости, заявлял о нем, что он намерен стать вторым Суллой, но все равно держался за него как за политического друга и лидера, за которым он должен был следовать. В ранние годы, когда он мало что знал о Помпее лично, поскольку Помпей обычно отсутствовал в Риме, он вбил себе в голову, что любит этого человека. Его называли "Магнусом"; он стал консулом задолго до положенного срока; он успешно выступал на стороне Республики и до сих пор был патриотом. До сих пор он поддерживал славу Республики. Во всяком случае, Цицерон принял его и впоследствии никогда не мог заставить себя быть нелояльным к вождю, с которым он исповедовал союз. Но чувство, проявившееся в этом письме, он сохранил до конца. Он был, есть и будет верен своим политическим связям с Помпеем; но к личному характеру Помпея у него не было ничего, кроме претензий.

до н. э. 62, этат 45.

В этом году Цицерон написал еще два письма, первое из которых - ответ на письмо Метелла Целера, также дошедшее до нас. В письме Метелл жалуется на плохое обращение, которое, по его мнению, он получил от Цицерона в сенате и от сената в целом. В ответ Цицерон пишет гораздо более пространное письмо, чтобы защитить себя и доказать, что он вел себя как самый любезный друг по отношению к своему корреспонденту, хотя и получил грубое оскорбление от брата своего корреспондента Непоса. Непос помешал ему в этом вопросе речи. Вряд ли стоит вдаваться в подробности этой ссоры, разве что она может показать, как среди многих представителей римской аристократии росло чувство, приведшее к изгнанию Цицерона. В это время в Риме разворачивался контрплан - заговор от имени аристократии с целью вернуть Помпея в Рим не только со славой, но и с властью, вероятно, исходя из чувства, что Помпей был бы более конгениальным хозяином, чем Цицерон. Было высказано предположение, что, поскольку Помпей хорошо проявил себя во всех чрезвычайных ситуациях, например, в борьбе с пиратами и в покорении Митридата, именно он должен был сразиться с Катилиной. Катилина убили до того, как дело дошло до конца, но заговор все равно продолжался, основанный на ревности, которую испытывали к Цицерону. Этот человек, который так часто заявлял, что служит своей стране, и который действительно сокрушил катилинариев своим упорством и готовностью, мог, в конце концов, выступить в качестве еще одного Суллы и сделать себя хозяином благодаря своим добродетелям и красноречию. О безнадёжности положения Республики можно судить по растущему числу

заговоров, которые вынашивались со всех сторон. В помощь заговору из Азии был отправлен Метелл Непос, который стал трибуном и помешал выступлению Цицерона. Вместе с Цезарем, который был претором, он предложил свой новый закон, чтобы призвать Помпея на помощь. Затем между ним и Цезарем с одной стороны и Катонем с другой произошла потасовка, в которой Катон в конце концов одержал такую победу, что и Цезарь, и Метелл были отстранены от исполнения своих служебных обязанностей. Вскоре Цезарь был восстановлен в должности, а Метелл Непос вернулся к Помпею на Восток, и из заговора ничего не вышло. Здесь мы приводим это письмо только как свидетельство чувства, существовавшего к Цицерону в Риме, и как объяснение раздражения с обеих сторон, о котором говорится в переписке между Цицероном и Метеллом Целером, братом Непоса,²¹⁶ которому Цицерон обеспечил управление Галлией.

Третье письмо Цицерона за этот год было адресовано Секстию, который в то время исполнял обязанности квестора - или проквестора, как называет его Цицерон, - вместе с Антонием в качестве проконсула в Македонии. Она особенно интересна тем, что рассказывает нам о том, что писатель только что завершил покупку дома в Риме у Красса за сумму, равную примерно 30 000 фунтов стерлингов наших денег. Вероятно, в Риме не было частного особняка с большей претензией. Им владел трибун Ливий Друз - человек с колоссальным состоянием, как нам сообщает Моммзен, - который был убит у его дверей тридцать лет назад. После этого она перешла в руки богача Красса, а теперь стала собственностью Цицерона. Мы узнаем, как он был разрушен во время его изгнания, как обманным путем передан богам, а затем возвращен Цицерону и отстроен за государственный счет. История этого дома написана так хорошо, что мы знаем даже имена двух преемников Цицерона в нем - Цензорина и Статилиуса.²¹⁷ Интересно узнать, какой дом Цицерон считал подходящим для своих обстоятельств, ведь по нему мы можем догадаться, каковы были его обстоятельства. Предполагается, что, совершая эту покупку, он отказался от семейного дома, в котором жил его отец по соседству с новым особняком, и передал его своему брату. Таким образом, можно утверждать, что он считал себя возвысившимся в мирских обстоятельствах. Тем не менее в письме к Секстию он сам сообщает нам, что ему пришлось занять денег для этого случая - настолько, что, будучи человеком, который теперь в долгах, он, как можно предположить, созрел для любого заговора. Отсюда до нас дошла история, переданная через Аулуса Геллия, собирателя анекдотов, о том, что Цицерон был вынужден занять эти деньги у клиента, чье дело он взял на себя в качестве вознаграждения за оказанную услугу. Аулус Геллий собрал свои истории спустя два столетия для развлечения своих детей и никогда не считался авторитетом в вопросах, которым не было подтверждения. Ни один современник не упоминает о таком заимствовании у клиента. В письме к Секстию, где он в шутку говорит о своих долгах, он заявляет, что мог занять любую сумму под шесть процентов - двенадцать были обычной ставкой, - и в качестве причины называет положение, которого он добился благодаря своим заслугам перед государством. Об этой истории много говорили, будто покупатель дома совершил нечто такое, за что ему должно было быть стыдно, но это, похоже, проистекало исключительно из идеи, что человек, который в условиях такого богатства, какое царило в Риме, так широко и так успешно практиковал бесценную профессию адвоката, непременно должен был брать деньги за свои услуги. Сам он утверждал, что не брал, и все имеющиеся у нас свидетельства говорят о том, что он говорил правду. Если бы он взял деньги даже в долг, мы бы узнали об этом от более близких свидетелей, чем Аулус Геллий, если бы, как рассказывает Аулус Геллий, об этом стало известно в то время. Но поскольку он говорит своему другу, что занял деньги для этой цели, предполагается, что он занял их позорным образом! Можно обнаружить, что все камни, наиболее вредные для репутации Цицерона, были изготовлены таким же образом. Его собственные слова были неверно истолкованы - либо их смысл, если они были сказаны

всерьез, либо их значение, если они были сказаны в шутку, - и затем на них были основаны обвинения.²¹⁸

В это время против Цицерона было выдвинуто еще одно обвинение в нечестной практике без единого доказательства, хотя на самом деле обвинения, выдвинутые таким образом и настойчиво выдвигаемые, очевидно, из чувства, что Цицерон не мог быть абсолютно чист, когда все остальные были так грязны, слишком многочисленны, чтобы каждый читатель мог получить от них то возмущенное опровержение, на которое каждый из них имеет право. Биограф не может не опасаться, что, когда в него брошено столько грязи, часть ее останется, и поэтому почти не решается рассказать об этой грязи, полагая, что ни одно пятно такого рода не было по правде заслуженным.

Похоже, что Антоний, коллега Цицерона по консульству, ставший проконсулом в Македонии, обязался выплатить Цицерону некоторую сумму денег. Почему деньги должны были быть выплачены, мы не знаем, но в письмах Цицерона к Аттику есть аллюзии на некую Тевкрис (троянскую женщину), и, похоже, Антоний был обозначен этим прозвищем. Тевкрис очень медленно платит деньги, а Цицерону они очень нужны. Но, возможно, не стоит тянуть с этим вопросом. Его, Антония, должны судить за провинности, и Цицерон заявляет, что дело настолько плохо, что он не может защищать своего покойного коллегу. Отсюда возникли два разных подозрения: первое - что Антоний согласился передать Цицерону часть македонской добычи в благодарность за то, что Цицерон вежливо отказался от провинции, которую выделил себе; второе - что Антоний должен был заплатить Цицерону за его защиту. Что касается первого, то Цицерон сам ссылается на то, что такие сведения были распространены в Македонии и использовались самим Антонием как предлог для усиления грабежа. Но это сочли неправдоподобным и пустили на самотек из-за второго обвинения. Но в его поддержку нет ни слова доказательств,²¹⁹ то время как сама история, рассказанная Цицероном, говорит против этого. Возможно ли, чтобы Цицерон начал свое письмо к Аттику с жалобы на то, что не может получить от Антония деньги, необходимые для особой цели - для строительства нового дома, - а затем в том же письме сказал, что, в конце концов, это может быть и к лучшему, поскольку он не собирался выполнять услугу, за которую должны были заплатить деньги? Читатель помнит, что обвинение основано исключительно на заявлении самого Цицерона о том, что Антоний проявил небрежность, выплатив ему обещанные деньги. Во всех этих обвинениях доказательства против Цицерона, какими бы они ни были, приводятся исключительно со слов самого Цицерона. Впоследствии Цицерон защищал этого Антония, как мы узнаем из его речи *Pro Domo Sua*; но его изменение цели в этом отношении не имеет никакого отношения к аргументу.

62 г. до н. э., æтат 45.

Сохранились две речи, произнесенные в этом году: одна - от имени П. Суллы, племянника диктатора; другая - от имени Архия, греческого ученого и поэта, который был воспитателем Цицерона, а теперь претендовал на звание гражданина Рима. Я уже приводил выдержку из этого письма, чтобы показать, с каким очарованием Цицерон мог рекомендовать своим слушателям заниматься литературой. Вся речь представляет собой прекрасное латинское произведение, в котором, однако, не хватает силы аргументации. Цицерон говорит об Архиясе, что тот настолько выдающийся литератор, что если он и не римский гражданин, то должен им стать. Результат неизвестен, но литературный мир считает, что гражданство ему было предоставлено.²²⁰

Речь от имени Суллы была более важной, но все же не слишком значимой. Этот Сулла, как можно вспомнить, был избран консулом вместе с Автронием, за два года до консульства

Цицерона, и после своего избрания был низложен за взятки, как и Автроний. На их место были избраны Аврелий Котта и Манлий Торкват. Также уже объяснялось, что эти два отвергнутых консула присоединились к Катилине в его первом заговоре. Нет никаких сомнений в том, что, будучи консулами или отвергнутыми консулами, а также заговорщиками, их целью было использовать свое положение аристократов для ограбления государства. Они принадлежали к числу тех, для кого никакая другая цель уже не представлялась возможной. Затем возник второй заговор Катилина - заговор, который разгромил Цицерон, и, естественно, встал вопрос о том, не следует ли время от времени обвинять того или иного знатного римлянина в том, что он к нему присоединился. Многие знатные римляне, несомненно, присоединились к нему, кроме тех, кто пал в бою или был казнен в темницах. Обвинения стали очень частыми. Некий Веттий обвинил претора Цезаря, но Цезарь, со свойственной ему потенцией, приказал посадить Веттия в тюрьму, вместо того чтобы самому отправиться в нее. Многие были осуждены и изгнаны; среди них Порций Лека, Варгунтий, Сервий Сулла, брат того, о ком мы сейчас говорим, и Автроний, его коллега. В суде над этими людьми Цицерон не принимал никакого участия. Автроний, который был его старым товарищем по школе, специально пригласил его защищать, но он отказался; более того, на суде он дал показания против Автрония. Но этого Публия Суллу он все же защищал, и защищал успешно. Он был привлечен к делу вместе с Гортензием и заявил, что в том, что касается бывшего заговора, он оставил все это своему ученому другу, который занимался политическими вопросами того времени.²²¹ Он же, Цицерон, ничего о них не знал. Больше всего нас интересует та часть оратории, в которой он защищается от обвинений, несколько неразумно выдвинутых против него лично молодым Торкватом, сыном того, кто был возведен в консулы вместо П. Суллы. Торкват назвал его чужеземцем, потому что он "новый homo" и прибыл из муниципия Арпинум, и насмеялся над ним, что он царь, потому что узурпировал власть над жизнью и смертью в отношении Лентула и других заговорщиков. Он отвечает на это очень вежливо, не сказав ни одного недоброго слова юному Торквату, которого из уважения к его отцу он хочет пощадить. "Не называй меня впредь ни чужеземцем, чтобы не ответить тебе суровостью, ни царем, чтобы над тобой не смеялись - если, конечно, ты не считаешь, что по-царски жить так, чтобы быть рабом не только человека, но и злой страсти; Если только ты не считаешь, что по-королевски - презирать все похоти, не жаждать ни золота, ни серебра, ни товаров, свободно выражать свое мнение в сенате, больше думать о заслугах перед народом, чем о полученных от него милостях, не уступать никому и твердо противостоять многим. Если это по-царски, то я признаю, что я царь". Сулла был оправдан, но беспристрастный читатель будет не менее уверен, что в заговоре он участвовал вместе с Катилиной. Можно надеяться, что беспристрастный читатель вспомнит и о том, сколько честных, преданных джентльменов в наши дни брались за дело тех, кого они считали мятежниками, и спасали их своей находчивостью и красноречием.

В конце этого года, 62 г. до н. э., в Риме произошла стычка, которая сама по себе имела мало значения для Рима и не имела бы никакого значения для Цицерона, если бы не обстоятельства, которые создали для него самого злейшего врага, с которым он когда-либо сталкивался, и привели его к самой тяжелой беде. Это было дело Клодия и тайны *Bona Dea*, и я был бы склонен сказать, что это было величайшее несчастье в его жизни, если бы не то, что жалкие результаты, вытекавшие из него, должны были бы проистекать из какого-то другого источника, если бы этого источника не было достаточно. Мне придется рассказать, как получилось, что Цицерон был отправлен в изгнание благодаря проступку Клодия; но мне придется также показать, что проступок Клодия был лишь инструментом, который использовали те, кто хотел избавиться от присутствия Цицерона.

Этот Клодий, молодой человек из знатной семьи и развратных манер, как это обычно бывало с молодыми людьми из знатных семей, переоделся женщиной и пробрался среди дам, когда они совершали некие религиозные обряды в честь *Vona Dea*, или богини Кибелы, богини-матери, столь целомудренной в своих манерах, что ни один мужчина не допускался в ее присутствие. Было особо оговорено, что на этом празднике не должно быть видно ничего, относящегося к мужчине, даже его портрета; возможно, Клодий вошел среди поклоняющихся матрон только потому, что его поступок был возмутительным, а значит, возбуждающим. Утверждалась и другая причина. Обряды, о которых идет речь, проводились ежегодно, то в доме этой матроны, то другой, и во время их проведения сам хозяин дома был исключен из своего помещения. Сейчас они проводились под покровительством Помпеи, жены Юлия Цезаря, дочери некоего Квинта Помпея, и утверждалось, что Клодий пришел среди поклоняющихся женщин ради того, чтобы затеять интригу с женой Цезаря. Это было крайне неправдоподобно, как указал нам мистер Форсайт, и, возможно, эта идея использовалась просто как оправдание для Цезаря, чтобы развестись с женой, которая ему надоела. Во всяком случае, когда скандал получил широкую огласку, он все-таки развелся с Помпеей, утверждая, что Цезарю не подобает, чтобы его жену подозревали.

61 год до н. э., эстафета 46.

Эта история стала известна всему городу, и в начале января Цицерон написал Аттику, изложив ему факты: "Ты, вероятно, слышал, что Публий Клодий, сын Аппия, был схвачен в женской одежде в доме Кая Цезаря, где совершалось жертвоприношение для народа, и что он спасся с помощью женщины-рабыни. Тебе будет жаль узнать, что это вызвало большой скандал".²²² Через несколько дней после этого Цицерон снова подробно рассказывает об этом Аттику, и мы узнаем, что дело было рассмотрено магистратами с целью наказать Клодия. Цицерон пишет без каких-либо сильных чувств, объясняя своему другу, что сначала он был очень Ликургом в этом деле, но теперь его укротили.²²³ Затем следует третье письмо, в котором Цицерон возмущается тем, что некоторые люди, которых он не одобряет, в том числе консул Пизон²²⁴, стремятся спасти этого нечестивого молодого аристократа от положенного ему наказания; в то время как другие, которых он одобряет, в том числе Катон, желают, чтобы справедливость восторжествовала. Но это не было делом исключительно Цицерона. Вскоре после этого он снова пишет Аттику о результатах суда - ведь суд действительно состоялся - и объясняет своему другу, как потерпело поражение правосудие. Атик спрашивает его, как получилось, что он, Цицерон, не напрягся, как обычно.²²⁵ В этом письме, хотя в нем достаточно серьезных вопросов, все же постоянно шутит над делом Хлодиана, чтобы мы почувствовали, что он не придает ему никакого значения. Он прилагал все усилия, пока Гортензий не ошибся в выборе судей. После этого он сам давал показания. Была предпринята попытка доказать алиби, но Цицерон поклялся, что видел Клодия в тот самый день, о котором идет речь. После оправдания между ним и Клодием произошел обмен репликами в сенате, подробности которого он с чувством глубокого удовлетворения сообщает своему корреспонденту. Этот отрывок не улучшает нашего представления о достоинстве сената и силе римской язвительности. Было известно, что Хлодия спасло то, что он подкупил большое количество судей. Было двадцать пять голосов за осуждение против тридцати одного за оправдание.²²⁶ Цицерон во время дела Катилины часто употреблял фразу, в которой хвастался, что "выяснил" то-то и то-то - "*comperisse omnia*". Клодий во время дискуссии перед судом бросает это в зубы: "*Comperisse omnia criminabatur*". Это породило недобрые чувства и причинило Цицерону гораздо больший вред, чем бесчестье, нанесенное *Vona Dea*. Что касается этого, то можно сказать, что лично его, сенат и судей это мало волновало, хотя, несомненно, существовало мнение, что разумнее всего благоговеть перед людьми, сохраняя религиозное уважение. Цицерона мало волновал этот процесс; но

поскольку он мог дать показания, то выступил в качестве свидетеля, и из слов, сказанных как с одной, так и с другой стороны, возникла вражда. Клодий был оправдан, что нас не касается, а Рима касается очень мало; но на суде все сложилось так, что Цицерон был очень озлоблен, и Клодий стал его врагом. Когда через три года после этого потребовался человек, который возглавил бы преследование Цицерона, Клодий был готов к этому.

Пока обсуждалась целесообразность предания Хлодия суду, Помпей вернулся с Востока и поселился за городом, так как ожидал своего триумфа. Генерал, которому было дано шествовать по городу с триумфальной славой, должен был в первый раз после победы войти в город со всеми своими триумфальными принадлежностями, как будто он в этот момент возвращался с войны со всеми своими военными трофеями. Это обыкновение обрело силу закона, но генерал не был лишен права заниматься городскими делами на время перерыва. Город должен был быть выведен к нему, а не входить в него. Помпей был так велик после возвращения с митридатских побед, что сенат вышел посидеть с ним в предместье, так как он не мог сидеть с ним в стенах. Мы видим, что он принимает участие в этих клодианских дискуссиях. Цицерон сразу же пишет о нем в Афины с явным неудовольствием. На вопрос о Хлодии Помпей ответил с величественным видом аристократа. По этому случаю Красс, между которым и Цицероном никогда не было особой дружбы, воспользовался поводом, чтобы поносить великого консула за его катилиновские успехи. Помпей, как нам рассказывают, плохо перенес это.²²⁷ Красс, вероятно, намеревался произвести подобный эффект. Тогда Цицерон ответил на замечания Красса, несомненно, очень ловко, и сделал все возможное, чтобы "покрасоваться" перед Помпеем, своим новым слушателем.²²⁸ Прошло более шести лет с тех пор, как Помпей мог его слышать, и тогда голос Цицерона не стал потенциальным в сенате. Цицерон восхвалял Помпея со всем красноречием, на которое был способен. "Anteponatur omnibus Pompeius", - сказал он в последней оратории Катилины в сенате; и Помпей, хотя и не слышал произнесенных слов, прекрасно знал, что было сказано. Такое ораторское искусство никогда не пропадало для тех, кого оратор больше всего хотел с ним познакомить. Но в ответ на все эти похвалы, на ту манильскую речь, которая помогла отправить его на Восток, на постоянную преданность, Помпей ответил Цицерону холодностью. Теперь он хочет дать Помпею понять, каково его положение в Риме. "Если когда-либо, - говорит он Аттику, - я был силен своим великим ритмом, быстрыми риторическими пассажами, энтузиазмом и логикой, то теперь я был таков. О, какой шум я поднял по этому случаю! Вы знаете, на что способен мой голос. Мне не нужно больше говорить об этом, так как вы наверняка слышали меня там, в Эпире". Читатель, я надеюсь, уже имеет достаточно яркое представление о характере Цицерона, чтобы понять смешение триумфа и злословия с искрой разочарования, которое здесь выражено. "Этот Помпей, хотя я был так верен ему, мало думал обо мне, великом консуле, спасшем Рим! Теперь он слышал, что даже Красс был вынужден сказать обо мне. Он услышит и меня, меня самого, и, возможно, тогда он поймет, что лучше". Так размышлял Цицерон, разворачивая свои громкие периоды. Помпей сидел рядом и слушал, отнюдь не восхищаясь своим поклонником так, как тот ожидал, чтобы им восхищались. Цицерон, вероятно, говорил себе, что их двоих, Помпея и Цицерона, вполне достаточно для сохранения республики. Помпей, не думая о республике, вероятно, говорил себе, что не хочет видеть брата рядом с тронem. Когда из двух людей первый считает себя равным второму, второй, как правило, чувствует себя выше первого. Помпею больше понравился бы Цицерон, если бы его фигура не была такой круглой, а голос - таким мощным. Не то чтобы Помпей явно желал получить какой-либо трон. Его положение в данный момент было своеобразным. Он привел свою победоносную армию с Востока в Брундизий, а затем распустил свои легионы. Я процитирую здесь начальные слова одной из глав Моммзена:²²⁹ "Когда Помпей, закончив порученные ему дела, вновь обратил свой взор к дому, он во второй раз обнаружил диадему у своих ног".

Далее он говорит, объясняя, почему Помпей не поднял диадему: "Своеобразный темперамент Помпея, естественно, вновь перевернул чашу весов. Он был из тех людей, которые способны, может быть, на преступление, но не на неповиновение". И снова: "В то время как в столице все готовилось к приему нового монарха, пришло известие, что Помпей, едва высадившись в Брундизии, разбил свои легионы и с небольшим эскортом отправился в путь к столице. Если получить корону без хлопот - часть удачи, то никогда фортуна не делала для смертного больше, чем для Помпея; но тем, кому не хватает мужества, боги дарят все милости и все дары напрасно". Здесь я должен сказать, что, хотя я безоговорочно признаю исследования и знания немецкого историка, я не могу согласиться с его выводами относительно характера. Я не верю, что Помпей нашел у своих ног диадему или думал о диадеме, как и, согласно моему чтению римской истории, Марий или Сулла; как и Сезар. Первым, кто задумался о вечном правлении - правлении, которое должно сохраняться при жизни правителя и передаваться его преемникам, - был Август. Марий, жестокий, самовлюбленный и неуправляемый, вцепился в верховную власть и, если бы не умер, удерживал бы ее так долго, как только мог, потому что это удовлетворяло его честолюбие. Сулла с определенной целью захватил ее, но, похоже, так и не смог выйти за рамки старой римской идеи временной диктатуры. Старый римский ужас перед царем был присущ этим римлянам даже после того, как они стали царями. Помпею, несомненно, нравилось быть первым, и, вернувшись с Востока, он думал, что по своим делам он первый, легко первый. Будь он консулом из года в год, как Марий, или диктатором, как Сулла, или императором с правом постоянного командования над всеми римлянами, его идея заключалась в том, чтобы по-прежнему придерживаться форм республики. Моммзен, предвидя - если можно сказать, что историк предвидит будущее, находясь в прошлом, - что для Римской империи должен прийти хозяин, и отдавая все свои симпатии кесаревской идее, презирует Помпея за то, что тот не взял диадему. Подобная мысль никогда не приходила Помпею в голову. Через некоторое время он "суллатуризировался" - захотел скопировать Суллу, чтобы использовать отличное слово, придуманное Цицероном. Когда ему успешно противостояли те, кого он считал ниже себя, когда он обнаружил, что Сезар одержал над ним верх и что более сильная часть римлян пошла с Сезаром, чем с ним, тогда проскрипции, убийства, конфискации и захват диктаторской власти предстали перед его разгневанным умом, но о постоянной деспотической власти, я думаю, не было и мысли, и, насколько я могу прочесть записи, такая идея не зародилась в лоне Сезара. Продолжить старое ремесло претора, консула, проконсула и императора, чтобы в этой схватке получить все, что он мог, - власть, богатство и достоинство, - такова, я думаю, была цель Сезара. Остальное прирастало к нему. Как Шекспир, сядя писать пьесу, которая могла бы послужить его театру, сочинил какого-нибудь Лира или Бурю, которые жили и будут жить вечно, благодаря гению, который был неизвестен ему самому, так и Сезар, свой гений, нашел путь к власти, которую он не предполагал. Для искоренения идеи из сознания людей требуется гораздо больше времени, чем для искоренения факта из их практики. Это должно быть доказано нашей собственной преданностью слову "монарх", в то время как ничто не может быть дальше от монархии, чем наше собственное содружество. С тех первых нарушений республиканской практики, которые историк Флор относит к осаде Нуманции²³⁰ до 133 г. до н. э., вплоть до правления Августа, потребовалось столетие с четвертью, чтобы народ понял, что республиканской формы правления больше нет, и чтобы появился лидер, который сам увидел, что в стране есть место для деспота.

Помпей добился своего триумфа, но те же аристократические замашки, которые раздражали Цицерона, стали оскорблять других. Его лишили почестей. На его шествия отводилось всего два дня. Он был раздражен, ревнив и, несомненно, желал показать свою

власть; но он не думал о диадеме. Сезар видел все это; и он придумал тот заговор, который мы с тех пор называем Первым триумвиратом.

62, 61 гг. до н. э. ætat 45, 46.

Два года, которым посвящена эта глава, прошли в жизни Цицерона без особых событий и не принесли почти ничего из той литературы, благодаря которой он стал одним из главных любимцев человечества. Были написаны, опубликованы и, вероятно, произнесены две речи, которые теперь утрачены: одна - к народу против Метелла, в которой он, несомненно, изложил все, что собирался сказать, когда Метелл помешал ему выступить по истечении срока его консульства; вторая - против Клодия и Курия в сенате, в связи с позорным делом Клодия. Фрагменты, которыми мы располагаем, содержат те язвительные замечания, которые он впоследствии пересказал в письме к Аттику, и не являются ни поучительными, ни забавными. Но из этих фрагментов мы узнаем, что Клодий уже готовил план вступления в трибунат путем незаконного отречения от своего семейного положения, который он впоследствии осуществил, к большому ущербу для счастья Цицерона. О сохранившихся речах от имени Архия и П. Суллы я уже говорил. Других речей, произнесенных в этот период, мы не знаем. Кроме этого письма к Аттику, мы располагаем одним письмом, адресованным Антонию, его бывшему коллеге, которое, как и многие другие его письма, было написано исключительно ради популярности.

В эти годы он, без сомнения, жил великолепно, как один из великих людей величайшего города мира. У него был новый великолепный особняк в Риме и различные виллы, которые уже становились известными благодаря своей элегантности, очарованию обивки и живописности. Он не только сам поднялся на вершину официальной жизни, но и сумел увлечь за собой своего брата Квинта. Во втором из двух лет, до 61 г., Квинт был отправлен в качестве губернатора или пропретора в Азию, не имея тогда ничего более высокого, чем консульство, которого, однако, он так и не достиг. Этот этап в жизни Квинта стал известен благодаря письму, которое старший брат написал ему на втором году его службы, о чем будет сказано в следующей главе.

До сих пор казалось, что у Цицерона все идет хорошо. Он пользовался большим уважением и авторитетом, властью, богатством и популярностью у многих людей. Но теперь изучающий его жизнь начинает замечать, что его охватывают беды. Он поднялся слишком высоко, чтобы не столкнуться с завистью, и слишком громко восхвалял себя, чтобы не сделать завистников очень горькими в их злобе.

Глава XI.

ТРИУМВИРАТ.

Cb.c. 60, ætat 47.

Я не знаю ни одного великого факта в истории, который был бы столь непроницаемым, столь тeneвым, столь нереальным, как Первый Триумвират. Каждый школьник, почти каждая школьница знает, что существовал Первый триумвират, и что это была политическая комбинация, созданная тремя великими римлянами того времени, Юлием Цезарем, Помпеем Великим и Крассом Богатым, для управления Римом между собой. Дальше этого они почти ничего не знают, потому что мало что знают. Что это был заговор против

тогдашнего правительства, такой же, как заговор Катилина, Гая Фо или Наполеона III, они вообще не знают, потому что Сезар, который, хотя и был самым молодым из трех, был его главной движущей силой, поднялся с его помощью на такую высоту славы, что все шаги, по которым он поднялся к ней, считаются великолепными и героическими. Но о том, каким образом был создан этот триумвират, кто имеет представление? Как, где и кем он был впервые предложен? Для чего заговорщики объединились? Не было цели массового убийства, как у Катилина для уничтожения Сената или у Гая Фо, чтобы взорвать Палату лордов. Не было заговора, организованного для того, чтобы заставить замолчать законодательный орган, как это сделал Наполеон. В этих схватках, которые происходят каждый год за место и власть, за провинции и грабежи, давайте помогать друг другу. Если нам удастся держаться друг друга, мы сможем получить всю власть и почти весь грабеж". Этого, сказанного с подмигиванием одним из триумвиратов - скажем, Сезаром - и одобренного кивком Помпея и Красса, было достаточно для создания такого заговора, который, как я предполагаю, вынашивался во время формирования первого триумвирата.²³¹ Моммзен, который никогда не говорит о триумвирате под этим именем, кроме как в своем указателе,²³² где он позволил этому слову появиться для указания людям менее сведущим, чем он сам, связывает сделку, которую мы называем Первым триумвиратом, с предыдущей коалицией, которую он описывает как заключенную в (до н. э. 71) году до консулата Помпея и Красса. Нам нет нужды беспокоиться об этом, поскольку мы имеем дело с жизнью Цицерона, а не с римской историей, за исключением того, что Цезарь, который был движущей силой второй коалиции, не мог лично приложить руку к коалиции 71 года. Хотя он провел свои ранние годы в "преследовании аристократии", как говорит нам Дин Меривейл, он не был достаточно авторитетен в умах людей, чтобы его можно было поставить в один ряд с Помпеем и Крассом. Когда образовался этот Первый триумвират, как принято называть его в современном мире, или вторая коалиция между демократией и великими полководцами, как с большей, но не с идеальной точностью описывает ее Моммзен, у Сезара, несомненно, под рукой была история прошлых лет. "Естественно, - говорит Моммзен, - возникла мысль, не может ли * * * между демократами, с их союзником Крассом, с одной стороны, и Помпеем и крупными капиталистами - с другой, быть создан союз, прочно основанный на взаимной выгоде. Для Помпея такая коалиция, безусловно, была политическим самоубийством".²³³ Под демократией здесь подразумевается Сезар. Сезар всю свою жизнь учился тому, что ничего хорошего не может принести никому ни бездарный сенат, ни республиканские формы, потерявшие всю свою соль. Демократия была в моде у него; не из филантропического стремления к равенству, не из дальновидного видения братского гражданства под властью одного великого отцовского повелителя - тогда изучение политики еще не достигло такой высоты, - а потому, что было необходимо, чтобы кто-то один, а может быть, двое или трое, одержали верх в предстоящей борьбе, и потому, что он считал себя более достойным, чем другие. Его не мучила совесть. Деньги для него ничего не значили. Чужие деньги были тем же, что и его собственные, - или даже лучше, если он мог ими завладеть. Учение Цицерона о том, что люди - "ad justitiam natos", должно быть, было для него просто абсурдным. Кровь для него была ничем. Друг был лучше врага, а живой человек лучше мертвого. Кровожадность была для него неведомой страстью; но и та нежность, которая вызывает у нас ужас перед кровью, была ему так же неведома. Удовольствие было для него сладостью; но он был достаточно мужественным человеком, чтобы чувствовать, что жизнь в удовольствиях презренна. Разграбить город, отнять все у богача, развратить жену друга, отдать на заклатие множество женщин и детей было для него так же легко, как простить врага. Но ничто не тяготило его, и он мог простить врага. Мужество его было того лучшего сорта, что позволяет оценить и просчитать опасность, а затем действовать так, как будто ее нет. Для него не было ничего плохого, кроме того, что было неблагоприятным. Он

умел льстить, хитрить, лгать, обманывать и грабить; более того, он считал бы глупостью не делать этого, если бы это было целесообразно.²³⁴ В этой коалиции он предстает как опора и поддержка народа. Поэтому Моммзен говорит о нем как о "демократе". Красса называют союзником демократов. Нам достаточно знать, что Красс добился своего положения в сенате благодаря огромному богатству, и что именно из-за его богатства, которое было необходимо Сезарю, он был принят в лигу. С помощью своего богатства он поднялся к власти, завоевал и убил Спартака, чести и славы которого лишил его Помпей. Затем он стал консулом. Когда Цезарь отправился в качестве пропретора в Испанию, Красс нашел деньги. Теперь Сезарь вернулся и был рука об руку с Крассом. Когда через несколько лет после этого произошел раздел добычи - добычи, завоеванной триумвирами, - когда Цезарь наполовину завершил свои великие свершения в Галлии, а Красс еще только второй раз стал консулом, он добился отправки в Сирию, чтобы, покорив парфян, стать равным Цезарю. Мы знаем, как он и его сын погибли там, причем каждый из них, вероятно, избежал последней крайности несчастья для римлянина - попасть в руки врага-варвара, покончив с собой. Жизнь Красса не может быть более презренной, а смерть - более жалкой. "Для Помпея, - говорит Моммзен, - такая коалиция была, безусловно, политическим самоубийством". Так сложились события, потому что Сезарь был более сильным человеком из двух; но вполне понятно, что в то время Помпей должен был почувствовать, что он не сможет властвовать над сенатом, как он хотел, без помощи демократической партии. У него не было четко сформулированных взглядов, но он хотел быть первым человеком в Риме. Он считал себя все еще значительно выше Сезаря, который до сих пор был не более чем претором, а в это время ему мешали добиться триумфа, потому что он не мог в один и тот же момент находиться в городе как кандидат в консулы и за его пределами в ожидании своего триумфа. Помпей побеждал трижды, стал консулом в неестественно раннем возрасте с необычными почестями, побеждал на востоке и западе, и его называли "Магнус". Он еще не боялся, что его затмит Сезарь.²³⁵ Цицерон был его занудой.

Я считаю, что Моммзен прав, когда отказывается от слова "триумвират". Я не знаю ни одного упоминания о нем у римских писателей применительно к этому заговору, хотя Тацит, Суэтоний и Флор называют этим именем более позднюю коалицию Октавия, Антония и Лепида. Лангхорны, переводя жизнь Плутарха о Крассе, говорят о триумвирате; но сам Плутарх говорит, что Сезарь объединил "неприступную твердыню", объединив трех человек.²³⁶ Патеркул и Суэтоний²³⁷ очень четко объясняют природу договора, но не используют этот термин. В заговоре не было ничего, что давало бы ему право на официальное название, хотя, поскольку в нем участвовали три главных заговорщика, использовавшееся до сих пор название было вполне уместным.

до н. э. 60, æтат 47.

Цицерон был для них всех жупелом. В том, что он мог бы стать одним из них, если бы был готов разделить грабеж и власть, не сомневается ни один читатель истории того времени. Если бы он так решил, то мог бы снова стать "реальной силой в государстве"; но чтобы стать таковым предложенным ему способом, необходимо было присоединиться к другим в заговоре против Республики.

Я не хочу, чтобы считалось, что Цицерон с ужасом воспринял сделанные ему предложения. Заговоры были слишком обычным делом, чтобы вызывать ужас; и все эти заговорщики были друзьями Цицерона в одном смысле, хотя в другом они могли быть его противниками. Можно предположить, что поначалу Красс не имел к этому делу никакого отношения, а Помпей в своей ревности охотно бы остался в стороне. Но Сезарь понимал, что хорошо бы иметь Цицерона, если бы Цицерона можно было иметь. Дело было не только в его красноречии,

которое было удивительно сильным, или в его энергии, которая была неукротимой: был его характер, не уступавший ни одному из живущих римлян; если бы только, давая им возможность использовать его характер, можно было заставить его пренебречь честью, справедливостью и патриотизмом, на которых был основан его характер. Насколько ценным может стать характер, если его можно использовать в таких условиях! Верить в свою правду и при этом лгать; доверять своей честности и при этом обманывать; доверять патриотизму и при этом продавать свою страну! Соблазны к этому редко предстают перед человеком открыто, во всем своем неприглядном уродстве. Разумеется, не были так представлены Цицерону Сезаром и его соратниками. Приманка была протянута ему, как это происходит ежедневно с другими, в не отталкивающей форме, со словами, приспособленными для обмана и сильными, почти убеждающими. Дайте нам преимущество вашего характера, и тогда с вашей помощью мы сможем спасти нашу страну. Пусть наша линия действий не совсем конституционна, но если вы вникнете в нее, то увидите, что она целесообразна. Что еще остается? Как еще можно сохранить хоть какие-то обломки Республики? Неужели вы станете еще одним Катонем, бесполезным и непрактичным? Присоединяйтесь к нам и спасите Рим для какой-нибудь цели". Можно понять, что таким образом Цицерона заманивали, как и многих политиков с тех пор. Но когда политик занимает предложенную ему должность и получает за это жалованье, пусть даже это будет жалованье лорда казначейства, он должен голосовать вместе со своей партией.

То, что Цицерон сильно сомневался, стоит ли ему в это время бросать свой жребий вместе с Цезарем и Помпеем, несомненно. Быть действительно полезным, не быть непрактичным, как Катон, спасти свою страну и честно подняться к власти и славе, не быть слишком строгим, не быть чрезмерно скрупулезным, давать и брать понемногу, чтобы работать с пользой для дела вместе с другими в упряжке - таково было его представление о долге римлянина. Служить в согласии с Помпеем было первой мечтой его политической жизни, а теперь Помпей был в согласии с Сезаром. Естественно, что он засомневался - естественно, что он выразил свои сомнения. Кто же должен был принять их, как не Аттикус, этот "альтер эго"? Цицерон сомневался, стоит ли ему держаться за Помпея - как он делал на всех этапах своей политической жизни, пока Помпей не погиб в устье Нила. Но в конце концов он увидел свой путь к честности, как, думаю, и всегда. Он сообщает своему другу, что Сезар послал к нему своего доверенного посланника Бальбуса. Речь идет о том, должен ли он противостоять некоему аграрному закону, который он не одобряет, но который поддерживают и Помпей, и Цезарь, или уйти в отставку и наслаждаться жизнью на своих загородных виллах, или смело остаться в Риме и противостоять закону. Цезарь заверяет его, что если он перейдет к ним, то Цезарь будет всегда верен ему и Помпею и сделает все возможное, чтобы привести Красса в то же расположение духа. Затем он подсчитывает все блага, которые ему достанутся: "Ближайшая дружба с Помпеем и с Цезарем, если он того пожелает; улаживание всех ссор с врагами; популярность в народе; облегчение наступающей старости. Но меня останавливает тот вывод, к которому я пришел в своей третьей книге".²³⁸ Затем он повторяет строки, приведенные в нижеследующем примечании, которые он написал, вероятно, в этом же году, в стихотворении, сочиненном в честь собственного консульства. Сами по себе строки не величественны, но дух их великолепен: "Придерживайтесь доброго дела, которое в ранней юности вы выбрали для себя, и будьте верны партии, которую вы сделали своей". "Мне ли сомневаться, когда сама муза так написала", - говорит он, ссылаясь на имя Каллиопа, данное этой его третьей книге. Затем он добавляет строчку из Гомера, очень подходящую к случаю:²³⁹ "Ни одно предсказание на будущее не может быть лучше для тебя, чем то, которое велит тебе служить своей стране". "Но, - говорит он, - обо всем этом мы поговорим, когда вы приедете ко мне на каникулы. Ванна для вас будет готова, сестра и мать примут участие в празднике". И вот сомнения разрешились.

Теперь перейдем к вопросу о трибунстве Хлодия, в связи с которым я процитирую отрывок из Миддлтона, , потому что фраза, которую он использует, точно объясняет цели Цезаря и Помпея.

60 г. до н. э., æтат 47.

"Клодий, который все это время придумывал, как отомстить Цицерону, теперь начал приводить в действие план, который он разработал для этой цели. Его замысел состоял в том, чтобы избрать себя трибуном и, заняв этот пост, изгнать его из города, издав закон, который он надеялся навязать народу с помощью той или иной уловки. Но поскольку все патриции не могли быть трибунами по своему первоначальному установлению, первым его шагом было сделать себя плебеем под предлогом усыновления в плебейский дом, что еще нельзя было сделать без права голоса народа. Это дело было совершенно новым, противоречило всем формам, желая соблюсти все условия и не служа ни одной из целей, которые требовались при обычном усыновлении, так что при первом же предложении оно показалось слишком экстравагантным, чтобы относиться к нему серьезно, и вскоре было бы с презрением отвергнуто, если бы его не согласовали и не поддержали в частном порядке люди гораздо более влиятельные, чем Клодий. Цезарь стоял у ее истоков, а Помпей тайно поддерживал ее - не то чтобы они намеревались погубить Цицерона, но лишь держать его под ударом, а если не удастся привлечь его к своим мерам, то заставить его хотя бы сидеть тихо, а Клодия отпустить на волю".[240](#)

Таковы, несомненно, были намерения политических лидеров Рима при таком развитии событий. Осторожно заманить Цицерона в сети, чтобы он стал одним из них, оказалось невозможно. Если он будет спокойно жить на своей антианской или тускуланской вилле, среди своих книг и трудов, к нему будут относиться со всем уважением; его будут терпеть, даже если он будет так много говорить о своем консульстве. Но если он вмешивается в политику дня, не желая попасть в сети, с ним нужно разобраться. Похоже, что Цезарь всегда уважал Цицерона и даже симпатизировал ему; но он не хотел мириться с "другом" в Риме, который изо дня в день злоупотреблял всеми его проектами. Защищая Антония, македонского проконсула, который был осужден, Цицерон сделал несколько неприятных замечаний о тогдашнем положении вещей. Как нам рассказывают, Цезарь, узнав об этом, в тот же миг добился, чтобы Клодия приняли в плебеи.

Все это напоминает нам об абсолютной истинности вердикта Моммзена в отношении Рима, который я уже неоднократно цитировал: "О римской олигархии этого периода нельзя вынести никакого приговора, кроме одного - неумолимого и беспощадного осуждения". Как получилось, что Цезарь обладал способностью внезапно превращать эдикт в закон, будь то во благо или во зло? Цицерон описывает произошедшее следующим образом:[241](#) "Около шестого часа дня, когда я защищал в суде своего коллегу Антония, я воспользовался случаем, чтобы пожаловаться на некоторые вещи, которые делались в Республике и которые, как я думал, были вредны моему бедному клиенту. Некие нечестные люди донесли мои слова до власть имущих, - имея в виду Цезаря и Помпея, - правда, не мои собственные, а совсем другие. В девятом часу того же дня ты, Хлодий, был принят в плебеи". Цезарь, получив понять, что Цицерон делает себе неприятные вещи, решил не мириться с этим. Суетоний рассказывает ту же историю с восхитительной простотой. О Суетонии следует сказать, что, если он не испытывал симпатии к такому патриоту, как Цицерон, у него не было и желания изображать в радужных тонах деспотизм Цезаря. Он рассказывает свои истории просто так, как он их слышал. "Цицерон, - рассказывает Суетоний,[242](#) , - на каком-то заседании суда пожаловался на состояние времени, и в тот же день, в девятом часу, Цезарь перевел Хлодия из патрициев в плебеи, в соответствии со своим собственным желанием". Как получилось,

что Сезар, который, хотя и был в то время консулом, не обладал признанной властью такого рода, оказался способным на такое дело? Потому что Республика пришла в состояние, которое описал немецкий историк. Заговор между Сезаром и его подчиненными не был составлен просто так. Читатель должен знать, почему Хлодий желал унижения и как получилось, что это унижение стало роковым для Цицерона. Эта история была частично рассказана в отрывке из Миддлтона. Патриций, согласно конституции, не мог быть народным трибуном. С самого начала существования трибуната эта должность была зарезервирована за плебеями. Но трибун обладал правом вводить законы, которое превосходило полномочия любого сенатора или любого другого должностного лица. "Они приобрели право, - говорится в "Словаре греческих и римских древностей" Смита, - предлагать трибунской комиссии или сенату меры почти по всем важным делам государства"; и в то время ни один трибун не мог наложить "вето" или произвольно остановить предложение другого. Когда такое предложение вносилось, народ просто должен был решить своим голосованием, должно ли оно стать законом или нет. В данном случае речь шла о том, чтобы неожиданно внести и провести предложение, касающееся Цицерона, которое, во всяком случае, должно было остановить его речи. Лучше всего это мог сделать народный трибун. Другого подходящего трибуна найти не удалось - ни один плебей не был настолько разгневан против Цицерона, чтобы согласиться на это, и в то же время обладал достаточной властью, чтобы быть избранным. Поэтому Клодий так стремился к деградации.

Ни один патриций не мог стать народным трибуном; но патриций мог быть усыновлен плебеем, и усыновленный ребенок получал звание своего отца - фактически, по всем правовым нормам, он становился таким же, как сын. Для этого в любом случае должен был быть принят закон - или, другими словами, получено и зарегистрировано согласие народа. Но для этого необходимо было соблюсти множество условий. Отец, намеревающийся усыновить ребенка, не должен иметь собственного сына и должен быть уже в том возрасте, когда он мог бы надеяться на его рождение; приемный сын должен быть подходящего возраста, чтобы стать сыном - во всяком случае, должен быть моложе отца; не должно быть сделано ничего вредного для обеих семей; в этом не должно быть никакой хитрости, никакого стремления к иному результату, чем тот, который явно предполагается. Все эти условия были нарушены. У мнимого отца, Фонтея, была своя семья, и он был моложе Клодия. Великий род Клавдиев был осквернен, и не было человека настолько невежественного, чтобы не знать, что целью было вступление в трибунат обманным путем. Согласно общему закону, Священная коллегия должна была докладывать о соблюдении предписанных правил, но ни с одним священником так и не посоветовались. Тем не менее Клодия приняли, сделали плебеем и в течение года избрали трибуном.

Читая все это, читатель в первую очередь поражается удивительной смеси беззакония и законопослушной стойкости. Если Сезар, который уже становился тираном во время своего консульства, решил использовать это средство, чтобы заставить Цицерона замолчать, то почему бы не заставить Хлодия стать трибуном без столь ложной и унижительной церемонии? Но если, как это, несомненно, было, он еще не был достаточно силен, чтобы игнорировать старые народные чувства по этому вопросу, как получилось, что он мог смеяться в рукаве над законами, выходить в одно мгновение и заставлять народ голосовать, законно или незаконно, так, как ему заблагорассудится? Не нужно быть фокусником, чтобы сказать нам причину. Внешняя оболочка и шелуха остаются, когда богатый плод уже убран. Именно в том, чтобы видеть это, но не верить в то, что так и должно быть, и заключалась мука жизни Цицерона. Не могло быть никакой надежды на свободу, никакой надежды на Республику, когда Рим управлялся так, как во время консульства Цезаря; но Цицерон все

еще мог надеяться, хотя и слабо, и все еще подбадривал себя воспоминаниями о годе своего правления.

Продолжая рассказ о новопринятом ребенке до его избрания трибуном, я вышел за рамки времени моего повествования, чтобы читатель мог понять причину, характер и последствия гнева, который Клодий питал к Цицерону. Она возникла из-за горьких слов, сказанных по поводу осквернения *Bona Dea*, и привела к тому, что Цицерон оказался в изгнании, а также к другим неприятным событиям в его жизни. В 60 году до н. э., когда консулами были Метелл Целер и Афраний, Клодий был привлечен к суду за оскорбление *Bona Dea*, и был учрежден так называемый Триумвират. Уже было показано, что Цицерон, не без сомнений, отверг первые предложения присоединиться к объединенным силам. Похоже, что большую часть этого года он провел в Риме. Только одно письмо было написано из страны, Аттику, с его тускуланской виллы, и оно не имеет особого значения. Он проводил время в городе, продолжая заниматься политикой того времени; хотя он и боялся сближения Сезара, Помпея и Красса - этих "могильных дружб", которые должны были стать столь пагубными для всех, кто был в них вовлечен, - он еще мало предвидел то зло, которое должно было обрушиться на его собственную голову. Он отнюдь не был праздным в отношении литературы, хотя мы имеем лишь немного из того, что он написал, и не жалею о том, что потеряли. Он написал мемуары о своем консульстве на греческом языке, которые послал Аттику со ссылкой на свое собственное использование иностранного языка, чтобы показать, что он совершенно спокоен в этом вопросе. Аттикус послал ему мемуары, также написанные по-гречески, на ту же тему, и эти два пакета пересеклись в пути. Он откровенно говорит Аттику, что его попытка кажется "*horridula atque incompta*", грубой и неотшлифованной; в то время как Посидоний, великий греческий критик с Родоса, приглашенный им, Цицероном, прочитать мемуары, а затем и самому заняться тем же предметом, ответил, что его полностью отстраняет от такой попытки превосходство исполнения его корреспондента.²⁴³ Он также написал три книги поэмы о своем консульстве и послал их Аттику; из них мы имеем фрагмент из семидесяти пяти строк, процитированный им самим,²⁴⁴ и еще четыре или пять строк, включая тот злополучный стих, переданный Квинтилианом: "*O fortunatum natam me consule Romam*" - если, конечно, это не подделка, как предполагает этот прекрасный критик и сердечный друг оратора, М. Герольт. До этого он выпустил в гекзаметрах также перевод "Прогностики" Арата. Это вторая часть поэмы о небесных телах, первая часть, *Phaenomena*, была переведена им на латинский язык в восемнадцать лет. Из "Прогностики" мы имеем только несколько строк, сохраненных Присцианом, и отрывок, повторенный автором также в его "*De Divinatione*". Я думаю, что Цицерон был способен создать поэму, вполне достойную сохранения; но в работе этого года выбранные темы не были привлекательными.

до н. э. 60, этат 47.

Среди его посланий этого года есть одно, которое само по себе могло бы стать достаточным для того, чтобы донести его имя до потомков. Это длинное письмо, полное советов, адресованное его брату Квинту, который в предыдущем году отправился управлять провинцией Азия в качестве пропретора. Можно сказать, что добрый совет никогда не был так востребован, а лучшего совета и быть не могло. Высказывалось предположение, что он был написан как дополнение к тому трактату об обязанностях кандидата, который Квинт составил для службы своему брату при выдвижении его кандидатуры на пост консула. Но я не могу согласиться с такой аналогией. В сочинении, приписываемом Квинту, содержались советы, одинаково подходящие любому кандидату, вышедшему из народа и стремящемуся подняться до высоких почестей в государстве. Это письмо приспособлено не только к

особому положению Квинта, но и к особенностям его характера, и сила его в том, что, хотя один брат хвалит другого, справедливо хвалит его, как я полагаю, за многие достоинства, чтобы сделать получение его приемлемым, оно указывает на недостатки, которые станут роковыми, если их не исправить, причем языком не только сильным, но и непререкаемым.

Стиль этого письма, несомненно, сильно отличается от стиля писем Цицерона в целом - настолько, что читатель может предположить, что оно было написано специально для публикации, в то время как ежедневная корреспонденция пишется *"currente calamo"*, не имея иной цели, кроме как развлечь, наставить или, возможно, утешить корреспондента. Отсюда и пошло сравнение между ним и трактатом *De Petitione Consulatus*. Я думаю, что изменение стиля было вызвано серьезностью случая, а не заботой о потомках. Цицерон считал необходимым убедить брата остаться на своем посту, не бросать управление в отвращении и так держать себя, чтобы не сделать себя абсолютно одиозным для своих подчиненных и окружающих его римлян; ведь Квинт Цицерон, хотя и был гордым, высокомерным и вспыльчивым, не прославился обычной римской склонностью к грабежу своей провинции "Что требуется от тебя как от правителя?"²⁴⁵ спрашивает Цицерон. "Чтобы люди не пугались твоих поездок туда и сюда, чтобы их не съедала твоя расточительность, чтобы их не беспокоило твое появление среди них - чтобы при твоём приближении была радость; чтобы каждый город думал, что к нему пришел его ангел-хранитель, а не жестокий хозяин, чтобы каждый дом чувствовал, что перед ним не грабитель, а друг. Практика сделала вас совершенным в этом. Но мало того, что ты сам оказываешь эти добрые услуги, ты должен позаботиться о том, чтобы каждый из тех, кто прибудет с тобой, казалось, делал все возможное для жителей провинции, для гражданина Рима и для Республики". Я хотел бы привести это письмо полностью - как на английском языке, чтобы все читатели знали, насколько велики преподаваемые заповеди, так и на латыни, чтобы те, кто понимает язык, могли оценить красоту слов, - но я не осмеливаюсь заполнять свои страницы таким объемом. Чуть дальше он излагает свое представление о долге всех тех, кто имеет власть над другими - даже над бессловесными животными.²⁴⁶ "Мне кажется, что долг тех, кто имеет власть над другими, состоит в том, чтобы сделать тех, кто находится под их властью, настолько счастливыми, насколько это позволяет природа вещей. Все знают, что вы действовали по этому принципу с тех пор, как впервые отправились в Азию". Это, боюсь, следует воспринимать как лесть, призванную позолотить пилюлю, которая идет следом: "Это обязанность не только того, кто имеет под своим началом союзников и граждан, но и того, кто имеет под своим началом рабов и даже бессловесный скот, - он должен заботиться о благополучии всех, над кем он занимает положение хозяина!" Пусть читатель посмотрит на это и спросит себя, какие заповеди христианства когда-либо превосходили это.

Затем он указывает на то, что, по его мнению, является одной из главных трудностей в карьере римского провинциального губернатора.²⁴⁷ Сборщики налогов, или *"publicani"*, принадлежали к конному ордену. Это занятие - сбор налогов - было их богатой привилегией на протяжении более чем столетия, и, как говорит Цицерон далее в своем письме, невозможно было не знать, с какими трудностями они будут обращаться с греческими союзниками, когда об их жестокости ходило столько историй даже в Италии. Если бы Квинт выступил против этих сборщиков налогов, он сделал бы их враждебными не только Республике, но и себе, а также своему брату Марку; ведь они принадлежали к конному ордену и были особо связаны с этими *"publicani"* семейными узами. Далее он намекает, что греков легче научить быть покорными, чем сборщиков налогов - быть умеренными. В конце концов, где бы были греки Азии, если бы у них не было римского господина, который мог бы обеспечить им защиту? Он оставляет дело в руках своего брата, советуя ему сделать все возможное как с одной, так и с другой стороны. Если возможно, пусть сдерживают жадность

"publicani"; но пусть союзника научат понимать, что в мире могут быть методы, худшие, чем римское налогообложение. Вряд ли стоило бы останавливаться на этой части советов Цицерона, если бы она не давала представление о том, как Рим облагал налогами своих подданных.

После этого он начинает ту часть письма, ради которой мы не можем не верить, что оно было написано целиком. "Есть одна вещь, - говорит он, - которую я никогда не перестану вдалбливать вам в уши, потому что мне невыносимо думать, что среди похвал, которыми вас осыпают, найдется дело, в котором вы окажетесь несостоятельными. Все, кто приезжает к нам сюда" - все, кто приезжает в Рим из Азии, то есть - "когда они говорят нам о вашей честности и доброте сердца, они также говорят нам, что вы не в ладах со своим нравом. Это порок, который в повседневных делах частной жизни свидетельствует о слабости и нелюдимости духа; но не может быть ничего столь убогого, как проявление слабости натуры у тех, кто возвысился до начальственного сана". Он не будет, продолжает он, утруждать своего брата повторением всего, что сказали мудрецы по поводу гнева; он уверен, что Квинт хорошо знаком со всем этим. Но разве не жаль, когда все люди говорят, что нет ничего приятнее Квинта Цицерона, когда в хорошем настроении тот же самый Квинт позволяет себе такие провокации, что о его недостатке добрых манер сожалеют все вокруг? "Я не могу утверждать, - продолжает он, - что, когда природа создала определенное состояние ума, а годы укрепили его, человек может изменить все это и вырвать из самого себя привычки, выросшие в нем; но я должен сказать тебе, что если ты не можешь полностью отказаться от этого зла, если ты не можешь защитить себя от чувства гнева, все же ты должен подготовить себя, чтобы быть готовым к нему, когда оно придет, чтобы, когда твоя душа внутри тебя разгорится, твой язык, по крайней мере, мог быть сдержан". Затем, в конце письма, следует братское увещевание, которое, несомненно, очень хорошо: "Поскольку случай бросил на мой путь обязанности официальной жизни в Риме, а на твой - управление провинцией, если я, выполняя свою работу, был непревзойденным, не видишь ли ты, что и ты в своей можешь быть столь же эффективным". Как здорово, от старшего брата к младшему! "И помни, что мы с тобой не должны стремиться к какому-то еще недостигнутому совершенству, но должны быть начеку, чтобы охранять то, что уже завоевано. Если я окажусь в чем-то разделенным с вами, я не должен желать дальнейшего продвижения в жизни. Если ваши дела и слова не будут идти в ногу с моими, я буду чувствовать, что ничего не достиг всеми трудами и опасностями, которые мы с вами преодолели вместе". В конце концов брат оказался бедным, завистливым, невоспитанным существом - умственно одаренным, способным позаимствовать кое-что от более благородной натуры брата; но когда начались борьба, политические распри и необходимость оглядываться, чтобы понять, на чьей стороне безопасность, он готов был пожертвовать братом ради безопасности. Но до сих пор Марк был готов верить во все хорошее о Квинте; сделав себе и своей семье великое имя, он хотел разделить его с братом и, как мы увидим впоследствии, с сыном брата и со своим собственным. В этом он потерпел неудачу. Он дожил до того времени, когда узнал, что потерпел неудачу в отношении своего брата и племянника. Однако к его страданиям не прибавилось то, что он дожил до того момента, когда узнал, как мало его сын сделал для поддержания чести своей семьи.

Несколько лет назад в томе, где я читал это послание, я обнаружил приписку: "Наверное, самое прекрасное письмо из когда-либо написанных". Перечитав его впоследствии, я добавил еще одну запись: "Язык совершенно не похож на язык его обычных писем". Сейчас я не разделяю ни восторженных похвал, ни более осторожной критики. Письмо исходило из сердца человека - искреннего, привязанного, полного тревожного, братского долга, но написанного изустным языком, соответствующим, как считал Цицерон, необходимости и достоинству случая.

Следующий год был годом первого консульства Цезаря, которое он занимал вместе с Бибулом, человеком, совершенно противоположным ему по мыслям, характеру и действиям. Эти два великих офицера были настолько враждебны друг другу, что один пытался отменить все, что делал другой. Бибул был избран подкупом от имени сената, чтобы стать противовесом Сезару. Но теперь Сезар был не только Сезаром: он был Сезаром, Помпеем и Крассом, вместе взятыми, со всеми их зависимыми, всеми их клиентами, всеми их жадными прихлебателями. Чтобы придать этому договору прочность семейного союза, Помпей, которому было уже почти пятьдесят лет, взял в жены дочь Цезаря Юлию, которая была на четверть века младше его. Но Помпей был человеком, который умел располагать к себе женщин, и, по общему мнению, если бы Юлия не умерла при родах, дружба между ними была бы более прочной. Но для целей Сезара хватило и этого года, и следующего. Бибул был посмешищем, всего лишь тенью консула, когда противостоял такому врагу. Он пытался использовать все старые формы республики, чтобы остановить Сезара в его карьере; но Сезар только высмеял его, и Помпей, хотя мы можем представить, что он не очень-то смеялся, поступил так, как хотел Сезар. Бибул был авгуром и наблюдал за небом, когда происходили политические маневры, которые он хотел остановить. Это была старая римская система использования религии в качестве препятствия для прогрессивных движений. Ни одно государственное дело не могло быть продолжено, если небеса были объявлены неблагоприятными; а авгур всегда мог сказать, что небеса неблагоприятны, если ему было угодно. Это был признанный конституционный способ препятствования, вполне отвечавший чувствам народа. Помпей в одиночку или Красс с ним, несомненно, подчинились бы авгуру; но Сезар был выше авгуров. Что бы он ни решил провести, он проводил, приближаясь к конституционным обычаям, но отступая от них настолько, насколько считал нужным.

Каково было состояние жителей Рима в то время, трудно узнать из противоречивых высказываний историков. Мы знаем, что Цицерон до недавнего времени был популярен. Нам говорят, что Бибул был популярен, когда выступал против Сезара. Я сомневаюсь, что до этого времени Сезар достиг больших успехов в личной популярности. Однако мы узнаем, что, когда Бибул вместе с Катонем и Лукуллом попытались выполнить свои конституционные угрозы, их тащили и били, а одного из них чуть не убили. Незаконность действий Цезаря не вызывает сомнений. "Трибунское вето было наложено; Сезар довольствовался тем, что проигнорировал его".²⁴⁸ Это цитата из немецкого историка, который хочет создать впечатление, что Сезар был великим и мудрым во всем, что он делал; он также рассказывает нам об "упрямом, слабом существе Бибуле" и "догматическом глупце Катоне". Сомневаюсь, что здесь было что-то настоящего народного брожения или что были какие-то волнения, кроме тех, что устраивали "грубияны", которые за плату примыкали к Сезару, Помпею, Крассу или, в зависимости от обстоятельств, к Бибулу и другим лидерам. Насилие не сводилось к тому, чтобы "почти" убить того или иного человека. Некоторые римские уличные бои, несомненно, были более кровавыми - например, тот, в котором семь лет спустя Хлодий был убит Милоном, - но кровь лилась не из народа, а из рук наемных бродяг. Римские граждане того времени, как мне кажется, были очень спокойны. Ни гордость, ни страдания не вызывали у них особого волнения. Понимая это, Сезар знал, что может не обращать внимания на Бибула и его предсказания до тех пор, пока у него в окружении есть банда грубиянов, достаточная для решения текущих задач. Именно для того, чтобы он мог одержать верх, и была создана коалиция с Помпеем и Крассом. Его коллега Бибул, видя, как идут дела, удалился в свой дом и устроил там фарс с консульскими постановлениями. Сезар осуществил все задуманное, и народ, довольный, смеялся, разделяя его на две персоны и говоря о Юлии и Сезаре как о двух консулах года. Таким образом, он добился того, что народ

выделил ему нерегулярное командование в Галлии. Он должен был стать проконсулом не на один год, с возможным продлением на два или три, а на установленный срок в пять лет. Ему должна была принадлежать великая провинция Цизальпинская Галлия - то есть вся территория, которую мы сейчас называем Италией, от подножия Альп до линии, проходящей от моря до моря к северу от Флоренции. Впоследствии к ней была добавлена Трансальпийская Галлия. Провинция с таким названием, которой в то время владели римляне, называлась "Нарбоненсис", это была сравнительно небольшая страна, простиравшаяся от Альп до Пиренеев вдоль Средиземного моря. Галлия или Галлия, о которой говорит Сезар, когда в первых словах своего Комментария сообщает, что она была разделена на три части, находилась за пределами выделенной ему римской провинции. Вряд ли, приступая к управлению страной, Цезарь мог мечтать о том, чтобы подчинить римскому владычеству обширные территории, которые тогда назывались Галлией, находились за границами империи и которые мы сегодня называем Францией.

Но его поддерживала огромная армия. Три легиона были размещены по италийскую сторону Альп, а один - по другую. Все они должны были находиться под его командованием в течение пяти лет и составляли не менее тридцати тысяч человек. "Поскольку в самой Италии по конституции не могло быть размещено никаких войск, командуя легионами Северной Италии и Галлии, - говорит Моммзен, - в течение следующих пяти лет господствовал одновременно над Италией и Римом; и тот, кто был господином в течение пяти лет, становился господином на всю жизнь".²⁴⁹

59 г. до н. э., аетат 48.

Таково было состояние Рима во время второго года триумvirата, когда Цезарь был консулом и подготовил почву для власти, которую он впоследствии осуществлял. Цицерон не явился на его призыв, и поэтому, как нам рассказывают, на него был напущен Клодий. Поскольку он не явился на призыв Цезаря, его пришлось подавить, и Клодий, несмотря на все конституционные трудности, а может быть, и невозможности, стал народным трибуном. Теперь дела с Сезаром продвинулись настолько далеко, что от Цицерона, который не пришел на его призыв, пришлось избавиться каким-то образом.

Пока мы не поразмыслим над этим вопросом, пока не разберемся в нем досконально, у нас не возникнет соблазна удивиться слепоте Цицерона. Конечно, столь одаренный человек должен был достаточно знать о состоянии Рима, чтобы понимать, что в нем не осталось места ни для одного честного, патриотического, конституционного политика. Разве не было для него очевидно, что если, "рожденный для справедливости", он не может заставить себя служить с теми, кто намеревался отбросить Республику, то ему лучше удалиться среди своих книг, бюстов и литературной роскоши и оставить управление страной тем, кто понимает ее народ? И мы тем более склонны говорить и думать все это, что сам человек постоянно говорил это и постоянно думал об этом. В одном из писем, написанных в начале года²⁵⁰ Аттику с его виллы в Антии, он очень откровенно рассказывает о том, как обстоят дела с ним; и это тоже в письме, написанном в добром настроении, а не в унынии, в котором он может приятно высмеять своего врага Клодия, который, кажется, выразил желание отправиться с посольством к Тиграну, царю Армении. "Не думайте, - говорит он, - что я жалею на все это, потому что сам желаю заниматься государственными делами. Даже когда я сидел за штурвалом, я уставал от этой работы; но теперь, когда я действительно изгнан с корабля, когда руль не брошен, а выхвачен из моих рук, какое мне удовольствие смотреть с берега на обломки, которые наделали эти другие лоцманы?" Но изучение человеческой природы говорит нам, да и весь опыт, что люди не способны понять свои собственные желания и не могут управлять собой с помощью мудрости, которая находится на кончиках их пальцев.

Уходящий в отставку премьер-министр не может не тосковать по печатям, лентам и титулам, даже если его душа способна возвыситься над соображениями выгоды, и в его разум закрадывается мысль, что, хотя исправить злоупотребления из других источников невозможно, если бы он снова был там, зло можно было бы хотя бы смягчить, возможно, вылечить. Так было и с Цицероном в этот период его жизни. Он верил, что политическая справедливость, осуществляемая им самим, при той помощи, которую могло бы оказать его красноречие, может оказаться действенной для сохранения Республики, несмотря на Сезара, Помпея и Красса. Он еще не верил, что эти люди согласятся на такое злодеяние, как его изгнание. Ему казалось невероятным, чтобы Помпей согласился на это. Когда удар был нанесен, он на время сокрушил его. Но он перестроился и боролся до конца, как мы увидим, если проследим его жизнь до конца.

Такова была цель деградации Хлодия. Однако она не была объявлена сразу. Говорили, что Клодий как трибун скорее собирался противостоять Цезарю, чем помогать ему. Во всяком случае, он хотел, чтобы Цицерон так считал, и послал Курио, молодого человека, к которому Цицерон был привязан, навестить оратора на его вилле в Антиуме и объявить об этих дружеских целях. Согласно истории, рассказанной Цицероном,²⁵¹ Клодий был готов выступить против триумvirата; а другие молодые люди Рима, *молодежь*, к которой принадлежали и Курио, и Клодий, были, как говорили, одинаково враждебны Сезарю, Помпею и Крассу, чьи дела, противоречащие конституции, были уже достаточно очевидны; поэтому Цицерону было выгодно верить, что против них выступит поднимающаяся аристократия Рима. Но аристократию Рима, будь то старая или молодая, не волновало ничего, кроме своих рыбных прудов и развлечений.

Цицерон проводил большую часть года вне Рима, на своих различных виллах - в Тускулануме, Антиуме и Формии. Суть всех его писем в этот период одинакова - он жалуется на состояние Республики, и особенно на предательство своего друга Помпея. Хотя в его тоне много уныния, в нем достаточно и высокого духа, чтобы мы почувствовали, что его литературные устремления, хотя и перемешанные с политическими стенаниями, не являются чем-то из ряда вон выходящим. Скоро наступит время, когда его доверие даже к литературе на какое-то время подведет его.

В начале года он заявляет, что хотел бы принять миссию в Египет, предложенную ему Цезарем и Помпеем, отчасти для того, чтобы на время уехать из Рима, а отчасти для того, чтобы римляне почувствовали, как плохо они могут обходиться без него. Затем он впервые, насколько мне известно, использует строку из "Илиады",²⁵² которая повторяется им снова и снова, частично или полностью, чтобы обозначить сдержанность, которую накладывает на него его собственный высокий характер среди сограждан. "Я бы отправился в Египет на эту приятную экскурсию, но боюсь, что скажут обо мне мужчины Трои и троянские женщины в своих широких одеждах". А что, спрашивает он, сказали бы люди из нашей партии, "оптиматы", и что сказал бы Катон, чье мнение для меня важнее, чем мнение их всех? И как об этом расскажет история в будущие века? Но он хотел бы отправиться в Египет, и он подождет и посмотрит". Затем, после различных вопросов к Аттику, следует тот великий вопрос об авгурстве, о котором так много говорили враги Цицерона: "quo quidem uno ego ab istis capere possim". Несколькими строками выше он говорил о другой приманке - миссии в Египет. Он обсуждает ее со своим другом, а затем продолжает в своей полушутливой фразе: "Но это была бы настоящая вещь, чтобы поймать меня". Его ничто не поймало. Он был непоколебим на протяжении всего времени, не принимая от заговорщиков ни одного предложения места, которое могло бы запятнать его честность или честь. То, что это так, было хорошо известно истории еще во времена Квинтилиана, чье свидетельство о

"repudiatus vigintiviratus" - его отказе от места среди двадцати комиссаров - уже цитировалось.²⁵³ И все же биографы пишут о нем как о человеке, готовом продать свою честь, свои взгляды и содружество за "жалкую взятку"; не потому, что он так поступил, не потому, что он пытался это сделать, а потому, что в полушутливом письме к другу своей груди он сообщает своему другу, в какую сторону лежат его вкусы!²⁵⁴

Он подумывал написать книгу по географии и советовался с Аттикусом по этому поводу; но в одном из писем он сообщает другу, что отказался от этой идеи. Тема слишком скучна, и если бы он занял одну сторону в существующем споре, то непременно попал бы под удары критиков с другой стороны. Он наслаждается отдыхом в Антиуме и считает его гораздо лучшим местом, чем Рим. Если погода не позволяет ему ловить рыбу, то, во всяком случае, он может считать волны. Во всех этих письмах Цицерон задает вопросы о своих деньгах и личных делах; возможно, о починке стены, и добавляет что-то о жене, дочери или сыне. Он едет из Антии в Формию, но должен вернуться в Антию к определенному сроку, потому что Туллия хочет посмотреть на игры.

Затем он снова ссылается на Хлодия. Помпей заключил с Хлодием договор - так, по крайней мере, слышал Цицерон, - что он, Хлодий, если будет избран в трибуны, не сделает ничего, что могло бы повредить Цицерону. Уверения о таком договоре, несомненно, были распространены для успокоения Цицерона; но не предполагалось, что этот договор будет соблюден, если Цицерон не будет уступчив, не примет некоторые из предложенных ему благ или, во всяком случае, не будет держать себя в руках. Но Цицерон надеется, что такой договор не будет соблюден. Он постоянно дает прозвища Помпею, который во время своего восточного похода взял Иерусалим, а теперь пародирует Африканца, Азиатика и Македонянина Сципионов и Метеллов. "Если этот иерусалимский кандидат на популярность не сдержит данное мне слово, я буду очень рад. Если он оплатит мне за мои речи от его имени" - например, за *Anteponatur omnibus Pompeius* - "я сыграю ему такой ход, что он запомнит его".²⁵⁵

Он начинает понимать, что делает "Триумвират" с Республикой, но еще не догадывается о том, какой удар должен обрушиться на него самого. "Они идут очень весело, - говорит он, - и не поднимают столько шума, как можно было бы ожидать".²⁵⁶ Если бы Катон был более бдителен, дело не пошло бы так быстро; но нечестность других, которые позволили игнорировать все законы, оказалась хуже Катона. Если раньше мы считали, что сенат слишком много на себя берет, то что мы скажем, когда эта власть перешла не к народу, а к трем совершенно беспринципным людям? "Они могут назначать кого хотят консулами, кого хотят трибунами - так что под одеждой священника они могут спрятать самый зоб Ватиния". Что касается его самого, то, по словам Цицерона, он будет довольствоваться своими книгами, если только Хлодий позволит ему это; если нет, то он будет защищаться сам.²⁵⁷ Что касается его страны, то он сделал для нее больше, чем от него хотели; и он считает, что лучше оставить штурвал в руках лоцманов, пусть даже некомпетентных, чем самому управлять кораблем, когда пассажиры так неблагодарны. Затем мы видим, что он лишает бедную Туллию обещанного удовольствия от игр, потому что появление на них будет ниже его достоинства. Он всегда с нетерпением ждет писем от своего друга, от них зависят новости и развлечения. "Мой гонец сейчас же вернется, - говорит он в одном из них, - поэтому, хотя ты и сам скоро приедешь, отправь мне тяжелое письмо, полное не только новостей, но и своих собственных мыслей".²⁵⁸ В другом: "Цицерон Малый шлет приветствие, - говорит он по-гречески, - Титу Афинскому" - то есть Титу Помпонию Аттику. Греческие буквы, вероятно, были начертаны ребенком на коленях отца, когда Цицерон держал перо или стилос. В другом письме он заявляет, что там, в Формиях, имя Помпея Магнуса не более

почитаемо, чем имя Дивеса, принадлежащее Крассу. В следующем письме он называет Помпея Сампсицером. Из Иосифа мы узнаем, что во времена Вителлия на Востоке жила некая дама, дочь Сампсигерама, царя эмеев. Возможно, это царская фамилия.²⁵⁹ Выбрав этот абсурдный титул, он снова смеется над своим лидером. Помпей, вероятно, хвастался своими делами с тогдашним Сампсигерамом и иерусалимскими священниками. "Когда этот наш Сампсицерам узнает, как плохо о нем говорят, он бросится в революцию". Он жалуется, что не может ничего сделать в Формиз из-за посетителей. Ни один английский поэт не подвергался такому натиску американских поклонников. Они приходили в любое время суток, в количестве, достаточном для того, чтобы заполнить храм, не говоря уже о доме джентльмена. Как он может писать что-либо, требующее досуга, в таком состоянии? Тем не менее он пытается что-то написать. Он продолжает критиковать все, что делается в Риме, особенно то, что делает Помпей, который, несомненно, грустно колебался между Сезаром, к которому он был привязан, и Бибулом, другим консулом, к которому он должен был быть привязан, поскольку по природе своей был аристократом. Он ни на минуту не может оторвать свое перо от государственных дел; с другой стороны, он не может удержаться от заявления, что полностью, безраздельно посвятит себя литературе. "Поэтому, о мой Тит, позволь мне успокоиться на этих славных занятиях и вернуться к тому, что, будь я мудр, никогда бы не оставил".²⁶⁰ Через день или два после этого он пишет с того же места, спрашивая, что говорит о нем Арабарх. Арабархис - другое имя Помпея, этого арабского вождя.

В начале лета этого года Цицерон вернулся в Рим, , вероятно, чтобы успеть повидаться с Атикком, который в то время собирался покинуть город и отправиться в свои владения в Эпире. У нас есть письмо, написанное им своему другу во время путешествия, в котором он рассказывает, что Цезарь сделал ему два разных предложения, очевидно, с целью избавиться от него, но таким образом, чтобы это было выгодно самому Цицерону.²⁶¹ Цезарь просит его отправиться с ним в Галлию в качестве его лейтенанта или, если это его не устроит, принять "свободное легатство ради выплаты оброка". Это была своего рода работа, с помощью которой римские сенаторы отправлялись в частные путешествия со всеми положенными сенатору, отправляющемуся по государственному делу. У нас есть его аргументы в пользу обоих вариантов. В других местах он возражает против "libera legatio" как против работы.²⁶² Здесь он лишь указывает на то, что, хотя это и обеспечит его отсутствие в Риме в неприятное для него время - как раз тогда, когда его брат Квинт должен был вернуться, - это не даст ему той защиты, в которой он нуждается. Даже если бы он путешествовал по миру в качестве сенатора с притворным посольством, он все равно был бы открыт для нападков Клодия. Он обязательно должен был бы отсутствовать или не пользоваться своими привилегиями, но само его отсутствие ослабляло бы его позиции; в то время как, будучи назначенным лейтенантом Цезаря, ему не нужно было бы сразу покидать город, и в таком положении он был бы в полной безопасности от всего, что мог бы сделать ему Клодий или другие враги.²⁶³ Ни одно обвинение не могло быть выдвинуто против римлянина, пока он находился на службе у государства. Кроме того, оценивая эти предложения, следует помнить, что и то, и другое, да и вообще все предложения, сделанные ему в то время, считались весьма почетными, поскольку Рим тогда существовал. "Свободное представительство" - "libera legatio voti causa" - не имело никакого отношения к партиям. Несомненно, это была работа, и в руках обычного римского аристократа она могла быть очень обременительной для провинциалов, среди которых мог путешествовать привилегированный сенатор; но она не предполагала партийной принадлежности. В данном случае она предназначалась лишь для того, чтобы гарантировать отсутствие человека, который мог бы доставить неприятности в Риме. Другим вариантом было предложение настоящей работы, в которой политика не имела никакого значения. На такую должность

согласился Квинт, брат нашего Цицерона, и, выполняя возложенные на него обязанности, он подвергся страшной опасности, будучи почти уничтоженным галлами в своем зимнем жилище среди Нервиев. Лабиен, который был правой рукой Цезаря в Галлии, придерживался той же политики, что и Цицерон, - настолько, что когда Цезарь восстал против Республики, Лабиен, верный Республике, не стал больше сражаться на стороне Цезаря. Цицерон мог, не проявляя нелояльности, принять сделанное ему предложение; но, предвидя грядущие события, о которых он сам едва ли догадывался, он не мог заставить себя принять предложения, которые сами по себе были заманчивы, но в будущем, похоже, подразумевали с его стороны согласие на распад Республики. Αἱ δέομαι Τρύας καὶ Τρωάδας ἔλκεσιπέπλους. Что скажут обо мне в истории мои граждане, если я теперь буду делать только то, что лучше всего соответствует моему собственному счастью? Если бы он так поступил, Плиний и другие не говорили бы о нем так, как говорят, и современным любителям цезаризма не стоило бы писать книги против единственного патриота своего века.

В течение оставшейся части этого года, 59 г. до н. э., Цицерон находился в Риме и, похоже, постепенно осознал, что на него будет совершено личное нападение. В конце длинного и примечательного письма, написанного своему брату Квинту в ноябре, он объясняет состояние своего ума, показывая нам, имеющим сейчас перед глазами скрытое от него будущее, как сильно он заблуждался относительно результатов, которых следовало ожидать. Он рассказывал своему брату, как чуть не убили Катона за то, что он публично назвал Помпея диктатором. Затем он переходит к описанию своего собственного состояния.²⁶⁴ "Из этого ты можешь понять, в каком состоянии находится Республика. Что касается меня, то, похоже, друзья не захотят меня защищать. Они предлагают себя в прекрасном виде и обещают помощь. Я чувствую большую надежду и еще больший дух - надежду, которая говорит мне, что мы будем победителями в борьбе; дух, который заставляет меня не бояться потерь при нынешнем положении государственных дел".²⁶⁵ Но дело обстоит следующим образом: "Если он, то есть Хлодий, предъявит мне обвинение в суде, вся Италия встанет на мою защиту, и я буду оправдан с честью. Если же он нападет на меня с открытым насилием, то, я думаю, не только моя партия, но и весь мир встанет на мою сторону. Все люди обещают мне своих друзей, своих клиентов, своих вольноотпущенников, своих рабов и даже свои деньги. Наши старые аристократы - Катон, Бибул и вообще создатели рыбных прудов - горячо поддерживают мое дело. Если кто-то из них до сих пор не проявлял должного внимания, то теперь они присоединяются к нашей партии из чистой ненависти к этим царям" - триумвирам. "Помпей обещает все, как и Сезар, которым я доверяю лишь настолько, насколько могу их видеть". Даже триумвиры обещают ему, что он будет в безопасности; но его вера в честность Помпея почти исчезла. "Грядущие трибуны - мои друзья. Консулы следующего года обещают быть хорошими". Он жестоко ошибался. "У нас отличные преторы, граждане, которые хорошо относятся к своему долгу. Домиций, Нигидий, Меммий и Лентул заслуживают особого доверия. Остальные - хорошие люди. Поэтому ты можешь набраться мужества и быть уверенным". Из этого мы видим, что у него уже сформировалась мысль о том, что ему, возможно, придется сражаться за свое положение римского гражданина; кроме того, похоже, что он понимал причину предстоящего конфликта. Намерение заключалось в том, чтобы изгнать его из Рима на почве личной вражды. Ни в одном из этих писем ничего не говорится об оправдании, которое будет использовано, хотя он прекрасно знал, каким должно быть это оправдание. Патрицианский трибун должен был обвинить его в том, что он предал смерти римских граждан вопреки закону. Но сейчас не возникает вопроса, был ли он оправдан или нет в том, что он, как консул, сделал с Лентулом и другими. Сможет ли Клодий поднять против него толпу? И если да, то станет ли Цезарь помогать Клодию? Или же Помпей, который все еще выглядел в его глазах как старший из двух мужчин? Он всегда был другом Помпея, и Помпей обещал ему всяческую помощь; но он

уже знал, что Помпей ополчится против него. В то, что Рим отвернется от него - Рим, который он сохранил от факелов заговорщиков Катилины, - он не мог заставить себя поверить!

Мы не можем пройти мимо этого длинного письма Квинту, не отметив, что через него становится очевидным все дурное состояние ума младшего брата. Суровость его правления вызывала недовольство. Его наказания были жестокими. Его письма были необдуманными, а язык - жестоким. Короче говоря, из свидетельства брата мы узнаем, что Квинт Цицерон очень плохо подходил для того, чтобы быть гражданским правителем провинции.

Единственное произведение Цицерона, относящееся к этому году, кроме его писем, - это речь или часть речи, которую он произнес для Луция Валерия Флакка. Флакк был претором, когда Цицерон был консулом, и хорошо послужил, по мнению его начальства, в деле о заговоре Катилины. Затем он отправился в Азию в качестве губернатора и, следуя римской манере, обворовал провинцию. В том, что это было именно так, нет никаких сомнений. После возвращения он был обвинен, его защищал Цицерон, и он был оправдан. Макробий рассказывает, что Цицерон, по счастливой случайности, благополучно вывел обвиняемого, хотя тот был явно виновен. Он также добавляет, что Цицерон позаботился о том, чтобы эта шутка не появилась в издании его речи, опубликованном на сайте .266 Есть части речи, которые сохранились и достаточно забавны даже для нас. Он очень сурово отзывается об азиатских греках, из которых были взяты свидетели против Флакка. Здесь, в Англии, мы знаем, что спаниель, жена и ореховое дерево могут быть побиты с пользой. Цицерон говорит, что в Азии есть пословица, что фригийца можно улучшить таким же образом. "Fiat experimentum in corpore vili". В Азии провозглашается, что для эксперимента следует взять карийца. Последний из мисийцев" - известный азиатский термин, обозначающий самый низкий тип человечества. Просмотрите все комедии, и вы увидите, что главный раб - лидиец. Затем он обращается к этим бедным азиатам и спрашивает их, можно ли ожидать, что кто-то будет думать о них хорошо, когда они сами так о себе отзываются! Он нападает на евреев и говорит об иудейской религии как о суеверии, которое само по себе не заслуживает внимания. Помпей пощадил золото в Иерусалимском храме, потому что считал разумным уважать религиозные предрассудки народа; но сами боги, подчинив иудеев римлянам, показали, как мало боги относились к этим идолопоклонникам! Таковы были приведенные аргументы, и они возымели успех среди судей - или присяжных, как мы их скорее назовем, - к которым они были обращены.

Глава XII.

ЕГО ОТСТАВКА.

Мы подошли к тому периоду жизни Цицерона, в котором, по общему мнению всех, кто до сих пор писал о нем, он проявил себя как наименее достойный своего высокого имени. Миддлтон, который, безусловно, любил память своего героя и всегда стремился отдать ему справедливость, осуждает его. "Нельзя отрицать, что в этом бедствии своего изгнания он не вел себя с той твердостью, которой можно было бы ожидать от того, кто сыграл столь славную роль в Республике". Морабин, французский биограф, рассказывает о стенаниях его горя, о его несправедливости и глупости. "Сизерон был слишком полон своей злобы, чтобы впускать в себя новые эсперансы", - говорит он. "Il avait supporté ce malheur avec peu de courage", - говорит другой француз, М. Дю Розуар, знакомя нас с речами, которые Цицерон произнес по возвращении. Дин Меривейл заявляет, что "он омрачил изящество уступки в

глазах потомков" - имея в виду уступку народным чувствам, сделанную его добровольным отъездом из Рима, о чем будет сказано далее, - "нечеловеческими причитаниями, которыми он ее сопровождал". Моммзен, с недостатком понимания характера, удивительным для автора, так тщательно изучавшего историю того времени, говорит о его изгнании как о наказании, постигшем "человека, который, как известно, был робок и принадлежал к классу политических флюгеров". "Теперь мы переходим, - говорит г-н Форсайт, - к самому меланхоличному периоду жизни Цицерона, меланхоличному не столько из-за характера и масштабов несчастий, постигших его, сколько из-за убогого состояния духа, в которое он был повергнут". Мистер Фрауд, как и следовало ожидать, использует более сильный язык, чем другие, и говорит нам, что "он удалился в Македонию, чтобы излить свои печали и обиды в причитаниях, недостойных женщины". Приходится признать, что современные историки и биографы единодушно обвиняют Цицерона в отсутствии мужественности во время его изгнания. Я предлагаю - не отмыть черномазого от белил, но показать, если смогу, что он был таким же белым, как и другие, которых можно было бы ожидать в подобных обстоятельствах.

Мы, я думаю, в некоторой степени гордимся мужеством, проявленным государственными деятелями нашей страны, которые справедливо или несправедливо пострадали от законов. Наши летописи кровавы, и многим из них пришлось встретить свою смерть. Как правило, они делали это с достойным мужеством. Даже если они были мятежниками против власти того времени, память о них остается зеленой, потому что они пали как храбрые мужчины. Сэр Томас Мор, который не был мятежником, умер достойно и увенчал хорошую жизнь тем, что ушел из нее. Томас Кромвель безропотно подчинился топору. Леди Джейн Грей, оказавшись на эшафоте, не уступила в мужественности остальным. Кранмер и епископы-мученики погибли благородно. Граф Эссекс, и Рэли, и Страффорд, и хозяин Страффорда не проявили страха, когда наступил роковой момент. Читая о судьбе каждого из них, мы сочувствуем жертве из-за определенного достоинства в момент смерти. Но, как мне кажется, нет такого жизненного кризиса, в котором человеку было бы так легко нести себя с честью, как в том, в котором он должен покинуть ее. "Venit summa dies et ineluctabile tempus". Теперь никакие сомнения не помогут. Не остается ни минуты для демонстрации поведения, которое требует только приличия и свободного использования импульсов, чтобы стать в какой-то степени славным. Этого может достичь и самый жалкий представитель низших слоев народа с петлей на шее. Цицерону тоже предстояло встретить этот момент; и когда он наступил, он был так же храбр, как лучший англичанин из всех. Но из тех, кого я назвал, ни у кого не было Аттикуса, которому выпала честь в течение всей жизни открывать свою душу таким очаровательным языком, чтобы потомкам стоило труда читать ее, изучать, просеивать и критиковать. Уолси в своих страданиях высказал немало претензий, но они дошли до нас в таких изящных формах, что не унижают его достоинства; но и у него не было Аттикуса. Шафтсбери и Болингброк были уволены с постов министров и обречены на жизнь в изгнании, причем последний - на долгие годы, и, несомненно, сильно ощущал свое удаление из блеска общественной жизни в безвестность. Мы не слышим от них жалоб, которые могли бы оправдать какого-нибудь будущего критика, сказавшего, что их стенания были недостойны женщины; но ни один из них не был способен рассказать Аттикусу о своих мыслях, когда они поднимались. У какого еще публичного человека был такой Аттикус, которому в горестях, навлеченных на него неблагодарностью друзей, он мог бы поведать о каждом ударе своего сердца?

Я думаю, что в своих попытках оценить характер и выразить свое мнение о нем мы часто не можем понять, что такое мужество и мужественность. Сентиментальная шведская королева, одну из глупых сентенций которой я уже цитировал, сказала, что Цицерон, хотя и был трусом, был способен на великие поступки, потому что она не знала, что такое трус. Сомневаться,

трепетать от беспокойства, колебаться между тем и другим, что лучше, жаловаться в своей груди, что тот или иной поступок был несправедливым, колебаться в себе, не зная, какого пути требует от нас честь, чтобы возмутиться даже мнимой несправедливостью, восстать в гневе на другого, а потом, не дождавшись часа, обратить этот гнев на себя - это не трус. Знать, чего требует долг, а потом сдерживаться из-за страха перед результатом - вот что значит быть трусом; но человек со многими угрызениями совести может стать величайшим героем из всех. Пусть закон вещей будет объявлен ясно, чтобы сомневающийся ум больше не сомневался, чтобы угрызения совести были усмирены, чтобы чувство справедливости было удовлетворено, - и тот, о ком я говорю, будет готов встретить мир с оружием в руках против него. Есть люди, очень полезные в своем деле, которые вообще никогда не сомневаются, но готовы, как готов бык, встретить любые препятствия, которые могут возникнуть перед ними. Я не скажу, что для грубых целей мира они, возможно, не самые эффективные, но не признаю, что они поэтому самые храбрые. Бык, не имеющий воображения, которое подскажет ему, что может сделать с ним препятствие, не храбр. Смел тот, кто, полностью осознавая потенциальные возможности препятствия, с достаточной целью движется против него.

Так всегда поступал Цицерон. Он отважился на убийственный гнев Суллы, когда, будучи молодым человеком, решил остановить алчность приспешников Суллы. Он доверял себе перед лицом уготованных ему опасностей, когда требовалось с необычайной быстротой собрать доказательства, необходимые для обвинения Верреса. Он стойко противостоял всему, что пытался уничтожить Катилина, и имел достаточно мужества для ответственности, когда счел целесообразным обречь друзей Катилина на смерть. Защищая Милона, независимо от того, было ли дело хорошим или плохим, он не дрогнул.²⁶⁷ Он присоединился к республиканской армии в Македонии, хотя с недоверием относился к Помпею и его соратникам. Когда он думал, что у республики есть надежда, он бросался на Антония со всей отвагой тигрицы, защищающей своих детенышей; а когда все вокруг провалилось и прогнило, когда республика настолько пала, что он знал, что ее больше нет, - тогда он мог отдать свою шею мечнику со всем видимым безразличием к жизни, которое демонстрировали те наши соотечественники, которых я уже назвал.

Но почему он так жалобно писал, когда его отправили в изгнание? Почему, во всяком случае, он обратился к своему избранному другу и обругал его, как будто тот недостаточно сделал для дружбы? Почему он говорил о самоубийстве, как будто таким образом он мог найти самый легкий путь к спасению?

Я считаю естественным, что человек должен оплакивать себя, чувствуя не просто несчастье, а несчастье, приходящее к нему от несправедливости других, и особенно от неблагодарности друзей. Несчастья, которые приходят к нам по естественным причинам, например болезнь и физическая боль, или по воле случая, например потеря денег в результате взлома банка, героический человек перенесет без всяких внутренних жалоб. Но чувство несправедливости, причиненной ему друзьями, взволнует его, не из-за причиненного страдания, а из-за несправедливости; и то, что он скажет себе, он скажет своей жене, если жена для него - второе "я", или своему другу, если он так дорог ему. Свидетельства, по которым названные мною авторы так сурово относятся к Цицерону, содержатся в письмах, которые он написал во время своего изгнания; все эти письма, кроме одного, были адресованы либо Аттику, либо его жене, либо его брату.²⁶⁸ Двадцать семь из них были адресованы Аттику. Прежде чем принять добровольное изгнание как лучшее решение проблемы, в которой он оказался, - как мы увидим, сначала оно было добровольным, - он обратился за помощью к консулу Пизону и с той же целью посетил

Помпея. Пока что он был просителем, но делал это в соответствии с римскими обычаями. Просить о милости человека, облеченного властью, не считалось позором, даже если просимое было неправомерным, а Цицерона это не касалось. И он ходил по Форуму в трауре - "sordidatus", как это было принято у людей, находящихся на суде. Мы не можем сомневаться, что в каждом из этих случаев он действовал по совету своих друзей. Его поведение и слова после возвращения из изгнания свидетельствуют скорее о ликовании, чем об унынии.

Именно по письмам, которые он написал Аттику, о нем судили - по словам, кипящим от негодования, что такой человек, как он, должен был быть сдан Римом, который он спас, теми друзьями, которым он был так верен, чтобы быть растоптанным таким человеком, как Клодий! Когда человек пишет слова, предназначенные для всеобщего слуха, справедливо, что он должен нести на себе всю тяжесть их последствий, как бы то ни было. Он задумал их для общественного эффекта, и если они будут использованы против него, он не должен жаловаться. Но здесь тайный ропот души человека был послан его самому близкому другу, без малейшего представления о том, что по ним о нем будут судить "историки, которые придут через 600 лет",²⁶⁹, о добром слове которых он так много думал. "Quid vero historiae de nobis ad annos DC. praedicarint!" - говорит он Аттику. Как случилось, что через 2000 лет Меривалы, Моммзены и Фруды осуждают своего великого брата по письму, чьи легчайшие высказывания были признаны достойными столь долгой жизни! Не есть ли несправедливость в том, чтобы наброситься на частные слова человека, слова, написанные только для уединения, и сделать их основой обвинения, в котором прославленный человек будет навечно обвинен как трус? Говорят, что он был несправедлив даже к Аттикусу, обвиняя его в слабости. А если бы он сделал это на час? Разве это наше дело? Поссорился ли с ним Аттикус? Пусть любой читатель этих слов, проживший достаточно долго, чтобы иметь старого друга, спросит себя, не было ли в его сердце минутного гнева, в котором он вскоре научился распознавать несправедливость? Возможно, он не написал свой гнев, но тогда, возможно, у него не было пера Цицерона. Пусть те, кто упрекает Цицерона в бесчеловечности его стенаний, вспомнят, каковы были его страдания. История еще не рассказана, но я могу в общих чертах описать их суть. У него отняли все: дома, книги, прекрасные сады, бюсты и картины, широкую свиту рабов и владения, не уступающие владениям наших герцогов и графов. Он был изгнан из Италии, да так изгнан, что ни одно место не могло быть открыто для него. Сицилия, где у него были друзья, Афины, где он мог бы жить, были закрыты для него. Ему пришлось искать, где жить, и некоторое время он жил на деньги, одолженные у друзей. Все заветные занятия его жизни остались позади - суды, Форум, Сенат, многочисленные собрания римских граждан, которые следили за его словами. Обстоятельства изгнания разлучили его с женой и детьми, и он остался один. Все это было обеспечено ему на всю жизнь, насколько это мог гарантировать римский закон. Давайте подумаем о положении какого-нибудь великого и достойного англичанина в подобных обстоятельствах. Предположим, что сэр Роберт Пил был подвергнут импичменту и вынужден по какому-то незаконному приговору жить за гранью цивилизации; что дома в Уайтхолл-Гарденс и в Дрейтоне были конфискованы, разобраны и сравнены с землей, а его рента и доходы перешли к его врагам; что все было сделано для его уничтожения страной, которой он служил, кроме акта лишения жизни, которая таким образом стала бы для него бременем. Разве его случай не был бы более плачевным, не вызывал бы более праведного негодования, чем случай Морав или Ралейгов? Он страдал от ругательств в палате общин, и мы сочувствовали ему; но если какой-нибудь Клодий того времени мог так поступить с ним, то разве мы должны были думать о нем хуже, если бы он открыл свои раны жене, или брату, или другу друзей?

Если бы Цицерон покончил со своей жизнью в изгнании, как он думал сделать, он стал бы вторым Катонем для восхищенных потомков, и какой-нибудь Лукан с раскатистыми стихами поведал бы нам о его доблести. Сегодняшние судьи смотрят на его полусформированные цели в этом направлении как на дополнительное свидетельство слабости человека; но если бы он пустил себе кровь и погиб в своей ванне, его сочли бы ушедшим из жизни с честью, как и Юния Брута. Именно потому, что он осмелился жить дальше, нас учат так мало думать о нем, - потому что он опередил христианство настолько, что почувствовал, когда наступил момент, что такое бегство, по правде говоря, не по-мужски. Он сомневался, а когда поступок не был совершен, выразил сожаление, что позволил себе жить. Но он не сделал этого, как сделал бы Катон или Брут.

Здесь можно в нескольких словах побороть утверждения о том, что Цицерон, начав жизнь как демократ, сбросил свои одежды, как только получил от народа те почести, ради которых стремился к популярности. Те, кто так говорит, исходят из того факта, что во многих своих ранних судебных работах он выступал против аристократической партии. Он нападал на Суллу через его фаворита Хрисогона, когда тот защищал Росция Америнуса. Впоследствии он защищал женщину из Арретия в духе вражды с Суллой. Его обвинение против Верреса было выдвинуто на той же стороне в политике и велось в оппозиции к Гортензию и олигархам. Он защищал трибуна Кая Корнелия. Затем, став консулом, он посвятил себя уничтожению Катилина, который вместе со многими, возможно, при симпатии самого Сезара, участвовал в заговоре с целью свержения республики. Вскоре Сезар стал лидером демократии - стал скорее тем, что Моммзен называет самой "демократией"; а поскольку Цицерон защищал сенат от Катилина и отказался примкнуть к Сезару, предполагается, что он отвернулся от политических идей своей юности и стал консерватором, когда консервативные идеи соответствовали его амбициям.

Я не приму оправдание, выдвинутое от его имени, что ранние речи были произнесены на стороне демократии, потому что обстоятельства требовали, чтобы он посвятил свои силы в качестве защитника. Несомненно, он был адвокатом, как и наши сегодняшние барристеры, и, будучи адвокатом, поддерживал ту или иную сторону; но мы ошибемся, если предположим, что римский "патронус" предоставлял ему свои услуги под таким предлогом. У нас человек идет в профессию юриста с намерением заработать деньги и берется за дела направо и налево, если только нет особых обстоятельств, которые могут помешать ему сделать это с честью. По этикету он должен оказывать свою помощь по очереди, когда к нему обращаются; настолько, что ведущие люди нередко нанимаются на одну сторону только для того, чтобы их не наняли на другую. Не следует утверждать, что Цицерон, руководствуясь такими соображениями, защищал Америна, в деле которого он участвовал против аристократов, или защищал Публия Суллу, в деле которого он выступал на стороне аристократии. Такая защита его поведения была бы ошибочной и могла бы быть опровергнута. Ее опровергнут те, кто считает его "известным политическим триммером", как назвал его Моммзен²⁷⁰, или "дезертиром", как его описывают Дион Кассий и Псевдо-Саллуст,²⁷¹ показав, что на самом деле он брался за дело под влиянием сильных личных мотивов, которые редко управляют английским адвокатом. Во многих случаях эти мотивы были отчасти политическими; но они действовали таким образом, что не давали возможности определить его политические взгляды. Защищая племянника Суллы, он, насколько нам известно, руководствовался исключительно личными мотивами. Защищая Америнуса, он, можно сказать, нападал на Суллу. Его целью было погасить все еще горящие угли жестокости Суллы; но не в меньшей степени он был приверженцем общих взглядов Суллы на восстановление власти сената. В своих ранних речах, особенно в той, что была произнесена против Верреса, он обличает коррупцию сенатских судей; но в этот же период

своей жизни он снова и снова выражает собственную веру в славу и величие сената. Обвиняя Верреса, он обвиняет во всеобщей коррупции правителей провинций Рима; а поскольку они всегда были прошлыми консулами или прошлыми преторами и составляли элиту аристократии, можно сказать, что он до сих пор выступал в роли демократа; но делал он это лишь постольку, поскольку чувство долга обязывало его положить конец коррупции. Продажность судей и алчность губернаторов были подходящими объектами для его красноречия; но я отрицаю, что его можно справедливо обвинить в посягательстве на демократию, поскольку он использовал свое красноречие от имени народа.

Несомненно, им двигали и другие политические мотивы, не столь похвальные, хотя и подчинявшиеся в соответствии с практикой и известными обычаями Рима. Он взял на себя обязательство выступить в защиту Катилина, когда Катилина обвинили в коррупции по возвращении из Африки, зная, что Катилин был виновен. Он этого не сделал; но намерение, для нашей цели, то же самое, что и действие. Защита Катилина помогла бы ему в его деятельности в качестве кандидата на пост консула. Катилина было плохой темой для защиты - как и Фонтея, которого он, конечно, защищал, а Катилин был демократом. Но Цицерон, если бы он защищал Катилина, не стал бы протягивать руку демократии. Цицерон, когда в "Pro Lege Manilia" он впервые обратился к народу, конечно, выступил против воли сената, предложившего Помпею командовать Митридатской войной; но его взгляды не были демократическими. Говорят, что это было сделано потому, что Помпей мог помочь ему получить должность консула. Мне же кажется, что он уже заявил себе, что среди ведущих людей Рима Помпей был тем, на кого Республика могла бы смотреть с наибольшей надежностью как на оплот, и что поэтому он решил связать себя с Помпеем каким-нибудь политическим браком. Как бы то ни было, в речи Pro Lege Manilia не было никакой фальсификации демократии. Из всех сохранившихся ораций, произнесенных им перед консульством, внимательный читатель меньше всего сочувствует речи Фонтея. После язвительных нападок на Верреса за грабеж провинций он защищает грабителя галлов и выставляет на посмешище страдающих союзников Рима, которые вряд ли имеют право на хорошее управление. Он выступал просто как адвокат, без каких-либо политических мотивов - в те времена, когда предполагалось, что он будет добиваться расположения демократии, - руководствуясь частной дружбой и рассчитывая, вероятно, получить взамен какую-нибудь дружескую должность, как это было принято. Так, впоследствии он защищал Антония, своего коллегу по консульству, который, как он знал, был коррумпированным правителем. Автроний был участником заговора Катилины, и Автроний был школьным товарищем Цицерона; но Цицерон, по какой-то скрытой причине, о которой мы не знаем, отказался выступить в защиту Автрония. Я утверждаю, что нет никаких оснований предполагать, что Цицерон своими речами до консульства проявлял какую-либо партийную приверженность. Заявление, которое он сделал после консульства в речи в защиту Суллы, что до первого заговора Катилина судебные обязанности не позволяли ему посвятить себя партийной политике, заслуживает доверия: мы знаем, что так оно и было. Будучи квестором, эдилом и претором, он не вмешивался в политические вопросы Рима, разве что требовал справедливости от судей и чистоты от правителей. Когда он стал консулом, он стал политиком, и после этого в его взглядах не было никаких колебаний. Критики говорят, что он сдался Сезару, когда Сезар стал хозяином. К этому мы вернемся позже; но сейчас я имею дело с обвинением, в котором его обвиняют в том, что он отказался от демократических воспоминаний своей юности, как только окутался консульским пурпуром. Никаких демократических обещаний не было, и ничего не изменилось, когда он стал консулом.

По правде говоря, политические убеждения Цицерона оставались неизменными с начала и до конца его карьеры, с последовательностью, которая отнюдь не характерна для политиков; хотя до консульства он не занимался политикой как бизнесом, он придерживался определенных политических взглядов, как и все люди, живущие публично. От первого до последнего мы можем лучше всего описать его словом, которое мы используем сейчас, - консерватор. Правительство Рима уже много лет было олигархией, хотя граждане многое сделали для того, чтобы уменьшить рабство, которое олигархия непременно влечет за собой. С этой олигархией Цицерон был связан всеми убеждениями, всей практикой и всеми предрассудками своей жизни. Когда он говорит о республике, он говорит о народе и империи, управляемых олигархией; он говорит о власти, которая должна быть в руках немногих - для блага немногих и многих, если это возможно, - но, во всяком случае, в руках немногих. То, что эти немногие должны быть настолько избранными, чтобы не допускать к себе новых людей, вероятно, было бы частью его политического кредо, если бы он сам не был "новым человеком". Поскольку он был первым из своей семьи, кто штурмовал крепостной барьер, он был вынужден во многом полагаться на народное мнение; но не поэтому между ним и демократией не было никаких разногласий. Империя должна управляться в соответствии со старыми олигархическими формами, которые использовались на протяжении более четырех веков и создали могущество Рима, - таково было его политическое кредо. Чтобы консулы, цензоры и сенаторы до конца времен не умаляли своего достоинства, но приумножали справедливость, честь и правду - таково было его политическое стремление. Они сделали Рим таким, каким он был, и он не знал и не мог представить себе ничего лучшего; и как ни одиозна олигархия под сильным светом опыта, которому ее подвергли долгие века, это стремление с его стороны было благородным. Его ошибочно обвиняют в том, что он оставил "ту демократию, с которой флиртовал в юности". В его молодости не было демократии, хотя во времена Гракхов она существовала. Ее не было ни в его юности, ни в его возрасте. То, что ошибочно называют демократией, было заговором - не заговором демократов, как это произошло в нашем Содружестве, или в Американской независимости, или во Французской революции; а заговором нескольких вельмож, чтобы лучше завладеть грабежом, властью и высокими должностями в империи. В склонности к демократии никто не был обвинен менее справедливо, чем Цицерон, разве что Сезар. Сезару мы должны приписать заслугу в том, что он увидел неосуществимость продолжения старых олигархических форм, чего не видел Цицерон. Он считал, что раны, нанесенные вырождением и распутством отдельных людей, излечимы. Цицерону приписывают, что он задумал грандиозную идею установления всеобщей свободы под единоличным владычеством одного великого, а значит, благодетельного правителя. Я думаю, что он не видел дальше того, что он сам, с помощью стратегии, управления и мужества, может стать этим правителем, будь то благодетельным или наоборот. Но здесь я думаю, что писатель, будь он историком, биографом или займет более низкое положение в литературе, должен заявить, что такая форма правления не может сопровождаться благодеяниями. За всю временную гладкость, за столичный комфорт и сытость рано или поздно придется расплачиваться невежеством, нищетой и угнетением. При олигархии будут и другие, возможно, более серьезные недостатки; но при олигархии будет соль, пусть и среди немногих. Время от времени будет появляться Цицерон - или, по крайней мере, Катон. С мертвого, застойного уровня личного деспотизма невозможно подняться к жизни, пока коррупция не парализует руки власти, и ткань не рухнет от собственного распада. Этому нет доказательств в мировой истории, столь явных, как те, что демонстрирует Римская империя.

Я думаю, что изучение жизни и работ Цицерона, вплоть до периода его изгнания, ясно показывает, что приверженность старым формам римского правительства была его руководящим принципом. Я уверен, что те, кто последует за мной до конца его карьеры,

признают, что после изгнания он жил ради этого принципа и умер за него". "Respublica, Республика, было единственным словом, которое для его слуха содержало политическое очарование. Это был шибболет, с помощью которого можно было привлечь людей к благополучию. Слово "конституция" почти так же сильно действует на нас. Но читателю римской истории и римской биографии важно понять, что для всех римлян это слово имело глубоко консервативный смысл. Среди тех, кто во времена Цицерона занимался политикой в Риме - все они, несомненно, говорили о Республике как о государственном корабле, который должны были защищать все люди, - было четыре класса. Это те, кто просто хотел грабить государство - Катилины, Суллы того времени и Антонию; люди, подобные Верресу, Фонтену и Автронию. Трое других могут быть лучше всего представлены одним человеком. Был Сезар, который знал, что республика исчезла, потеряв всякую надежду. Был Катон - "догматический дурак Катон", как называет его Моммзен, возможно, с некоторым недостатком достоинства историка, - который был верен республике, который не мог отклониться ни на дюйм и, таким образом, был так же вреден для любой надежды на восстановление, как Катилина или Сезар. Цицерон принадлежал к четвертому классу, он верил в Республику, намеревался ее спасти, среди всех своих сомнений был проникнут убеждением, что если "оптиматы" или "бони" - ведущие люди партии - будут верны себе, то консулов, цензоров и сената все равно будет достаточно, чтобы править миром; но он был готов давать и брать с тех, кто был ему противен. Он считал, что политическая честность должна держать свои руки в чистоте, но при этом подмигивать на большую грязь в мире в целом. Ничто, по его мнению, не может быть сделано с помощью катонической строгости. Теперь мы видим, что цicerоновские компромиссы были и должны были быть столь же неэффективными. Пациент уже не поддавался лечению. Но в поисках истины в отношении Цицерона мы должны понять, что среди всех своих сомнений, часто в унынии, иногда подавленный страданием и безнадежностью своего состояния, он все же до конца придерживался этой идеи. Частые высказывания Аттикуса в противовес этой вере следует воспринимать как ропот его разума в данный момент; ведь можно услышать, как человек клянется, что все пропало, и увидеть, как он рвет на себе волосы, и все же знать, что в его груди есть глубокий фонд надежды. Больше всего его мучила неблагодарность его политических друзей, его "бони" и его "оптиматов", Помпея как их главы; но он всегда прощал их, прощал Помпея как их главу, потому что знал, что если он будет от них отлучен, то политический мир будет для него закрыт.

О силе или слабости Цицерона Помпей, похоже, ничего не знал. Он не был судьей людей. Сезар измерял его с большой приближенностью к точности. Цезарь знал его как лучшего римлянина своего времени; того, кто, если бы его можно было привлечь к службе в рядах кесарийцев, был бы бесценен - благодаря своей честности, красноречию и способностям; но он знал его и как того, кто должен замолчать, если его не привлекут к службе на стороне кесарийцев. Такого человека, однако, можно было заставить замолчать на некоторое время, чтобы он понял, что его усилия напрасны, а затем привлечь в свою пользу дальнейшими уговорами и сделать полезным. Лично он был приятен Сезарю, у которого хватало вкуса понять, что это человек, достойный всех личных достоинств. Но Цезарь, как мне кажется, был не совсем точен в своей оценке, позволив себе в конце концов поверить, что энергия Цицерона в интересах Республики была подавлена.

В. С. 58, ætat 49

Теперь вернемся к истории изгнания Цицерона. Постепенно в течение предыдущего года он узнал, что Клодий готовится напасть на него, и усомнился в том, что может рассчитывать на защиту со стороны Триумвирата. То, что его может обезопасить правосудие народа или

любого суда, перед которым он может предстать, похоже, никогда не приходило ему в голову. Он слишком хорошо знал народ и суды. Помпей, несомненно, мог оградить от грядущего зла; так, по крайней мере, думал Цицерон. Для него Помпей был величайшей политической силой в Риме; но он начинал верить, что Помпей будет ему неправ. Когда он послал Помпею длинный отчет о великих делах своего консульства, Помпей ответил самыми слабыми похвалами. Он отверг все предложения Триумvirата. В последнем письме Аттику за год до этого, написанном в августе²⁷², он заявил, что Республика разрушена, что те, кто довел дело до такого состояния, то есть Триумvirат, настроены враждебно; но про себя он уверенно заявил, что вполне уверен в доброй воле окружающих его людей. Есть письмо к брату, написанное в ноябре, следующее письмо в сборнике, в котором он говорит, что Помпей и Сезар обещают ему все. За исключением двух вступительных писем, мы не имеем от него ничего, пока он не напишет Аттику из первой сцены своего изгнания.

Когда начался новый год, Клодий стал народным трибуном и сразу же развернул активную деятельность. Консулами были Пизон и Габиний. Пизон был родственником Пизона Фруги, который женился на дочери Цицерона²⁷³, и ожидалось, что в этот кризисный момент он будет дружить с Цицероном. Но Клодий добился того, что народным голосованием двум консулам были выделены Сирия и Македония. Это были провинции, богатые грабежом, и консулу было важно знать, что добыча, которая достанется ему как проконсулу, будет достойна его захвата. Поэтому они были готовы поддержать трибуна в его намерениях. Врагам Цицерона было необходимо, чтобы существовал закон, по которому Цицерон мог бы быть осужден. Клодий, даже имея за спиной триумvirат, не смог бы изгнать его из Рима и из Италии без предполагаемой причины. Хотя на правосудие было наложено табу, закон все еще оставался в моде. Теперь же возник вопрос, по которому Цицерон был открыт для нападок. Будучи консулом, он приказал казнить некоторых римских граждан как заговорщиков, вопреки закону, который гласил, что ни один римский гражданин не может быть приговорен к смерти иначе как прямым голосованием народа. Это, безусловно, стало максимой конституции Республики, что гражданин не должен быть приговорен к смерти иначе, как голосом народа. На этот счет были приняты законы Валериана, Порциана и Семпрония. Не было всенародного голосования и по поводу казни Лентула и других заговорщиков, взятых с поличным в Риме по делу Катилина. Их смерть была предписана сенатом, и постановление сената было приведено в исполнение Цицероном; но ни одно постановление сената не имело силы закона. Несмотря на это постановление, старый закон оставался в силе, и Лентулу не было позволено обратиться к народу. Но в конституции появилась практика, которая должна была отменить законы Валериана и Порциана. В некоторых чрезвычайных ситуациях сенат обращался к консулам, чтобы они следили за тем, чтобы республика не пострадала, и считалось, что в такие моменты консулы наделены властью, превышающей все законы. Цицерон был уверен в этом, когда, будучи консулом, боролся с Катилиной; но это был открытый вопрос, как хорошо знал сам Цицерон. В год своего консульства - в тот самый год, когда Лентул и другие были задушены, - он защищал Рабирия, которого тогда обвиняли в убийстве гражданина за тридцать лет до этого. Рабирий обвинялся в том, что зарубил трибуна Сатурнина по приказу консульской власти, тогдашним консулам было приказано защищать Республику, как это было приказано Цицерону. Вероятно, Рабирий не убивал Сатурнина, и сейчас никого не волнует, сделал он это или нет. Судебный процесс, как известно, был организован при посредничестве Цезаря, который по указанию прокуратора выбрал себя одним из двух судей для этого случая;²⁷⁴ и Цезарь, как известно, стремились уменьшить авторитет сената и поддержать демократические интересы. И Цицерон, и Гортензий защищали Рабирия, но он был осужден Цезарем и, как нам рассказывают, сам спасся только благодаря тому, что использовал обращение к народу, в поддержку которого сам предстал перед судом. В этом, как и во многих других судебных

процессах того времени, была примесь насилия и закона. Мы должны, я думаю, признать, что в процессе против Лентула была та же закваска незаконности. Несомненно, конституция предусматривала, что консул в чрезвычайной ситуации должен использовать свою личную власть для защиты Содружества, но нельзя утверждать, что такая ситуация возникла, когда сенат в полном составе успел обсудить судьбу катилиновских преступников. Как из слов Цезаря, переданных Саллюстием, так и из слов Цицерона, переданных им самим, мы знаем, что в умах сенаторов в тот момент присутствовала мысль о незаконности этой процедуры. Но, хотя в Риме любили закон, все судебные и законодательные процедуры в это время проводились с чудовищной незаконностью. Консулы лживо советовались с небесами, трибуны жестоко использовали свое право вето, судьи открыто брали взятки, голоса народа подделывались. Во время суда над Рабирием и его побега законы были презираемы теми, кто притворялся, что защищает их. Клодий стал трибуном благодаря определенным правовым нормам, но в то же время вопреки всем законам. При ведении дела против Катилина Цицерон, похоже, руководствовался чистым патриотизмом, и его поддерживало прекрасное мужество; но он знал, что, уничтожая Лентула и Цетега, он подвергал себя определенным опасностям. Он с готовностью столкнулся с этими опасностями ради поставленной цели. Пока он мог оставаться любимцем народа, каким он был в тот момент, он, несомненно, был бы в безопасности; но никому не дано долго быть любимцем римского народа. Цицерон стал таковым благодаря красноречию, к которому римляне были особенно восприимчивы; но хотя они и любили сладкие языки, длинные кошельки шли у них нарасхват. Со времени консульства Цицерона он не сделал ничего, что могло бы оскорбить народ, разве что периодически оставался вне поля его зрения; но он утратил блеск своей популярности, и сам это понимал.

Говоря о популярности в Риме, мы должны помнить, из каких элементов она складывалась. Мы слышим, что тот или иной человек в определенное время был силен благодаря помощи, которую ему оказывал народный голос. В Риме было огромное количество праздных людей, которых городская жизнь приучила обращаться за поддержкой к факту своего гражданства и которые, по правде говоря, жили на свое гражданство. Мы все слышали о "*panem et circenses*" и знаем, что хлеб насущный и общественные развлечения удовлетворяли материальные и эстетические потребности многих римлян. Но люди, которых так кормили и развлекали, непременно нуждались в дополнительных занятиях. Они привязывались к определенным друзьям, к определенным покровителям, к определенным вечеринкам, и вскоре понимали, что за еду и развлечения от них ожидают отдачи. Они давали их, держа себя в готовности к любому насилию, которое от них требовалось, пока в Риме не стало известно, что человек из большой партии может лучше всего достичь своей политической цели, сражаясь за нее на улицах. Именно в этом заключался смысл высказывания Красса, что человек не может считаться богатым, пока не сможет содержать армию на собственном жаловании. Народное голосование, полученное и объявленное в результате борьбы фракций на форуме, все равно оставалось народным голосованием и, если оно было подкреплено достаточным насилием, было действительным. Такие уличные бои были, когда Цицерон защищал Кая Корнелия в год после своего преторства; такие бои были, когда Рабрий был осужден во время своего консульства. В будущем мы узнаем, в какой степени подобные столкновения преобладали, когда Хлодий был убит телохранителями Милона. В тот период, о котором мы сейчас пишем, когда Клодий намеревался преследовать Цицерона, чтобы погубить его, перед самим Цицероном встал вопрос, не довериться ли ему определенной фракции в Риме, которая будет сражаться за него и таким образом защитит его. Хотя его популярность была на спаде - та всеобщая популярность, которая, как мы можем предположить, была вызвана тоном его голоса и изяществом его языка, - у него все еще оставалась другая популярность, которая состояла, по правде говоря, из обученных

групп, нанятых "бони" и "оптиматами", и которая могла быть использована, если потребуется, для противостояния обученным группам на другой стороне.

В законопроекте, впервые предложенном Клодием народу с целью уничтожения Цицерона, Цицерон не упоминался и, по правде говоря, на него не ссылался. Он предусматривал, что тот, кто заставил казнить любого римского гражданина, не приговоренного к смерти должным образом, сам должен быть лишен права пользоваться водой или огнем.²⁷⁵ Это не обрекало предполагаемого преступника на смерть, но, в соответствии с римским правом, делало невозможным проживание любого осужденного римлянина в пределах, которые могли быть названы за лишение огня и воды. Предполагалось наказание в виде изгнания, но по этому закону ни один человек не мог быть изгнан. Цицерон, однако, сразу же принял это предложение на свой счет и одел себя в траур, как человек, обвиненный и собирающийся предстать перед судом. Он ходил по улицам в сопровождении толпы, вооруженной для его защиты, и Клодий тоже вызвал себе такое сопровождение. Таким образом, встал вопрос о том, что должно победить в случае всеобщей драки. Сенат в целом был на стороне Цицерона, но был совершенно не в состоянии справиться с триумвиратом. Цезарь, несомненно, решил, что Цицерон должен уйти, а Цезарь был повелителем Триумvirата. От имени Цицерона выступало большое количество консервативной или олигархической партии, которая все еще была ему верна; и все они, как обычно, объявили публичный траур, выражая желание, чтобы обвиняемый был спасен от своих обвинителей.

Горечь Клодия была бы удивительна, если бы мы не знали, каким горьким был язык Цицерона. Когда произошла интрига в Бона Деа, между этим развратным молодым человеком и великим консулом не было особой вражды. Цицерон, хотя его собственная жизнь всегда была чистой и упорядоченной, скорее любил общество шустрых молодых людей, когда находил их не только остроумными, но и умными. Этот самый Клодий был у него в хороших отношениях до дела Бона Деа. Но теперь ненависть трибуна стала междоусобной. До сих пор я ничего не говорил, да и не нужно говорить, о некой неблагоприятной даме по имени Клодия. Она была сестрой Клодия и женой Метелла Целера. Публично в Риме ее обвинили в кровосмешении с братом и в отравлении мужа. Впоследствии Цицерон в защиту Целерия называет ее "amica omniū". Она получила прозвище Квадрантария²⁷⁶ за то, что часто посещала общественные бани, плата за посещение которых составляла один фартинг. О ней также следует сказать, как в похвалу, так и в порицание, что она была той Лесбией, которая вдохновила музу Катулла. В Риме ходили слухи, что она пыталась надеть шапку на Цицерона. Цицерон в своих насмешках не пощадил даму. Публично говорить о женщинах самое грубое зло не противоречило никаким представлениям о галантности, бытовавшим среди римлян. Наше рыцарское чувство, равно как и порядочность, отвратительно от языка, используемого Горацием по отношению к женщинам, которые когда-то были для него молодыми и красивыми, но стали старыми и уродливыми. Яд оскорблений Цицерона в адрес Клодии раздражает нас, и мы должны помнить, что нежные идеи, которые мы впитали с молоком матери, не вошли в обиход у римлян. Необходимо упомянуть имя этой женщины, и оно может появиться здесь, поскольку она была одной из причин той ненависти, которая пылала между Клодием и Цицероном, пока Клодий не был убит в уличной ссоре.

Предполагается, что Цицерон поступил дурно, публично предположив, что новый закон был направлен против него самого, и приняв на себя внешние признаки страдающего человека. "Решение, - говорит Миддлтон, - сменить платье было слишком поспешным и неосмотрительным и помогло ускорить его гибель". Он осознал свою ошибку слишком поздно и часто упрекает Атикуса, что тот, будучи сторонним наблюдателем и менее увлеченным игрой, чем он сам, допускает подобные промахи. И он цитирует слова,

написанные Аттикусу: "Здесь моя рассудительность впервые подвела меня или, более того, привела к беде. Мы были слепы, слепы, говорю я, в смене одежды и в обращении к народу. * Я отдал себя и все, что мне принадлежало, в руки врагов, а вы смотрели на это, храня спокойствие; да, именно вы, которому, если ваша сообразительность в этом деле была не лучше моей, не мешали никакие личные страхи".²⁷⁷ Но читатель должен изучить все письмо, причем изучить его в оригинале, ибо ни один переводчик не сможет передать его истинный смысл. Это необходимо сделать, прежде чем читатель сможет понять душевное состояние Цицерона, когда он писал письмо, его отношение к Аттику или мысли, которые отвлекали его, когда, следуя совету Аттика, он решил, пока его еще не осудили, уйти в изгнание. Порицание, которому Аттикус подвергается в этом письме, - это порицание, которое вдумчивый, нерешительный, скрупулезный человек так часто склонен адресовать самому себе. Напомнив Аттикусу о совете, который следовало бы дать, о чем он сожалеет в первый момент своего изгнания, и сделав это в словах, в которых сейчас очень трудно уловить точный вкус, он просит простить его за упреки. "Вы простите меня за это", - говорит он. "Я виню себя больше, чем вас; но я смотрю на вас как на второе "я" и делаю вас вместе со мной участником моих собственных глупостей". Я вырываю это письмо из контекста и говорю о нем как о связанном с тем ужасным периодом сомнений, к которому оно относится, когда он должен был решить, останется ли он в Риме и будет бороться или бежит перед своими врагами. Но при написании письма впоследствии его разум был так же взволнован, как и при бегстве. Поэтому я склонен думать, что Миддлтон и другие ошибались, обвиняя его в бегстве, что они и сделали, потому что в своих последующих колебаниях он винил себя. Как могла бы пройти битва, если бы он остался, мы не знаем; но мы знаем, что, хотя он бежал, он вскоре вернулся с новой славой и полностью преодолел попытку, которая была предпринята, чтобы уничтожить его.

В этот период его бедственного положения сенат предпринял мощную попытку спасти его. Им было предложено, чтобы все они, как одно целое, погрузились в траур по нему; сенат принял соответствующее решение, но два консула помешали его выполнить. Мнения о том, как ему лучше поступить, разделились и у него, и у его друзей. Одни советовали ему оставаться на месте и защищаться уличными боями, если в этом возникнет необходимость. Тем самым он признал бы, что в Риме больше не царит закон - положение вещей, которому многие отдали предпочтение, но с которым Цицерон, несомненно, согласился бы в последнюю очередь. Сам он в своем отчаянии на какое-то время подумал, что старый римский способ спасения был бы предпочтительнее, и что он мог бы с приличием покончить с жизнью и своими бедами самоубийством. Аттикус и другие отговаривали его от этого и рекомендовали бежать. Среди них были названы Катон и Гортензий. В конце концов он уступил этому совету, и можно сомневаться, что можно было дать что-то лучшее. Беззаконие, которое и раньше свирепствовало в Риме, при триумвирате стало почти законным. Цезарь намеревался проводить в жизнь свою волю с таким соблюдением форм Республики, которое могло его устроить, но с полным пренебрежением ко всем этим формам, если они его не устраивали. Изгнание Цицерона было одним из последних шагов, предпринятых Цезарем перед тем, как он покинул Рим и отправился в галльские походы. Он уже командовал легионами и находился недалеко от города. Он попытался купить Цицерона, но потерпел неудачу. Потерпев неудачу, он решил избавиться от него. Клодий был лишь его орудием, как и Помпей, и оба консула. Если бы Цицерон попытался поддержать себя насилием в Риме, его борьба, по сути, была бы с Цезарем.

Перед отъездом Цицерон обратился за защитой лично к консулу Пизону и к Помпею. Габиний, другой консул, уже объявил о своей цели сенату, но Пизон был связан с ним семейными узами. Он сам рассказывает нам в своей оратории, произнесенной после его

возвращения, против этого Пизона, о том, как произошла встреча между ним и главным должностным лицом Рима. Пизон сказал ему - так, по крайней мере, заявил Цицерон в сенате, и мы не слышали никаких опровержений, - что Габиний настолько загнан в долги, что не сможет удержать свою голову без богатой провинции; что он сам, Пизон, может надеяться получить провинцию, только участвуя вместе с Габинием; что любые обращения к консулам бесполезны и что каждый должен заботиться о себе сам.²⁷⁸ Относительно его обращения к Помпею до нас дошли две истории, ни одна из которых не похожа на правду. Плутарх утверждает, что когда Цицерон отправился из Рима на виллу Помпея в Альбане, Помпей выбежал из задней двери, чтобы избежать встречи с ним. Плутарх больше заботился о хорошей истории, чем о точности, и не заслуживает особого доверия в отношении деталей, если только они не подтверждены. Другой рассказ основан на утверждении Цицерона, что он действительно видел Помпея в тот раз. Через девять или десять лет после этой встречи он упоминает о ней в письме к Аттику, которое не оставляет сомнений в этом факте. История, основанная на этом письме, утверждает, что Цицерон бросился к ногам своего старого друга, и Помпей не протянул руку, чтобы поднять его, а просто сказал ему, что все в руках Цезаря. Этот рассказ, как мне кажется, вызван неправильной интерпретацией слов Цицерона, хотя он и приведен в близком переводе. Он описывает Помпея, когда Сезар после своих галльских войн перешел Рубикон, и два поздних Триумвирата - третий погиб на Востоке - были вооружены друг против друга. "Alter ardet furore et scelere", - говорит он.²⁷⁹ Сезар давит на беспринципность в своей страсти. "Alter is qui nos sibi quondam ad pedes stratos ne sublevabat quidem, qui se nihil contra hujus voluntatem aiebat facere posse." "Тот другой, - продолжает он, имея в виду Помпея и продолжая изображать нынешний контраст, - который в былые времена даже не поднял меня, когда я лежал у его ног, и сказал мне, что не может сделать ничего, кроме того, что пожелает Сезар". Эта небольшая предполагаемая деталь биографии была приведена, несомненно, на основе точного прочтения слов; но в ней, несомненно, упущен дух мысли писателя, когда он писал ее. Прострация, о которой он говорил, из которой Помпей не мог его поднять, воспоминания о которой до сих пор так горьки для него, не была прострацией тела. Я считаю невозможным, чтобы Цицерон принял такую позу перед Помпеем или чтобы он так написал Аттику, если бы сделал это. Это не было бы ни римским, ни цicerоновским поведением, которое Цицерон проявил по отношению к Помпею. Он отправился к своему старому союзнику, рассказал ему о своей беде и, несомненно, напомнил о тех обещаниях помощи, которые Помпей так часто давал. Тогда Помпей отказался помочь ему и слишком правдиво заверил его, что воля Цезаря - это все. Опять же, мы должны помнить, что, оценивая значение слов двух таких корреспондентов, как Цицерон и Аттик, мы должны читать между строк и интерпретировать слова, создавая для себя что-то о духе, в котором они были написаны и в котором они были получены. Я не могу себе представить, что, описывая Аттику то, что произошло во время беседы через девять лет после ее окончания, Цицерон хотел, чтобы его поняли так, будто он действительно валялся в пыли.

В конце марта он отправился из Рима, намереваясь укрыться среди своих друзей на Сицилии. В тот же день Клодий внес законопроект, направленный против Цицерона, и заставил народ вынести его: "Ut Marco Tullio aqua et igni interdictum sit" - чтобы было незаконно снабжать Цицерона огнем и водой. Принятый закон запрещал кому бы то ни было укрывать преступника в радиусе четырехсот миль от Рима и объявлял это смертным преступлением. По действиям тех, кто подчинился закону, и тех, кто не подчинился, видно, что они боялись не столько правовых последствий, сколько недоброжелательности тех, кто довел Цицерона до изгнания. Те, кто отказывал ему в помощи, делали это не потому, что ее оказание было бы незаконным, а чтобы не обидеть Цезаря и Помпея. Это продолжалось недолго, и за короткий период своего изгнания он нашел, пожалуй, больше дружбы, чем

вражды; но он направлял свои шаги в соответствии с партийным духом. Нам рассказывают, что он боялся ехать в Афины, потому что в Афинах жил тот самый Автроний, которого он отказался защищать. Автроний был осужден за заговор и изгнан, и, будучи заговорщиком-катилинистом, на самом деле был на стороне Сезара. Географические факты также не были достаточно установлены, чтобы Цицерон мог сказать, какие места находятся за пределами запретного круга, а какие нет. Сначала он остановился в Вибо, на крайнем юге Италии, намереваясь оттуда проехать в Сицилию. Там он узнал, что определенное расстояние было предписано; но, похоже, он уже слышал, что проконсульский губернатор острова не принял его, опасаясь Сезара. Затем он отправился на север из Вибо в Брундизий, порт, через который путешественники обычно отправлялись из Италии на Восток. Он решил оставить свою семью в Риме, полагая, вероятно, что ему будет легче найти временное пристанище для себя, чем для них вместе. К тому же возникли денежные трудности, в которых ему помог Аттикус.²⁸⁰ Аттикус, всегда состоятельный, теперь стал очень богатым человеком благодаря смерти дяди. Мы не знаем, какой характер носили денежные распоряжения Цицерона в то время, но несомненно, что потери от его изгнания были очень велики. Его имущество было основательно подорвано, и последующая щедрость его страны не смогла его полностью искупить. Но на сердце Цицерона это не отразилось. Денежные потери никогда не тяготили его.

Когда он возвращался из Вибо в Брундизий, друзья были очень добры к нему, несмотря на закон. В конце речи, которую он произнес через пять лет после этого от имени своего друга К. Планция, он объясняет, чем обязан своему клиенту, чья доброта к нему в изгнании была очень велика. Рассказ о доброте Планция он начинает с описания щедрости городов по дороге в Брундизий и гостеприимства его друга Флавия, который принял его в своем доме в окрестностях этого города и благополучно посадил на корабль, когда он наконец решил переправиться в Диррахий. В это время в его голове роилось множество планов. В какой-то момент он решил пройти через Македонию в Азию и на некоторое время остановиться в Кизикуме. Эту мысль он высказывает в письме к жене, написанном из Брундизия. Затем он уходит, несомненно, причитая, но в словах, которые кажутся мне очень естественными, как, исходящими от мужа в таком состоянии: "O me perditum, O me afflictum";²⁸¹ восклицания, которые невозможно перевести, поскольку они относятся скорее к разлуке жены с ним самим, чем к его личным страданиям. "Как я могу просить тебя прийти ко мне?" - говорит он; "Ты женщина, больная здоровьем, измученная телом и духом. Я не могу просить вас! Неужели я должен жить без вас? Так и должно быть, думаю я. Если есть хоть какая-то надежда на мое возвращение, это вы должны заботиться о ней, вы должны укреплять ее; но если, как я боюсь, дело сделано, тогда приходите ко мне. Если ты будешь у меня, я не погибну окончательно". Несомненно, это причитания; но разве мужчина не мужественен, если он так причитает перед женой своего лона? Другие люди писали о женщинах красиво: у римлян это было обычным делом. Катулл желает от Лесбии столько поцелуев, сколько звезд в ночи или песков в Ливии. Гораций клянется, что готов погибнуть за Хлою, если Хлоя останется в живых. "Когда я буду умирать, - говорит Тибулл Делии, - пусть я буду смотреть на тебя; пусть моя последняя рука будет держать твою руку". Проперций говорит Синтии, что она стоит для него вместо дома, родителей и всех радостей жизни. "Грустит ли он с друзьями или счастлив, все это делает Синтия". Язык в каждом случае безупречен; но о каком еще римляnine мы имеем свидетельства, что он говорил со своей женой подобным образом? Овидий в своих письмах из изгнания много говорит о своей любви к жене; но ни в одном письме Овидия не выражена страсть.

Клодий, как только закон против Цицерона стал законом, привел его в исполнение со всей возможной жестокостью. Имущество преступника было конфисковано. Дом на Палатинском

холме был разрушен, а имущество выставлено на торги, на которые, как нам говорят, не нашлось покупателей. Самые ценные сокровища унесли сами консулы. Пизон, который жил рядом с ним в Риме, получил для себя и для своего тестя богатую добычу из городского дома. Загородные виллы также были разрушены, а Габиний, у которого был загородный дом неподалеку от тускуланского убежища Цицерона, вырвал из сада даже самые кусты. О жадности и враждебности консулов он рассказывает в речи, которую произнес после возвращения, "Pro Domo Sua",²⁸² с просьбой вернуть его домашнее имущество. "Мой дом на Палатине был сожжен, - говорит он, - не случайно, а в результате поджога. В это время консулы пировали и поздравляли себя среди заговорщиков, когда один хвастался, что был другом Катилина, а другой - что Цетег был его двоюродным братом". Этим он намекает, что заговор, который во время его консульства был так одиозен для Рима, теперь, в дни Триумvirата, снова в фаворе у римских аристократов.

Из Брундизия он отправился в Диррахий, а оттуда в Фессалонику, где его с большой любовью принял Планций, который был квестором в этих краях и спустился в Диррахий, чтобы встретить его, одетый по этому случаю в траур. Это был тот самый Планций, которого он впоследствии защищал, и он действительно был обязан это сделать. Похоже, что Планций не испытывал особого страха перед законом, хотя и был римским офицером, служившим в той самой провинции, на управление которой уже был назначен нынешний консул Пизон. Фессалоника находилась в четырехстах милях, и Цицерон прожил там вместе с Планцием несколько месяцев.

Письма Цицерона, написанные им во время изгнания, очень трогательны, хотя мне часто говорили, что, написав их, он не обладал стойкостью римлянина. Возможно, я больше способен оценить природную человечность, чем римскую стойкость. Мы помним историю о спартанском мальчике, который без слез позволил лисе укусить его за одежду. Думаю, мы можем представить, что он воздерживался от слез на публике, перед стадом школьных товарищей или перед судейской коллегией, или перед суровостью родительской власти; но потом он рассказывал сестре, как его пытали, или матери, когда он лежал у нее на груди, или, возможно, своему избранному приятелю. Такая сдержанность придает достоинство случаю, когда нужно что-то выиграть, сдерживая выражения, которым неконтролируемая природа дала бы волю, но сама по себе она не свидетельствует ни о мужестве, ни о смелости. Римская стойкость была всего лишь доспехами, которые надевали по торжественным случаям. Если мы встречаем воина в гребневом шлеме, с мечом и копьем, то видим, несомненно, впечатляющий объект. Если бы нам удалось найти его в ночной рубашке, то это был бы тот же самый человек, но те, кто не вникает в суть вещей, были бы склонны презирать его за отсутствие его величественных атрибутов. Случай подарил нам Цицерона в ночной рубашке. Белье такой тонкой фактуры, что мы восхищены им, но мы презираем человека за то, что он носил одежду, подобную той, что носим мы сами, хотя, когда мы ее надеваем, никто не приходит посмотреть на нас.

Есть одно трогательное письмо, написанное из Фессалоник брату, который, после колебаний мыслей то в одну, то в другую сторону, не хотел его посещать, считая, что встреча принесет больше боли, чем пользы. "Mi frater, mi frater, mi frater!" - начинает он. Вряд ли английские слова передадут весь пафос. "Вы подумали, что я не написал, потому что сержусь, или что не хочу вас видеть? Я сержусь на вас! Но я не мог вынести, чтобы вы меня увидели. Ты не хотел видеть своего брата; не того, кого ты оставил; не того, кого ты знал; не того, кого, плача, ты отстранил от себя, плача сам, когда он стремился следовать за тобой".²⁸³ Затем он сваливает вину на себя, горько обвиняя себя в том, что довел брата до такого горя. В этом письме он возлагает большую вину на Гортензия, которого вместе с Помпеем обвиняет в

предательстве. Сколько правды было в этом обвинении в отношении Гортензия, мы не можем сказать. Он обвиняет Помпея в том же самом, и в отношении Помпея к нему не может быть никаких сомнений. Помпей был неверен своим обещаниям из-за связи с Цезарем. Вероятно, Гортензий не смог выступить от имени Цицерона с той готовностью, которую один защитник ожидал от другого. Впоследствии Цицерон и Гортензий стали друзьями, впрочем, как и Цицерон и Помпей. Цицерон был снисходителен от природы, а также благодаря самовоспитанию. Сохранять вражду не отвечало его целям. Если бы после Филиппиков была возможность примирить Антония с делом "оптиматов", он бы ею воспользовался.

Одно время Цицерон намеревался отправиться в Бутротум в Эпире, где у Аттика был дом и имущество; но он изменил свое намерение. Он оставался в Фессалониках до ноября, а затем вернулся в Диррахий, все время своего изгнания поддерживаемый вестями о шагах, предпринятых для его отзыва. В Риме очень скоро возникло ощущение, что город опозорил себя, изгнав такого человека, и Цезарь отправился в свои провинции. Мы можем себе представить, что, покинув Рим и достигнув всех своих целей, утихомирив язык сильного оратора, который мог их потревожить, он не стал предпринимать никаких дальнейших шагов, чтобы увековечить изгнание оратора. Вскоре между Помпеем и Хлодием произошла ссора. Помпей, не имея Сезара, который бы руководил им, считал высокомерие патрицианского трибуна невыносимым. Мы слышим о колесах внутри колес и историях внутри историй в драме римской истории, разыгрывавшейся в это время. Вместе с Цицероном, согласно проектам Цезаря, из Рима должен был быть вывезен и Катон; это удалось сделать с помощью Клодия, который принял законопроект о почетном найме Катона для государственных нужд на Кипре. Катон оказался вынужден уехать. Это было похоже на то, как если бы наш премьер-министр получил парламентское разрешение отправить шумного члена оппозиции в Азиатскую Турцию на шесть месяцев. Была попытка, или предполагаемая попытка, Клодия убить Помпея; и были уличные бои, так что Помпей был осажден или притворился осажденным в своем собственном доме. "Мы могли бы с таким же успехом настраивать шарманку на музыку, как и писать историю этого политического праздника ведьм", - говорит Моммзен, говоря о состоянии Рима, когда Цезаря уже не было, Цицерон был изгнан, а Помпей, как предполагалось, находился на подъеме.²⁸⁴ Во всяком случае, между Клодием и Помпеем произошла ссора, в ходе которой Помпея склонили к согласию на возвращение Цицерона. Тогда Хлодий в отместку решил выступить против триумvirата и отречься даже от самого Цезаря. Но все это было напрасной суетой, в которой Цезарь, узнав подробности в Галлии, мог только почувствовать, как мало пользы от сохранения союза с Помпеем. Он достиг своей цели, которую не смог бы осуществить без помощи Красса, чье богатство и Помпея, чей авторитет был самым высоким в Риме; и теперь, получив свои легионы, провинции и продленный срок, он не заботился ни о ком из них.

Есть одна маленькая история, которую необходимо повторить в отношении Цицерона в связи с этим периодом его изгнания, потому что она была рассказана во всех записях о его жизни. Если бы я опустил эту маленькую историю, это выглядело бы так, как будто я избегаю записей, которые повторяются вопреки его заслугам. Некоторое время назад он написал сочинение, в котором сурово отозвался о старшем Курио; так полагают; но неважно, кто был объектом и что было предметом. Об этом стало известно в Риме, как это иногда случается, и теперь он опасался, что это навредит ему в отношениях с Курио и друзьями Курио. Авторство было лишь предметом сплетен. Разве можно отрицать это? "Поскольку оно написано, - говорит Цицерон, - в стиле, уступающем привычному для меня, нельзя ли доказать, что оно не мое?"²⁸⁵ Если бы Цицерон обладал всеми христианскими добродетелями, какими, как мы надеемся, обладают прелаты и пасторы в этой счастливой стране, он не стал бы предаваться, во всяком случае, выражать такое желание. Как бы то ни было, враги Цицерона

должны извлечь из этого максимальную выгоду. Его друзья, я думаю, отнесутся к этому снисходительно.

Друзья Цицерона в Риме предпринимали постоянные попытки вернуть его, но он не был полностью удовлетворен. Он неоднократно спорил по этому поводу с Аттиком, не всегда находясь в лучшем расположении духа. Его друзья в Риме, по его мнению, поступали неправильно: они потерпят неудачу, и ему все равно придется доживать свои дни за границей. Аттик, направляясь в Эпир, заезжает к нему в Диррахий, и он уверен, что Аттик не покинул бы Рим, если бы дело не было безнадежным. Читатель этой переписки, конечно, убежден, что Аттик был самым терпеливым из друзей; но в то же время он чувствует, что Аттик не был бы терпелив, если бы Цицерон не был ласков и верен. Консулами в новом году были Лентул и Метелл Непос. Первый был объявлен другом Цицерона, а второй уже отказался от вражды. Клодий больше не был трибуном, а Помпея заставили уступить. Сенат был практически единодушен. Но в Клодии и его партии еще теплилась жизнь, и день тянулся за днем, месяц за месяцем, а Цицерон все еще оставался в Диррахии, ожидая, пока народ примет законопроект. Помпей, который никогда и ни в чем не проявлял искренности, заявил, что необходим законопроект, принятый народом. Наконец, 14 августа законопроект был принят, и Цицерон, хорошо знавший, что делается в Риме, в тот же день перешел из Диррахия в Брундизий, пробыв в Риме год и четыре месяца. В течение 57 г. до н. э., вплоть до своего возвращения, он написал всего три письма, которые дошли до нас, - две очень короткие записки Аттику, в первой из которых он заявляет, что прибудет на основании декрета сената, не дожидаясь закона. Во второй он снова впадает в отчаяние, заявляя, что все кончено. В третьем он просит Метелла о помощи, говоря консулу, что если она не будет оказана в ближайшее время, то человек, для которого ее просят, уже не доживет до ее получения. Метелл оказал помощь очень радушно.

Отмечалось, что во время своего изгнания Цицерон ничего не сделал для литературы, ни писал сочинений, ни готовил речей; подразумевалось, что душевная протрация, вызванная его несчастьями, должна была быть действительно полной, когда человек, чья общая жизнь была удивительна своей плодovitостью, был подавлен в молчании. Следует, однако, иметь в виду, что не может быть побуждения к написанию речей, когда нет возможности их произнести. Что касается его сочинений, включая то, что мы называем его "Философией" и "Риторикой", то те, кто знаком с его работами, помнят, как он был склонен во всем, что он создавал, ссылаться на труды других. Он переводит, цитирует, постоянно использует аргументы и иллюстрации тех, кто был до него. Он был человеком, который редко работал без использования библиотеки. Когда я думаю, как невозможно было бы повторить эту часто рассказываемую историю о жизни Цицерона без толпы книг под рукой, я легко понимаю, почему Цицерон молчал в Фессалонике и Диррахии. Современный критик также заметил, что "в письмах из изгнания мы находим небрежность и неточность выражений, которые сильно контрастируют со стилем его более счастливых дней". Я ни на минуту не стану противопоставлять свое мнение по этому вопросу мнению г-на Тиррелла, но сам я скорее склонен сказать, что стиль писем Цицерона постоянно меняется, он очень отличается, когда он обращается к Аттику, или к своему брату, или к более легким друзьям, таким как Поэт и Требаций; и снова очень отличается, когда речь идет о государственных делах, как в его письмах к Дециму Бруту, Кассию Бруту и Планку. Быть корректным в привычных письмах - не значит очаровывать. Для того чтобы такая работа дошла до потомков, необходима искусная небрежность - изящество свободных выражений, которые, возможно, и стали легкими в результате использования, но далеко не простыми для праздного и непрактичного писателя. Его печаль, возможно, требовала собственного стиля. Я не чувствовал, чтобы мое

необученное восприятие языка было оскорблено неподходящей неряшливостью в выражении его горя.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПЕРВОМУ ТОМУ.

ПРИЛОЖЕНИЕ А.

(См. гл. II, примечание [39])

БИТВА ОРЛА И ЗМЕИ.

Гомер, Илиада, lib. xii, 200:

Οἷ ῥ' ἔτι μερμήριζον ἐφεσταότες παρὰ τάφρῳ. Ὅτις γάρ σφιν ἐπῆλθε περησέμεναι μεμαῶσιν,
Αἰ ἐτὸς ὑψιπέτης ἐπ' ἀριστερὰ λαὸν ἐέργων, Φοινήεντα δράκοντα φέρων ὀνύχεσσι πέλωρον, Ζῶν
ἔτ' ἀσπαίροντα- καὶ οὕπῳ λήθετο χάρμης. Κόψε γὰρ αὐτὸν ἔχοντα κατὰ στῆθος παρὰ δειρήν,
Ἴδνωθει ὡς ὅπιο- ὃ δ' ἀπὸ ἔθεν ἦκε χαμαζε, Ἀλήσας ὀδύνησι, μέσῳ δ' ἐνὶ κάββαλ' ὀμίλῳ Αὐτὸς δὲ
κλάγξας πέτετο πνοῆς ἀνέμοιο.

Перевод отрывка, сделанный Поупом, книга xii, 231:

"Сигнальное знамение остановило проходящее войско, боевая ярость в их удивлении пропала. Птица Юпитера на звонких шестеренках взвилась в небо; Кровоточащая змея, огромных размеров, когтями обвилась; живая и извивающаяся, она ужалила птицу, горло которой получило рану. Обезумев от ужаса, он роняет смертельную добычу, В воздушных кругах проделывает свой мучительный путь, Плывет по ветрам и воплями разрывает небеса. Среди людей лежит падший змей. Они, бледные от ужаса, видят его шпиль, И с бьющимися сердцами созерцают знамение Юпитера".

Илиада лорда Дерби, книга xii, 236:

"За это я читаю будущее, если и впрямь Нам, собирающимся переправиться, этот знак с небес Был послан, слева от изумленной толпы: Парящий орел, несущий в когтях дракона огромных размеров, кроваво-красного оттенка, живого; но сбросил его, пока он не достиг своего дома, и не принес птенцам намеченную добычу."

Цицерон рассказывает эту историю:

"Hic Jovis altisoni subito pinnata satelles, Arboris e trunco serpentis saucia morsu, Ipsa feris subigit transfigens unguibus anguem Semianimum, et varia graviter cervice micantem. Quem se intorquentem lanians, rostroque cruentans, Jam satiata animum, jam duros ultra dolores, Abjicit efflantem, et laceratum affligit in unda; Seque obitu a solis nitidos convertit ad ortus."

Перевод Вольтера:

"Tel on voit cet oiseau qui porte le tonnerre, Blessé par un serpent élançé de la terre; Il s'envole, il entraîne au séjour azuré L'ennemi tortueux dont il est entouré. Le sang tombe des airs. Il déchire, il dévore Le reptile acharné qui le combat encore; Il le perce, il le tient sous ses ongles vainqueurs; Par cent coups redoublés il venge ses douleurs. Le monstre, en expirant, se débat, se replie; Il

exhale en poisons les restes de sa vie; Et l'aigle, tout sanglant, fier et victorieux, Le rejette en fureur, et plane au haut des cieux."

Версия Вергилия, "Энеида", lib. xi., 751:

"Utque volans alte raptum quum fulva draconem Fert aquila, implicuitque pedes, atque unguibus hæsit Saucius at serpens sinuosa volumina versat, Arrectisque horret squamis, et sibilat ore, Arduus insurgens. Illa haud minus urget obunco Luctantem rostro; simul æthera verberat alis."

Перевод Драйдена из "Энеиды" Вергилия, книга xi:

"Так опускается желтый орел с высоты И несет по небу крапчатую змею; Закрепив на добыче кривые когти, Пленник шипит на жидком пути; Против королевского ястреба, хоть и против, Она сражается в объемах и воздвигает свой гребень. Повернувшись к врагу, она напрягает все чешуйки, и стреляет своим вилообразным языком, и виляет своим угрожающим хвостом. Против победителя всякая защита слаба. Императорская птица по-прежнему терзает ее своим клювом: Он разрывает ей кишки и раскалывает грудь, Затем хлопает шестеренками и уверенно взмывает ввысь".

Перевод Питта, книга xi:

"Как когда имперский орел взмывает ввысь и несет по небу какую-нибудь крапчатую змею, пока ее острые когти хватают истекающую кровью добычу, во многих складках играют ее извивающиеся тома, ее начинающиеся медные чешуйки с ужасом поднимаются, сангвинический огонь грозно вспыхивает из ее глаз, она корчится и шипит на своего врага, напрасно, который спокойно завоевывает широкую воздушную равнину, своим сильным крючковатым клювом набрасывается на пленницу и несет борющуюся добычу триумфально по небу."

Версия битвы у Шелли, "Восстание Ислама", канто I:

"Ибо в воздухе я вижу орла и змею, сражённных в поединке, И вот, ослабив свой стремительный полёт, Перед воздушной скалой, на которой я стоял, Орёл, паря, кружил влево и вправо, И завис с затяжными крыльями над потоком, И поразил своим криком воздушное одиночество" "На крылья его опустилс валь света, И каждое золотое перышко сверкало в нем - Перья и чешуя неразрывно слились воедино. Многоцветная кожа змея просвечивала сквозь плюмаж, его витки были переплетены множеством вздутых и узловатых складок, а высоко и далеко, отступая, тонкая и стройная шея поддерживала гребнеобразную голову, которая настороженно двигалась и скользила перед непоколебимым взором орла. "Вокруг, вокруг, беспрестанно кружась, С хлопаньем крыльев и криком, Непрерывно парил орел - То на высоте, скрывая свои уменьшающиеся глаза, То, словно не в силах, опускался в воздух, И все так же пронзительно кричал и выл, И, откинув голову, клювом и когтями неустанно атаковала венчанную змею, которая всегда искала в сердце врага смертельную рану, чтобы нанести ее "Какая жизнь, какая сила зажглась и возникла в сфере этой ужасающей схватки! Ведь от столкновения этих дивных врагов собрался пар, подобный взвешенным морским брызгам; в пустом воздухе, вдаль, плавали растрепанные плюмажи; яркие чешуйки прыгали там, где орлиные когти прокладывали свой путь, как искры во тьме; когда они взмывали, кровь окрашивала снежную пену бурной глубины. "Быстрые шансы в том бою - много проверок, И много перемен - темная и дикая суматоха; Иногда змея на шее врага Замыкала в тугих кольцах свой адамантовый зев, Пока орел, слабея от боли и труда, Не прекращал свой сильный полет, И у моря вяло порхал, не надеясь Сразить своего

противника, который тогда Поднимал высоко свой красный и горящий гребень, сияя победой. "Тогда на белом краю вздымающейся волны, Где они вместе погрузились в воду, Змей ослабил бы свою удушающую хватку, И бичевал бы ветер своими дикими извивами; Ведь, чтобы разорвать эту цепь мучений, Огромная птица, как в отчаянии, Встряхнула бы силой своих непобедимых крыльев И своей сильной шеей разорвала бы внезапным ударом Эти сцепленные кольца, А затем взлетела бы - стремительно, как дым из вулкана. "Хитрость с хитростью, и сила с силой, Так долго, но безрезультатно - И вот, наконец, свершился тот знаменательный бой. До тех пор, пока не погасло дневное светило, он выдержал, когда безжизненный, изрезанный, висел высоко этот могучий змей и наконец упал в море, а над континентом, с хлопаньем крыльев и криком, пролетел орел, тяжело уносимый обессиленным взрывом".

Я отверг негативную критику поэзии Цицерона, приписываемую Ювеналу; но, сделав это, я обязан по справедливости изложить то, что можно найти в других местах у любого более позднего автора, известного как классик. В трактате *De Oratoribus*, приписываемом Тациту и обычно публикуемом им вместе с его произведениями - трактат был начат, вероятно, в последний год правления Веспасиана и завершен только при Домициане - о Цицероне как о поэте говорится с той суровостью порицания, которая, как предполагает автор, была его признанной пустыней. "Ведь Цезарь, - говорит он, - и Брут сочиняли стихи и рассылали их по публичным библиотекам; не лучше, правда, чем Цицерон, но с меньшим общим несчастьем, потому что лишь немногие знали, что они это сделали". Это следует воспринимать так, как оно того стоит. Трактат, пусть он и был написан кем угодно, полон остроумия, очарователен по языку и чувству. Это диалог в манере самого Цицерона, работа автора, хорошо знакомого с предметом обсуждения. Но несомненно, что эти две неудачные строки, которые были процитированы, стали известны в Риме, когда там была партия, стремящаяся сместить Цицерона.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.

(См. гл. IV, примечание [84])

ОТ БРУТА КА. ХСII., ХСIII.

"В то время было два оратора, Котта и Гортензий, которые возвышались над всеми остальными и побуждали меня соперничать с ними. Первый говорил сдержанно и умеренно, ясно и просто, выражая свои мысли подходящим языком. Другой был великолепен и яростен; не таким, каким ты помнишь его, Брут, когда он был уже немощен, но полным жизни как в словах, так и в поступках. Тогда я решил, что Гортензий должен стать для меня образцом, потому что я чувствовал себя похожим на него по энергии и более близким к нему по возрасту. Я заметил, что, когда они вели одно и то же дело - дело Канулея и дело нашего консула Долабеллы, - хотя Котта был старшим адвокатом, Гортензий брал на себя инициативу. Большое скопление людей и шум Форума требуют, чтобы оратор был быстрым, горячим, активным и громким. На следующий год после возвращения из Азии я занялся почетными делами, и в тот год я стремился стать квестором, Котта - консулом, а Гортензий - претором. Затем в течение года я служил квестором в Сицилии. Котта после консульства отправился наместником в Галлию, а Гортензий был и считался первым в адвокатуре. Когда я вернулся из Сицилии через двенадцать месяцев, я начал понимать, что все, что было во мне, достигло такого совершенства, какого только можно было достичь. Я чувствую, что слишком

много говорю о себе, но делаю это не для того, чтобы вы оценили мои способности или красноречие - это далеко от моих мыслей, - а для того, чтобы вы увидели, как велики были мои труды и мое упорство. Затем, когда я уже почти пять лет занимался многими делами и был признан ведущим адвокатом, я занялся в особенности ведением великого дела от имени Сицилии - суда над Верресом, когда я и Гортензий были назначены эдилом и консулом.

"Но поскольку наша дискуссия призвана дать не просто каталог ораторов, а несколько истинных уроков ораторского искусства, давайте посмотрим, что в Гортензии было такого, что мы должны порицать. Когда он вышел из консульства, то, видя, что среди прежних консулов нет никого равного ему, и мало думая о тех, кто был ниже консульского звания, он стал бездельничать в своей работе, которой посвятил себя с детства, и решил жить среди своего богатства, так как считал более счастливую жизнь - несомненно, более легкой. Первые два-три года что-то отняли у него. Как постепенный упадок картины замечен истинному критику, хотя и не виден широкой публике, так было и с его упадком. Из дня в день он все больше и больше становился не похож на себя прежнего, терпя поражение во всех областях ораторского искусства, но особенно в быстроте и непрерывности своих слов. Но сам я никогда не успокаивался, постоянно стараясь увеличить все имеющиеся во мне силы путем всевозможных упражнений, особенно в письме. Остановившись на многих событиях года после того, как я стал эдилом, я перейду к тому, в котором я был избран первым претором, к большому удовольствию общества в целом; ибо я завоевал расположение людей, отчасти благодаря моему вниманию к делам, за которые я взялся, но особенно благодаря некоторому новому напряжению красноречия, столь же превосходному, сколь и необычному, с которым я говорил". Цицерон, когда он написал это о себе, был стариком шестидесяти двух лет, с разбитым сердцем из-за потери дочери, которому, несомненно, было позволено среди его друзей хвалить себя с хрипотцой лет, потому что было понятно, что ему не было равных в том деле, о котором он говорил. Нам легко смеяться над его хвастовством; но рассказ, который он дает о своей ранней жизни и о том, как он достиг совершенства, за которое его прославили, представляет ценность.

ПРИЛОЖЕНИЕ С.

(См. гл. VI, примечание [117])

В это время в Риме все еще преобладало сильное чувство, что растущий вкус к этой декоративной роскоши вредит Республике, подрывая ее простоту и ослабляя ее стабильность. Мы хорошо знаем, что ее простота ушла в прошлое, а стабильность исчезла. Существование Верреса является доказательством того, что это было так; но все же оставалось - и оставалось еще долго после Цицерона - ощущение, что эти красивые вещи были признаком упадка. Мы знаем, как завоеванный Рим перенял вкус к ним у покоренной Греции. "*Græcia capta ferum victorem cepit, et artes intulit agresti Latio*". 286 Цицерон с готовностью подчинился этому новому плену, но с извинениями, что проявилось в его притворном отречении от всех знаний об искусстве. Через два года после этого, в письме к Аттику, давая ему указания относительно покупки статуй, он заявляет, что полностью увлечен своей тягой к подобным вещам, но не без чувства стыда. "*Nam in eo genere sic studio efferimur ut abs te adjuvandi, ab aliis prope reprehendi simus*" 287 - "Хотя ты и поможешь мне, другие, которых я знаю, будут обвинять меня". То же чувство прекрасно, но, несомненно, ложно, выражено Горацием, когда он, как и Цицерон, заявляет о своем равнодушии к подобным лакомствам:

"Драгоценные камни, мрамор, слоновая кость, Тосканские статуэтки, картины, золотые пластины, гетюльские покрывала - Есть те, у кого их нет. А есть, я думаю, и тот, кому безразлично, есть у него или нет".²⁸⁸

Через много лет после этого, во времена Тиберия, Веллий Патеркул говорит о том же, рассказывая о невежестве Муммия в скульптуре, который, захватив Коринф, пригрозил тем, кто должен был уносить статуи с их мест, что если они разобьют какую-нибудь из них, то их заставят заменить ее. "Не сомневайтесь, - говорит историк, - что для республики было бы лучше оставаться в неведении относительно этих коринфских жемчужин, чем понимать их так хорошо, как это происходит сейчас". Та грубость больше соответствовала общественной чести, чем наш нынешний вкус".²⁸⁹ Цицерон прекрасно понимал одной стороной своего ума, что по мере того, как в умах богачей росла тяга к этим вещам, как ведущие римляне того времени предавались роскоши, а не труду, почва, на которой стояла Республика, должна была истощиться. Марцелл или Сципион прославились тем, что украсили город. Веррес или Гортензий - даже Цицерон - желал иметь красивые вещи для своего дома. Но все же другой стороной своего ума он видел, что совершенный гражданин может ценить искусство и при этом выполнять свой долг, может ценить искусство и при этом спасти свою страну. Чего он не видел, так это того, что соблазны роскоши, хотя и совместимы с добродетелью, но противостоят ей. Верблюда можно заставить пройти через игольное ушко, но это трудно.

ПРИЛОЖЕНИЕ D.

(См. гл. VII, примечание [144])

PRO LEGE MANILIA-CA. X., XVI.

"Utinam, Quirites, virorum fortium, atque innocentium copiam tantam haberetis, ut hæc vobis deliberatio difficilis esset, quemnam potissimum tantis rebus ac tanto bello præficiendum putaretis! Nunc vero cum sit unus Cn. Pompeius, qui non modo eorum hominum, qui nunc sunt, gloriam, sed etiam antiquitatis memoriam virtute superarit; quæ res est, quæ cujusquam animum in hac causa dubium facere posset? Ego enim sic existimo, in summo imperatore quatuor has res inesse oportere, scientiam rei militaris, virtutem, auctoritatem, felicitatem. Quis igitur hoc homine scientior umquam aut fuit, aut esse debuit? qui e ludo, atque pueritiæ disciplina, bello maximo atque acerrimis hostibus, ad patris exercitum atque in militiæ disciplinam profectus est? qui extrema pueritia miles fuit summi imperatoris? ineunte adolescentia maximi ipse exercitus imperator? qui sæpius cum hoste confligit, quam quisquam cum inimico concertavit? plura bella gessit, quam cæteri legerunt? plures provincias confecit,

"Я хотел бы, Квирит, чтобы перед тобой был такой большой выбор людей, способных в одно и то же время и честных, что ты затруднился бы решить, кого лучше выбрать для командования в такой важной войне, как эта. Но теперь, когда один Помпей превзошел в достижениях не только живущих, но и всех, о ком мы читали в истории, что может заставить кого-либо колебаться в этом вопросе? По моему мнению, в полководце следует желать четыре качества: военные знания, доблесть, власть и удача. Но кто был или когда-либо хотел быть более искусным, чем этот человек, который, только что из школы и из уроков своего детства, был подвергнут дисциплине армии своего отца во время одной из наших самых тяжелых войн, когда наши враги были сильны против нас? В ранней юности он служил под началом нашего величайшего генерала. С годами он сам командовал большой армией. Он чаще других участвовал в сражениях, чем другие в ссорах. Мало кто читал о стольких

quam alii concupiverunt? cujus adolescentia ad scientiam rei militaris non alienis præceptis, sed suis imperiis; non offensionibus belli, sed victoriis; non stipendiis, sed triumphis est erudita? Quod denique genus belli esse potest, in quo illum non exercuerit fortuna reipublicæ? Civile; Africanum; Transalpinum; Hispaniense; mistum ex civitatibus atque ex bellicosissimis nationibus servile; navale bellum, varia et diversa genera, et bellorum et hostium, non solum gesta ab hoc uno, sed etiam confecta, nullam rem esse declarant, in usu militari positam, quæ hojus viri scientiam fugere posset.

"Quare cum et bellum ita necessarium sit, ut negligi non possit; ita magnum, ut accuratissime sit administrandum; et cum ei imperatorem præficere possitis, in quo sit eximia belli scientia, singularis virtus, clarissima auctoritas, egregia fortuna; dubitabitis, Quirites, quin hoc tantum boni, quod vobis a diis immortalibus oblatum et datum est, in rempublicam conservandam atque amplificandam conferatis?"

сражениях, в которых он участвовал. Он завоевал больше провинций, чем другие хотели разграбить. Он научился военному искусству не по написанным наставлениям, а на собственной практике; не по поражениям, а по победам. Он считает не свои походы, а победы, которые он одержал. В какой войне Республика не пользовалась его услугами? Вспомните нашу Гражданскую войну²⁹⁰ - нашу Африканскую войну²⁹¹ - нашу войну по ту сторону Альп²⁹² - наши испанские войны²⁹³ - нашу Сервильную войну²⁹⁴ - которая велась силами стольких могущественных людей, и эту Морскую войну.²⁹⁵ Как много у нас было врагов, как разнообразны были наши состязания! И все они были не только выдержаны одним человеком, но и завершены столь славно, чтобы показать, что в практике ведения войны нет ничего, что ускользнуло бы от его знания.

"Видя, таким образом, что этой войной нельзя пренебрегать; что ее важность требует максимальной осторожности в управлении ею; что она требует генерала, в котором должны быть уверены военная наука, явная доблесть, выдающийся авторитет и выдающаяся удача, - сомневаетесь ли вы, квириды, что вам следует использовать великое благословение, которое боги дали вам для сохранения и славы Республики?"

Однако, перечитав это произведение еще раз, я почти сомневаюсь, есть ли в нем отрывки, которые должны быть выбраны как превосходящие другие.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е.

(См. гл. XI, примечание [235])

ЛЮКАН, ЛИБЕР I.

"O male concordēs, nimiaque cupidine cæci,
Quid miscere juvat vires orbemque tenere In medio".

"Temporis angusti mansit concordia discors,
Paxque fuit non sponte ducum. Nam sola futuri

"О люди, столь не приспособленные к согласию, О люди, ослепленные жадностью, Какая польза от того, что вы соедините свои силы и будете владеть миром между собой?"

"Недолго длился этот злополучный договор, и наступил мир, который каждый из них

Crassus erat belli medius mora. Qualiter undas
Qui secat, et geminum gracilis mare separat
isthmus, Nec patitur conferre fretum; si terra
recedat, Ionium Ægæo frangat mare. Sic, ubi
sæva Arma ducum dirimens, miserando funere
Crassus Assyrias latio maculavit sanguine
Carras."

"Dividitur ferro regnum; populiue potentis,
Quæ mare, quæ terras, quæ totum possidet
orbem, Non cepit fortuna duos."

"Tu nova ne veteres obscurent acta triumphos,
Et victis cedat piratica laurea Gallis, Magne,
times; te jam series, ususque laborum Erigit,
impatiensque loci fortuna secundi. Nec
quemquam jam ferre potest Cæsare priorem,
Pompeiusve parem. Quis justius induit arma,
Scire nefas; magno se iudice quisque tuetur,
Victrix causa deis placuit sed victa, Catoni.[296](#)

Nec coiere pares; alter vergentibus annis In
senium, longoque togæ tranquillior usu
Dedidicit jam pace ducem; famæque petitor
Multa dare in vulgas; totus popularibus auris
Impelli, plausuque sui gaudere theatri; Nec
reparare novas vires, multumque priori Credere
fortunæ. Stat magni nominis umbra".

"Sed non in Cæsare tantum Nomen erat, nec
fama ducis; sed nescia virtus Stare loco;
solusque pudor non vincere bello. Acer et
indomitus; quo spes, quoque ira vocasset, Ferre
manum, et nunquam te merando parcere ferro;
Successus urgere suos; instare favori
Numinis."-Lucan, lib. i.

ненавидел. Один лишь Красс стоял между
ними, препятствуя на время грядущей войне,
как перешеек разделяет две воды и не дает
морю встретиться с морем. Если перешеек
уступает место, ионические волны и
Эгейское море бьются в пене друг о друга.
Так было и с оружием двух вождей, когда
Красс пал и залил ассирийские Карры
римской кровью".

"Тогда владение империей было отдано на
суд меча. Судьбы народа, владеющего
морем, землей и всем миром, не хватило на
двух человек".

"Ты, Магнус, ты, Помпеус, боишься, как бы
новые подвиги не оскудели твоими старыми
триумфами, и рассеяние пиратов не стало бы
ничтожным по сравнению с завоеванием
Галлии. Опыт многих войн настолько
возвысил тебя, о Сезар, что ты не можешь
мириться со вторым местом. Сезар не
потерпит себе равных, а Помпею не будет
равных. Чье дело было лучше, поэт не смеет
спрашивать! У каждого будет свой защитник
в истории. Боги встали на сторону
завоевателя. Катон решил следовать за
побежденным.

"Но, конечно, мужчины были не равны. Тот,
кто был в годах, кто уже сменил оружие на
мирное одеяние, научился видеть в
государственном деятеле полководца,
привык говорить с народом, предаваться
ораторскому искусству и любить
аплодисменты своего театра. Он не
заботился о том, чтобы восстановить свои
силы, уповая на свою прежнюю удачу. От
него осталась лишь тень его великого
имени".

"Имя Сезара не так велико, и его характер как
полководца не так высок. Но есть дух,
который не может довольствоваться
никакими достижениями; есть только одно
чувство стыда - то, что он не победил;
человек решительный, не поддающийся
контролю, берущий в руки оружие, куда бы
ни позвала его жажда завоевания или гнев;
человек, никогда не щадящий меча,
создающий все из своей собственной удачи,
всегда уповая на благосклонность богов".

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Froude's Cæsar, p.444.

2 Ibid., p.428.

3 Ad Att., lib. xiii., 28.

4 Ad Att., lib. ix., 10.

5 Froude, p.365.

6 Ad Att., lib. ii., 5: "Quo quidem uno ego ab istis capi possum".

7 Цинцианский закон, о котором мне еще придется говорить, запрещал римским адвокатам брать какую-либо плату за свои услуги. Цицерон прямо заявляет, что всегда подчинялся этому закону. Он обвинял других в неповиновении ему, как, например, Гортензия. Но ни один современник не обвинял его. Мистер Коллинз ссылается на некоторые книги, подаренные Цицерону его другом Пьетом. Они упоминаются в письме к Аттику, lib. i., 20; и Цицерон, шутя, говорит, что он посоветовался с Цинцием - возможно, с каким-то потомком того, кто издал закон за 145 лет до этого, - относительно законности принятия подарка. Но у нас нет оснований полагать, что он когда-либо выступал в качестве защитника Пета.

8 Вергилий, "Энеида", i., 150:

"Ac, veluti magno in populo quum sæpe coorta est Seditio, sævitque animis ignobile vulgus;
Jamque faces, et saxa volant; furor arma ministrat: Tum, pietate gravem ac meritis si forte virum
quem Consprehendere, silent, arrectisque auribus adstant; Iste regit dictis animos, et pectora mulcet."

9 Автор говорит, что история от Цицерона была бы бесценной, и слова "interitu ejus utrum respublica an historia magis doleat".

10 Об этом говорит Квинтилиан, lib. ii., с. 5. Отрывок из Ливия не сохранился. Комментаторы полагают, что он взят из письма к сыну.

11 Веллий Патеркул, lib. ii., с. 34.

12 Валерий Максим, lib. iv., с. 2; 4.

13 Плиний, Hist. Nat., lib. vii., xxxi., 30.

14 Марциал, lib. xiv., 188.

15 Лукан, lib. vii., 62:

"Cunctorum voces Romani maximus auctor Tullius eloquii, cujus sub jure togaque Pacificas sævus
tremuit Catilina secures, Pertulit iratus bellis, cum rostra forumque Optaret passus tam longa
silentia miles Addidit invalidæ robur facundia causæ."

16 Тацит, De Oratoribus, xxx.

17 Ювенал, viii., 243.

18 Сравнение Демосфена и Цицерона.

19 Квинтилиан, xii., 1.

20 "Repudiatus vigintiviratus". Он отказался от официальной должности, ставшей вакантной после смерти некоего Коскония. См. "Письма к Аттику", 2,19.

21 Флор, lib. iv., 1. В письме Эссекса к Фолку Гревиллу, написание которого мистер Спеддинг приписывает Бэкону, говорится, что Флор просто эпатировал Ливия (Life, vol. ii., p.23). В этом, как мне кажется, Бэкон лишил его почестей.

22 Флор, lib. iv., 1.

23 Саллюст, Catilinaria, xxiii.

24 Я добавлю заключительный отрывок из псевдодекламации, чтобы читатель мог увидеть характер слов, которые были вложены в уста Саллюста: "Quos tyrannos appellabas, eorum nunc potentiæ faves; qui tibi ante optumates videbantur, eosdem nunc dementes ac furiosos vocas; Vatinii caussam agis, de Sextio male existumas; Bibulum petulantissimis verbis lædis, laudas Cæsarem; quem maxime odisti, ei maxime obsequeris. Aliud stans, aliud sedens, de republica sentis; his maledicis, illos odisti; levissime transfuga, neque in hac, neque illa parte fidem habes." Поэтому Дион Кассий заявил, что Цицерон был назван отступником. καὶ αὐτόμαλος ὠνομάζετο.

25 Dio Cassius, lib. xlvī, 18: πρὸς ἦν καὶ αὐτὴν τοιαύτας ἐπίστολας γραφεῖς οἷας ἂν γράψειεν ἀνὴρ σκωπτόλης ἀθυρόγλωρος ... καὶ προσέτι καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ διαβάλλειν ἐπεχείρησε τοσαύτη ἄσελγεία καὶ ἀκαθαρσία παρὰ πάντα τὸν βίον χρώμενος ὥστε μηδὲ τῶν συγγενεστάτων ἀπέχεσθαι, ἀλλὰ τὴν τε γυναῖκα προαγωγεύειν καὶ τὴν θυγατέρα μοιχεύειν.

26 Как водится, де Квинси специально называет Цицерона человеком совести. "Цицерон - один из немногих языческих государственных деятелей, которого можно назвать глубоко совестливым человеком", - говорит он. Цель его нелогичного эссе о Цицероне, несомненно, основательно враждебна этому человеку. Его стоит прочитать, прежде всего, из-за забавной ярости, с которой он нападает на биографа Миддлтона.

27 Квинтилиан, lib. ii., c. 5.

28 De Finibus, lib. v., ca. xxii.: "Nemo est igitur, qui non hanc affectionem animi probet atque laudet."

29 De Rep., lib. vi., ca. vii.: "Nihil est enim illi principi deo, qui omnem hunc mundum regit, quod quidem in terris fiat acceptius." Tusc. Quest., lib. i., ca. xxx.: "Vetat enim dominans ille in nobis deus".

30 De Rep., lib. vi., ca. vii.: "Certum esse in cœlo definitum locum, ubi beati ævo sempiterno fruuntur."

31 Hor., lib. i., Ode xxii.,

"Non rura qua; Liris quieta Mordet aqua taciturnus amnis".

32 Таково было предполагаемое положение вещей в Риме. Приняв специальный закон, плебей мог стать патрицием, что иногда и происходило. Во времена Юлия Цезаря патриции почти вымерли, и он ввел пятьдесят новых семейств законом Кассия.

33 De Orat., lib. ii., ca. 1.

34 Brutus, ca. lxxxix.

35 Следует помнить, что в латинской литературе признанной практикой авторов было массовое заимствование из греческого, и такое заимствование не сопровождалось обвинением в плагиате. Предполагалось, что Вергилий, заимствуя мысли и язык Гомера, просто проявлял рассудительность, приспособлявая греческие изыски к римским ушам и римскому интеллекту.

Идея литературного воровства возникла позже и выросла вместе с личными претензиями на оригинальность и авторским правом. Шекспир не признавался, откуда он брал свои сюжеты, потому что в этом не было необходимости. Теперь, если писатель заимствует сказку у французов, считается, что он должен, по крайней мере, быть обязан, а возможно, и заплатить за нее.

36 Ювенал, Sat. x., 122,

"O fortunatam natam me Consule Romam! Antoni gladios potuit contemnere, si sic Omnia dixisset."

37 De Leg., lib. i., ca. 1.

38 Жизнь и времена Генри Лорда Броума, написанные им самим, vol. i., p. 58.

39 Я привожу девять версий, на которые я ссылаюсь, в Приложении А в конце этого тома, чтобы те, кто интересуется подобными вопросами, могли сравнить слова, которыми одна и та же картина была нарисована разными руками.

40 Pro Archia, ок. vii.

41 Брут, ок. хс.

42 Тацит, De Oratoribus, xxx.

43 Квинтилиан, lib. xii., c. vi., писавший примерно в то же время, что и этот эссеист, рассказывает нам об этих трех случаях раннего ораторского искусства, не указывая, однако, точного возраста в обоих случаях. Он также напоминает нам, что Демосфен выступал с речью, когда был еще мальчиком, а Август в возрасте двенадцати лет произнес публичную речь в честь своей бабушки.

44 Брут, ок. хс.

45 Брут, xci.

46 Квинтилиан, lib. xii., vi.: "Quum jam clarum meruisset inter patronos, qui tum erant, nomen, in Asiam navigavit, seque et aliis sine dubio eloquentiæ ac sapientiæ magistris, sed præcipue tamen Apollonio Moloni, quem Romæ quoque audierat, Rhodi rursus formandum ac velut recognendum dedit."

47 Brutus, xci.

48 Всего переписка содержит 817 писем, из которых 52 были написаны Цицерону, 396 - Аттику, а 369 - друзьям в целом. У нас нет писем Аттика к Цицерону.

49 Квинтилиан, lib. x., ca. 1.

50 Клеменс Александрийский в своем увещевании к язычникам очень сурово говорит о беззакониях этих обрядов. "Все зло тому, - говорит он, - кто ввел их в моду, был ли это Дарданус, или Эетион фракиец, или Мидас фригиец". Старая история, которую он повторяет

о Церере и Прозерпине, возможно, была правдивой, но он был совершенно не осведомлен об изменениях, которые произвел здравый смысл веков.

51 De Legibus, lib. ii., c. xiv.

52 Именно тогда началась иностранная империя, при управлении которой были утрачены простота и истинность целей и патриотизм Республики.

53 Повороты судьбы, которым подвергся Марий, как он был по шею зарыт в грязь, прячась в болотах Минтурны, как его убили бы предательские магистраты этого города, если бы он не остановил палачей огнем своих глаз; как он сидел и мрачнел, бездомный изгнанник, среди развалин Карфагена - все это случилось с ним, когда он бежал от партизан Суллы, - относятся к живописным эпизодам истории. Существует трагедия *"Раны гражданской войны"*, написанная Лоджем, который родился примерно за восемь лет до Шекспира, в которой история Мариуса рассказана с изысканной поэзией, но также с некоторыми смехотворными дополнениями. Галл, которого наняли убить Мариуса, но он испугался его глаз, говорит на плохом французском вперемешку с плохим английским и взывает к Иисусу в своем ужасе!

54 Брут, ок. хс.

55 Флор рассказывает, что сенаторов и рыцарей было 2000, но каждому разрешалось убивать, кого он пожелает. "Quis autem illos potest computare quos in urbe passim quisquis voluit occidit" (lib. iii., ca. 21).

56 Около 487 фунтов 10 шиллингов. В "Словаре греческих и римских древностей" Смита аттический талант оценивается в 243 фунта 15 шиллингов. Моммзен называет цену в 12 000 денариев, что составляет примерно ту же сумму.

57 Суетоний говорит о его смерти. Флор упоминает о проскрипциях и отречении от престола. Веллий Патеркул красноречиво описывает ужасы резни и конфискации. Дио Кассий снова и снова упоминает о сулланской жестокости. Но никто из них не называет причину отречения Суллы от престола.

58 Vol. iii., p.386. Я цитирую по переводу мистера Диксона, поскольку не читаю по-немецки.

59 Защищая Росция Америна, когда Сулла еще был у власти, он говорит о сулланской резне как о "пугне Канн", резне столь же подлой, столь же позорной, столь же кровавой, как и поражение при Каннах.

60 Mommsen, vol. iii., p. 385.

61 Pro Sexto Roscio, ca. xxi.: "Quod antea causam publicam nullam dixerim." Он также говорит в "Бруте", ок. хс.: "Itaque prima causa publica, pro Sex. Roscio dicta". Под "публичной причиной" он подразумевает уголовное обвинение в отличие от гражданского иска.

62 Pro Publio Quintio, ca. i.: "Quod mihi consuevit in ceteris causis esse adjumento, id quoque in hac causa deficit."

63 Pro Publio Quintio, ca. xxi.: "Nolo eam rem commemorando renovare, cujus omnino rei memoriam omnem tolli funditus ac deleri arbitror oportere."

64 Pro Roscio, ca. xlix. Цицерон говорит о нем, что он непременно предположит, что что-либо было бы сделано по закону, о котором ему скажут, что это было сделано по приказу Суллы. "Putat homo imperitus morum, agricola et rusticus, ista omnia, quæ vos per Sullam gesta esse dicitis, more, lege, jure gentium facta."

65 Pro Sexto Roscio, ca. 1.

66 Pro Sexto Roscio, ca. xxix.: "Ejusmodi tempus erat, inquit, ut homines vulgo impune occiderentur."

67 Pro T. A. Milone, ca. xxi.: "Cur igitur cos manumisit? Metuebat scilicet ne indicarent; ne dolorem perferre non possent."

68 Pro T. A. Milone, ca. xxii.: "Heus tu, Ruscio, verbi gratia, cave sis mentiaris. Clodius insidias fecit Miloni? Fecit. Certa crux. Nullas fecit. Sperata libertas".

69 Pro Sexto Roscio, ca. xxviii.

70 Там же.

71 Там же, ок. xxxi.

72 Pro Sexto Roscio, ca. xlv.

73 Pro Sexto Roscio, ca. xlv. Вся картина Хрисогона, его дома, роскоши и тщеславия слишком длинна для цитирования, но на нее стоит сослаться тем, кто хочет увидеть, насколько смелым и блестящим мог быть Цицерон.

74 Они положили восковые таблички, на которых записали свое решение, начертав буквы C, A или NL - Condemno, Absolvo или Non liquet, - желая показать, что средства для принятия решения не казались им достаточными.

75 Квинтилиан рассказывает (lib. x., ca. vii), что речи Цицерона в том виде, в каком они дошли до наших дней, были сокращены - вероятно, он имеет в виду только их аранжировку - Тиро, его рабом, секретарем и другом. "Nam Ciceronis ad præsens modo tempus aptatos libertus Tiro contraxit".

76 Квинтилиан, lib. xi., ca. iii: "Nam et toga, et calecus, et capillus, tam nimia cura, quam negligentia, sunt reprehendenda." * * * "Sinistrum brachium eo usque allevandum est, ut quasi normalem illum angulum faciat." Quint., lib. xii., ca. x., "ne hirta toga sit;" не позволяйте тоге быть растрепанной; "non serica:" шелк, который здесь запрещен, был шелком женоподобности, а не тем шелком авторитета, которым гордятся наши барристеры. "Ne intonsum caput; non in gradus atque annulos comptum". Я бы занял слишком много места, если бы стал приводить здесь все уроки, преподанные этим профессором выправки в отношении ношения тоги.

77 Возникло сомнение, не был ли он женат, когда отправился в Грецию, поскольку в противном случае его дочь, похоже, стала бы женой раньше, чем это вероятно. Однако дата, как правило, приводится в том виде, в каком она указана здесь.

78 Тацит, Анналы, xi., 5, говорит: "Qua cavetur antiquitus, ne quis, ob causam orandam, pecuniam donumve accipiat."

79 De Off., lib. i., ca. xlii.: "Sordidi etiam putandi, qui mercantur a mercatoribus, quod statim vendant. Nihil enim proficiunt, nisi admodum mentiantur".

80 De Off., lib. i., ca. xlii.: "Primum improbantur ii quæstus, qui in odia hominum incurrunt: ut portitorum ut fœeneratorum." Портиторы были низшими сборщиками определенных пошлин, размещенными в морских портах, которые, как предполагается, были крайне досадными в своих отношениях с населением.

81 Philipp., 11-16.

82 Пусть тот, кто сомневается в этом утверждении, обратится к судьбе жителей Алезии и Укселодунума. Сезар не убивал и не пытал ради жестокости, но никогда не отказывался от гуманности, когда целесообразность, как ему казалось, требовала жертв. Мужчины и женщины, старые и молодые, многие или немногие, они без угрызений совести приносились в жертву, если того требовала его цель.

83 Pro Pub. Quintio, ca. xxv.

84 См. Приложение В, Брут, ок. xcii., xciii.

85 Брут, ок. xciii: "Animos hominum ad me dicendi novitate converteram".

86 Следует помнить, что этот совет был дан в действительности, когда Цицерон впоследствии стал кандидатом на пост консула, но он упомянут здесь, чтобы показать, как добивались великих государственных постов.

87 Цицерон говорит о Сицилии как о разделенной на две провинции: "Quæstores utriusque provinciæ". Однако там был только один претор или проконсул. Но остров был захвачен римлянами в два разных времени. Лилибеум и западная часть острова были получены от карфагенян в конце первой Пунической войны, в то время как Сиракузы были завоеваны Марцеллом и заняты во время второй Пунической войны.

88 Тацит, Анны, lib.xi., ca.xxii.: "Post, lege Sullæ, viginti creati supplendo senatui, cui judicia tradiderat."

89 De Legibus, iii., xii.

90 Pro P. Sexto, lxxv.

91 Pro Cluentio, lvi.

92 Contra Verrem, Act.iv., ca. xi.: "Ecquæ civitas est, non modo in provinciis nostris, verum etiam in ultimis nationibus, aut tam potens, aut tam libera, aut etiam am immanis ac barbara; rex denique ecquis est, qui senatorem populi Romani tecto ac domo non invitet?".

93 Contra Verrem, Act. i., ca. xiii.: "Omnia non modo commemorabuntur, sed etiam, expositis certis rebus, agentur, quæ inter decem annos, posteaquam judicia ad senatum translata sunt, in rebus judicandis nefarie flagitioseque facta sunt."

Pro Cluentio, lvi.: "Locus, auctoritas, domi splendor, apud exterarum nationum nomen et gratia, toga prætexta, sella curulis, insignia, fascis, exercitus, imperia, provincia."

94 Contra Verrem, Act.i., ca. xviii.: "Quadringenties sestertium ex Sicilia contra leges abstulisse." В "Словаре греческих и римских древностей" Смита нам сообщают, что тысяча сестерций равна в наших деньгах 8 фунтам 17 шиллингов. 1d. Об оценочной сумме этого грабежа нам еще придется поговорить.

95 Pro Plancio, xxvi.

96 Pro Plancio, xxvi.

97 М. дю Розуар был французским критиком и вместе с М. Герольтом и М. де Герлем переводил и аннотировал "Орации" Цицерона для издания латинских классиков М. Панкука.

98 B Verrem Actio Secunda, lib. i., vii.

99 Плутарх говорит, что Цецилий был эмансипированным рабом и евреем, что не могло быть правдой, так как он был римским сенатором.

100 De Oratore, lib. ii., c. xlix. Это чувство прекрасно выражено в словах, вложенных в уста Антония в дискуссии о чарах и атрибутах красноречия: "Qui mihi in liberum loco more majorum esse deberet".

101 B Q. Cæc. Divinatio, ca. ii.

102 Divinatio, ca. iii.

103 Ibid., ca. vi.

104 Ibid., ca. viii.

105 Divinatio, ca. ix.

106 Там же, ок. xi.

107 Там же.

108 Там же, ок. xii.

109 Actio Secunda, lib. ii., xl. Он говорит о Стенее и незаконности некоторых действий Верреса против него. "Если бы обвиняемого можно было осудить в отсутствие обвинителя, думаешь ли ты, что я отправился бы в маленькой лодке из Вибо в Велию, среди всех опасностей, уготованных мне твоими беглыми рабами и пиратами, когда я должен был спешить, рискуя жизнью, зная, что ты сбежишь, если я не буду присутствовать при этом?".

110 Actio Secunda, l. xxi.

111 In Verrem, Actio Prima, xvi.

112 In Verrem, Actio Prima, xvi.

113 Мы должны понимать, что покупатель на аукционе назвал сумму, за которую он выполнит работу, а имущество несовершеннолетнего, который отвечал за состояние храма, было обременено этой суммой.

114 In Verrem, Actio Secunda, lib. ii., vii.

115 Там же, ix.

116 Там же, lib. ii., xiv.

117 См. Приложение С.

118 In Verrem, Actio Secunda, lib. ii., ca. xxxvi.

119 Там же. "Una nox intercesserat, quam iste Dorotheum sic diligebat, ut diceres, omnia inter eos esse communia." - Жена и все. В этих повествованиях "Исте" всегда означает Веррес.

120 Это были животрепещущие политические вопросы момента. Это было похоже на то, как если бы адвокат наших дней пожелал, чтобы какой-нибудь опальный член парламента спустился в палату и помог правительству защитить Турцию в Азии и вторгнуться в Зулуленд.

121 "Sit in ejus exercitu signifer". Под "ejus" подразумевался Гортензий, будущий консул, которого Цицерон тоже хотел считать указывающим. Этот отрывок см. в In Verrem, Actio Secunda, lib. ii., xxxi.

122 In Verrem, Actio Secunda, lib. iii., 11.

123 "Exegi monumentum ære perennius", - славно сказал Гораций. "Sum pius Æneas" - выражение Вергилия, вложенное в уста его героя. "Ipse Menaleas", - сказал сам Вергилий. Гомер и Софокл представляют своих героев с самодовольными возгласами:

Εἴμ' Οδυσσεὺς Δαερτιάδης ὃς πασι δόλοισι Ἀνθρώποισι μέλω, καὶ μὲν κλέος οὐρανὸν ἵκει.
Одиссея, кн. ix., 19 и 20. Ὁ πᾶσι κλεινὸς Οἰδίπους καλούμενος. Œdipus Tyrannus, 8.

124 Pro Plancio, xxvi.: "Frumenti in summa caritate maximum numerum miseram; negotiatoribus comis, mercatoribus justus, municipibus liberalis, sociis abstinens, omnibus eram visus in omni officio diligentissimus."

125 In Verrem, Actio Secunda, lib. iii., ix.: "Is erit Apronius ille; qui, ut ipse non solum vita, sed etiam corpore atque ore significat, immensa aliqua vorago est ac gurgis vitiorum turpitudinumque omnium. Hunc in omnibus stupris, hunc in fanorum expilationibus, hunc in impuris conviviis principem adhibebat; tantamque habebat morum similitudo conjunctionem atque concordiam, ut Apronius, qui aliis inhumanus ac barbarus, isti uni commodus ac disertus videretur; ut quem omnes odissent neque videre vellent sine eo iste esse non posset; ut quum alii ne conviviis quidem iisdem quibus Apronius, hic iisdem etiam poculis uteretur, postremo, ut, odor Apronii teterrimus oris et corporis, quem, ut aiunt, ne bestiæ quidem ferre possent, uni isti suavis et jucundus videretur. Ille erat in tribunali proximus; in cubiculo socius; in convivio dominus, ac tum maxime, quum, accubante prætextato prætoris filio, in convivio saltare nudus cœperat."

126 В этой и последней речи много говорится о *Кибее*. Деньги, потраченные на нее, проходили по счетам, как будто корабль был построен для защиты острова от пиратов, но предназначался он исключительно для хранения награбленного губернатором.

127 In Verrem, Actio Secunda, lib. iv., vii.

128 In Verrem, Actio Secunda, lib. iv., lvii.

129 In Verrem, Actio Secunda, lib. v., lxvi.: "Facinus est vinciri civem Romanum; scelus verberari; prope parricidium necari; quid dicam in crucem tollere!"

130 In Verrem, Actio Secunda, lib. v., lxv.

131 In Verrem, Actio Secunda, lib. v., xx.: "Onere suo plane captam atque depressam."

132 In Verrem, Actio Secunda, lib. v., xxvi.

133 Там же, xxviii.

134 Pro Fonteio, xiii.

135 De Oratore, lib. ii., lix.: "Perspicitis, hoc genus quam sit facetum, quam elegans, quam oratorium, sive habeas vere, quod narrare possis, quod tamen, est mendaciunculis aspergendum,

sive fingas." Либо придумайте историю, либо, если у вас есть старая, добавьте к ней что-нибудь, чтобы она стала действительно смешной. Есть ли пастор, епископ, архиепископ, который, если у него есть хоть капля чувства юмора, не делает того же самого?

136 Цицерон, Pro Cluentio, I., очень ясно объясняет свою собственную идею относительно своих выступлений в качестве адвоката, и, возможно, его можно принять за объяснение идей барристеров наших дней. "Ошибается тот, - говорит он, - кто думает, что получает мои собственные мнения в речах, произнесенных в судах; такие речи - это то, чего требуют особые случаи, и не должны восприниматься как исходящие от адвоката как его собственные".

137 При обсуждении этого вопроса мы вынуждены скорее удивляться тому, как много великих исторических деяний того времени не упоминается или упоминается очень незначительно в письмах Цицерона. О том, как Помпей расправился с пиратами и как он сражался на Востоке, почти ничего не говорится, как и о делах Цезаря в Испании. О великих операциях Цезаря в Галлии упоминается только в связи с пребыванием в должности лейтенанта брата Цицерона Квинта и работой его молодого друга Требатия. Ничего не говорится о том, как Цезарь вошел в Рим после перехода Рубикона; ничего о том, как проходили бои при Диррахии и Фарсалии; очень мало о смерти Помпея; ничего о задержке Цезаря в Египте. В письмах речь идет о личных делах и мыслях Цицерона, а также о политике Рима как города. Отрывок, на который делается ссылка, содержится в житии Аттика, прим. xvi: "Quæ qui legat non multum desideret historiam contextam illorum temporum".

138 Жан Георг Грифе - немец, всю жизнь проработавший профессором в Лейдене и, помимо прочих классических трудов, занимавшийся систематизацией и редактированием писем Цицерона. Он умер в 1703 году.

139 Следует, однако, пояснить, что продолжающиеся исследования и расширение знаний привели к тому, что порядок писем и назначенные для них даты время от времени менялись; и, хотя многое было сделано для достижения точности, еще больше предстоит сделать. В своих ссылках на буквы я сначала приводил их как в соответствии с расположением, сделанным Грёвием, так и в соответствии с номерами, присвоенными в издании, которым я пользуюсь; но я обнаружил, что номера могут только ввести в заблуждение, поскольку никакая нумерация еще не была принята в качестве фиксированной. Каким бы произвольным и даже фантастическим ни было расположение Грёвиуса, лучше ограничиться этим, поскольку оно было признано и позволит моим читателям найти буквы, если они этого захотят. Если мистер Тиррелл продолжит и завершит свое издание переписки, он далеко продвинется в достижении желаемой точности. За то время, пока эта моя работа находилась в печати, появился второй том.

140 Особенности характера Цицерона нигде так четко не прослеживаются, как в его отношениях с дочерью и словах о ней. Любовь, а затем печаль после ее смерти - неримская, почти женская, но очень трогательная.

141 Прилагаю отрывок из нашего хорошо известного английского перевода: "Власть пиратов зародилась в Киликии. Их продвижение было тем опаснее, что поначалу его почти не замечали. Во время Митридатовой войны они обрели новое доверие и смелость, благодаря некоторым услугам, которые они оказали царю. После этого, когда римляне были вовлечены в гражданскую войну у самых ворот своей столицы, море осталось без охраны, и пираты постепенно перешли к более высоким делам - они нападали не только на корабли, но и на острова и приморские города. Многие люди, отличавшиеся богатством, родовитостью и способностями, присоединились к ним и помогали в их грабежах, как будто их работа была

достойна честолюбивых людей. В разных местах у них были арсеналы, порты и сторожевые башни, сильно укрепленные. Их флоты были не только хорошо укомплектованы, снабжены искусными лоцманами и приспособлены к своему делу благодаря своей легкости и быстроте, но и отличались парадным тщеславием, более унижительным, чем их сила, в золоченых кормах, пурпурных навесах и плакированных веслах, как будто они гордились и торжествовали в своем злодействе. На всех берегах звучала музыка и устраивались пьяные гуляния. Здесь генералы попадали в плен, а города, захваченные пиратами, платили за них выкуп, к большому позору римской державы. Число их галер достигало тысячи, а захваченных городов - четырехсот". Этот отрывок взят из жизни Помпея.

142 Florus, lib. iii., 6: "An felicitatem, quod ne una cuidam navis amissa est; an vero perpetuitatem, quod amplius piratæ non fuerunt."

143 О необыкновенном доверии к Помпею есть много доказательств в истории Рима этого периода, но ни одно, пожалуй, не яснее, чем исключение, сделанное в эту пользу при формулировке законов. В аграрном законе, предложенном трибуном Руллом и опротестованном Цицероном в бытность его консулом, есть пункт, предписывающий всем генералам Республики отчитываться за трофеи, захваченные ими на войне. Но есть особое исключение в пользу Помпея. "Pompeius exceptus esto". Как будто ни один трибун не осмелился предложить закон, касающийся Помпея.

144 См. приложение D.

145 Асконий Педиан был грамматиком, жившим в царствование Тиберия, и его комментарии к речам Цицерона, насколько это возможно, очень полезны для объяснения нам смысла речи оратора. У нас есть его примечания к этим двум корнелийским орациям и некоторым другим, особенно к оратории "Про Милона". Есть также комментарии к некоторым верринским орациям - не Аскония, а некоего писателя, которого сейчас называют Псевдо-Аскония, но долгое время предполагали, что он происходит от Аскония. Они также проясняют многое из того, что в противном случае было бы для нас неизвестно.

146 Квинт, lib. viii., 3. Критик объясняет влияние орнамента в ораторском искусстве, той красоты языка, которая в народе имеет больший эффект, чем аргументы, и сам врывается в, возможно, самый красноречивый пассаж во всем Институте: "Цицерон, выступая в защиту Корнелия, сражался оружием, которое было столь же великолепным, сколь и сильным. Не просто излагая факты перед судьями, говоря полезно, хорошим языком и ясно, ему удалось заставить римский народ признать голосами и руками свое восхищение; именно величие его слов, их величественность, красота, достоинство вызвали этот взрыв".

147 Orator., lxvii. и lxx.

148 De Lege Agraria, ii., 2: "Meis comitiis non tabellam, vindicem tacitæ libertatis, sed vocem vivam præ vobis, indicem vestrarum erga me voluntatum ac studiorum tulistis. Itaque me * * * una voce universus populus Romanus consulem declaravit".

149 Sall., Conj. Catilinaria, xxi.: "Petere consulatum C. Antonium, quem sibi collegam fore speraret, hominem et familiarem, et omnibus necessitudinibus circumventum." Саллюст, несомненно, вложил бы в уста Катилины все, что угодно, лишь бы это соответствовало его целям; но для его цели было необходимо, чтобы он ограничился правдоподобными сведениями.

150 Сам Цицерон рассказывает, что по его приказу было послано много писак - "Plures librarii", как он их называет, - чтобы записать слова аграрного закона, который предложил

Рулл. De Lege Agra., ii., 5. Плиний, Квинтилиан и Марциал говорят об этих людях как о нотариях. Марциал объясняет характер их деятельности:

"Currant verba licet, manus est velocior illis; Nondum lingua suum, dextra peregit opus."-xiv., 208.

151 Ad Att., ii., 1. "Оратиункулы", - называет он их. Здесь кажется, что он притворяется, будто сохранил эти речи только по просьбе некоторых восхищенных молодых друзей. Демосфен, конечно, был "согражданином", названным так в бадинаже, потому что Атик, покинув Рим, много жил в Афинах.

152 Эта речь, которая была утеряна, была обращена к народу с целью примирить его с законом, согласно которому эквиты имели право на особые места в театре. Она была полностью успешной.

153 Сохранившаяся речь была произнесена в защиту старика, которого обвинили в политическом убийстве за тридцать семь лет до этого - он убил Сатурнина, то есть трибуна. Цицерон потерпел неудачу, но Рабирий был спасен обычным ухищрением - вмешательством предзнаменований. В этой оратории есть несколько прекрасных пассажей.

154 Она была утеряна. Цицерон, хотя и признавал незаконность проскрипций Суллы, показывал, что их последствия теперь невозможно обратить вспять без новых революций. В этом случае он добился своего.

155 Это было упущено. Цицерон, в соответствии с практикой того времени, получил право на управление провинцией, когда перестал быть консулом. Богатая провинция Македония досталась ему по жребию, но он передал ее своему коллеге Антонию, тем самым купив если не сотрудничество Антония, то, во всяком случае, его спокойствие в отношении Катилины. Он также передал провинцию Галлию, которая досталась ему по жребию, Метеллу, не желавшему покидать город. Все это пришлось объяснять народу.

156 Как видно, он также защищал Рабирия в год своего консульства, но не счел нужным включить это в число своих консульских речей. Некоторые сомнения были высказаны, особенно г-ном Тирреллом, относительно подлинности письма Цицерона, в котором приводится список его "консульских речей", поскольку речи Pro Murena и Pro Pisone были опущены, и как содержащие некоторые "довольно нецицероновские выражения". Мое уважение к учености и суждениям г-на Тиррелла столь велико, что я едва ли осмелюсь высказать мнение, противоположное его; но мне было бы жаль исключить письмо, столь цицероновское по своему чувству. И если мы будем иметь право исключать без доказательств, то на чем мы остановимся?

157 Corn. Непо., Эпаминондас, I.: "Мы знаем, что у нас" (римлян) "музыка чужда занятиям великого человека. Танцевать было бы равносильно пороку. Но у греков эти вещи не только приятны, но и похвальны".

158 Conj. Catilinaria, xxv.

159 Гораций, Epis. i., xvii:

"Si sciret regibus uti Fastidiret olus qui me notat".

160 Pro Murena, xxix.

161 Pro Murena, x. Этот Сульпиций впоследствии был консулом вместе с М. Марцеллом, а во времена Филиппиков был послан в составе делегации к Антонию. Он умер во время

путешествия. Говорят, что он был человеком с прекрасным характером и убежденным консерватором.

162 Pro Murena, xi.

163 Там же, xi.

164 Там же, xii.

165 Там же, xiii.

166 Там же, xi.

167 Pro Cluentio, 1.

168 De Lege Agraria, ii., 5.

169 Здесь он ссылается на своего коллегу Антония, за которым в течение всего года пребывания в должности ему приходилось следить, чтобы второй консул не присоединился к врагам, которых он опасался, - поддержал бы Рулла или перешел на сторону Катилины. С этой целью, выбирая меньшее из двух зол, он подкупает Антония правительством Македонии.

170 De Lege Agraria, i., 7 и 8.

171 Право "воображения" принадлежало тем, чьи предки считались эдилами, преторами или консулами. Потомки таких офицеров имели право на то, чтобы эти изображения, выполненные из бронзы, мрамора или воска, несли на похороны их друзей.

172 Сорок лет спустя Марий, который тоже был "novus homo" и тоже, что примечательно, из Арпинума, стал консулом, но не при таких славных обстоятельствах, как сейчас описывает Цицерон.

173 De Lege Agraria, ii., 1, 2 и 3.

174 См. Введение.

175 Плиний Старший, Hist. Nat., lib. vii., ca. xxxi.

176 Слово "proscripsisti", "вы его проскрибировали". Чтобы правильно понять это, необходимо рассмотреть отношение Цицерона к Антонию в течение всего периода "Филиппик".

177 Catiline, by Mr. Beesly. Fortnightly Review, 1865.

178 Pro Murena, xxv.: "Quem omnino vivum illinc exire non oportuerat." Думаю, из этого следует заключить, что Цицерон почти ожидал, что его нападки на заговорщиков в первой катилиновской оратории приведут к тому, что он будет убит.

179 Энеида, viii., 668:

"Te, Catilina, minaci Pendentem scopulo".

180 Velleius Paterculus, lib. ii., xxxiv.

181 Ювенал, Sat. ii., 27: "Catilina Cethegum!". Может ли такой, как Катилина, ответить такому, как Цетегус? Sat. viii., 232: "Arma tamen vos Nocturna et flammæ domibus templisque parastis". Катилин, несмотря на свою благородную кровь, попытался сжечь город. Sat. xiv., 41: "Catilinam quocunque in populo videas". Трудно найти хорошего человека, но легко наложить руку на Катилину.

182 Val Maximus, lib. v., viii., 5; lib. ix., 1, 9; lib. ix., xi., 3.

183 Флор, либ. iv.

184 История Рима Моммзена, книга v., глава v.

185 Я чувствую себя вынужденным здесь упомянуть об отношении к Катилину декана Меривейла в его небольшой работе о двух римских триумvirатах. Симпатии декана очень близки к симпатиям мистера Бизли, но он слишком высоко ценит свое собственное историческое суждение, чтобы позволить ему идти наравне с симпатиями мистера Бизли. "Подлинные замыслы, - говорит он, - печально известного Катилина и его сообщников действительно всегда должны оставаться окутанными тайной". * Тем не менее, невозможно отрицать, да и в целом было бы неразумно сомневаться, что такой заговор действительно существовал, и что само существование содружества на мгновение оказалось под серьезной угрозой". Сомневаться в этом, конечно, неразумно. Но Декан, хотя и называет Катилина позорным и признает факт заговора, тем не менее дает нам множество доказательств своей симпатии к заговорщикам или, скорее, сильных чувств против Цицерона. Говоря о Катилине в определенный момент, он говорит, что тот "еще не был выслежен". Он говорит о "выскачке Цицероне" и ясно показывает нам, что его сердце на стороне того, кто был на стороне Сезара. Заговор или не заговор, с массовыми убийствами и грабежами или без них - один хозяин с сильной рукой был единственным лекарством, необходимым для Рима! Читатель должен понять, что единственной целью Цицерона в общественной жизни было противостоять этому уроку.

186 Асконий, "In toga candida", сообщает, что Фенестелла, писатель времен Августа, заявил, что Цицерон защищал Катилину; но Асконий приводит свои причины не верить этому рассказу.

187 Цицерон, однако, заявляет, что он проводит различие между предателями своей страны и другими преступниками. Pro P. Sulla, ca. iii.: "Verum etiam quædam contagio sceleris, si defendas eum, quem obstrictum esse patriæ parricidio suspicere." Далее в той же оратории, ок. vi., он объясняет, что отказался защищать Автрония, потому что знал, что Автроний был заговорщиком против его страны. Я не могу признать истинность аргумента, в котором мистер Форсайт защищает практику английской адвокатуры в этом отношении, и при этом сильно давит на Цицерона. "В Риме, - говорит он, - все было иначе. Там считалось, что адвокат обладает гораздо более широкой свободой действий, чем мы допускаем". Ни в Риме, ни в Англии адвокат не считался опозоренным, если брался защищать плохих людей, которые были заведомо виновны. То, что может делать английский барристер, римский адвокат не должен был делать в отношении простых преступников. Цицерон сам объяснил в процитированном мною отрывке, чем римская практика отличалась от нашей в отношении государственной измены. Он также заявил, что ничего не знал о первом заговоре, когда предложил защищать Катилина на основании провинностей. Ни один писатель не осуждал Гортензия за то, что тот защищал Верреса, но только потому, что тот брал взятки от Верреса.

188 Публий Корнелий Сулла и Публий Автроний Пит.

189 Pro P. Sulla, iv. Он заявляет, что ничего не знал о первом заговоре, и объясняет причину: "Quod nondum penitus in republica versabar, quod nondum ad propositum mihi finem honoris perveneram, quod mea me ambitio et forensis labor ab omni illa cogitatione abstrahebat."

190 Саллюст, Catilinaria, xviii.

191 Ливий, Эпитома, lib. ci.

192 Суетоний, И. Цезарь, ix.

193 Моммзен, кн. v., прим. v., говорит о Цезаре и Крассе в отношении этого периода, "что это печально известное действие с поразительной точностью соответствует тайным действиям, которые этот отчет приписывает им". Этим он хочет сказать, что они, вероятно, были причастны к заговору.

194 Саллюст рассказывает в "Катилинерии", xlix, что Цицерон был подстрекаем особыми врагами Цезаря, чтобы включить Цезаря в обвинение, но отказался впутать себя в столь великое преступление. Красс также был обвинен, но, вероятно, несправедливо. Саллюст утверждает, что была предпринята попытка убить Цезаря, когда он покидал сенат. Вероятно, была какая-то ссора и суета, но не более того.

195 Саллюст, Catilinaria, xxxvii.: "Omnino cuncta plebes, novarum rerum studio, Catilinæ incepta probabat." Под словами "novarum rerum studio" - любовь к революции - мы можем понять, какую популярность хотел выразить Саллюст.

196 Pro Murena, xxv.

197 "Darent operam consules ne quid detrimenti respublica capiat".

198 Catilinaria, xxxi.

199 Квинтилиан, lib. xii., 10: "Quem tamen et suorum homines temporum incessere audebant, ut tumidiorem, et asianum, et redundantem."

200 Orator., xxxvii.: "A nobis homo audacissimus Catilina in senatu accusatus obmutuit."

201 2 Catilinaria, xxxi.

202 В первом из них, адресованном сенату, гл. ix., он заявляет самому Катилине следующее: "Si mea voce perterritus ire in exsilium animum induxeris, quanta tempestas invidiæ nobis, si minus in præsens tempus, recenti memoria scelerum tuorum, at in posteritatem impendeat." Далее он заявляет, что вытерпит все это, если таким образом сможет спасти Республику. "Sed est mihi tanti; dummodo ista privata sit calamitas, et a reipublicæ periculis sejungatur."

203 Саллюст, Catilinaria, xli.: "Itaque Q. Fabio Sangæ cujus patrocínio civitas plurimum utebatur rem omnem uti cognoverant aperiunt."

204 Гораций, Ep. xvi., 6: "Novisque rebus infidelis Allobrox". Несчастный савоярец из этой линии был известен в веках как заговорщик, лживый даже по отношению к своим товарищам по заговору.

Ювенал, vii., 214: "Rufum qui toties Ciceronem Allobroga dixit". Некий Руф, выступая в роли адвоката, вздумал низложить Цицерона, назвав его аллоброгом.

205 Слова, в которых ему была оказана эта честь, он повторяет сам: "Quod urbem incendiis, cæde cives, Italiam bello liberassem" - "потому что я спас город от огня, граждан от резни, а Италию от войны".

206 В любом ораторском искусстве необходимо читать что-то между строк. Оратору позволено добиваться эффекта, преуменьшая и преувеличивая. Я думаю, что мы должны кое-что убавить от похвал, воздаваемых военным достоинствам Катилина. Чем больше Катилина можно было представить, тем больше чести было бы изгнать его из города.

207 In Catilinam, iii., xi.

208 В "Катилине", там же, xii: "Ne mihi noceant vestrum est providere".

209 "Принц сената" был почетным титулом, который присваивался какому-нибудь знатному человеку в качестве достоинства - в этот период какому-нибудь бывшему консулу; он не давал никакой власти. Цицерон, консул, созвавший сенат, обращался к ораторам по своему усмотрению.

210 По словам Саллюстия, Цезарь ссылался на Lex Porcia. Цицерон ссылается и заставляет Цезаря ссылаться на Lex Sempronia. Порцианский закон, как сообщает нам Ливий, был принят до 299 года, и запрещал бичевать или предавать смерти римлян. Lex Sempronia был введен К. Гракхом и устанавливал, что жизнь гражданина не может быть отнята без голоса граждан.

211 Velleius Paterculus, xxxvi.: "Consulatus Ciceronis non mediocre adjecit decus natus eo anno Divus Augustus."

212 In Pisonem, iii.: "Sine ulla dubitatione juravi rempublicam atque hanc urbem mea unius opera esse salvam."

213 Дион Кассий рассказывает ту же историю, lib. xxxvii., ок. 38, но добавляет, что Цицерона ненавидели больше, чем когда-либо, из-за клятвы, которую он дал: καὶ ὃ μὲν καὶ ἐκ τοῦτου πολὺ μᾶλλον ἐμισήθη.

214 Это единственное письмо в сборнике, адресованное непосредственно Помпею. В двух письмах, написанных несколько лет спустя Аттику, ок. 49 г., lib. viii., 11, и lib. viii., 12, он посылает копии переписки между собой и Помпеем и двумя помпеянскими генералами.

215 Lib. v., 7. Вряд ли стоит объяснять, что младшие Сципион и Лелий были столь же известны своей дружбой, как Пилад и Орест. Гораций прославил "Virtus Scipiadæ et mitis sapientia Læli".

216 Эти два брата, ни один из которых не отличался выдающимися качествами, хотя они оба должны были стать консулами, были последними известными представителями великого рода Метелли, ветви "Gens Sæcilia". Среди них было немало тех, кто прославился в римской истории благодаря территориям, присоединенным к зарождающейся Римской империи в результате их побед. Среди них были Македонский, Нумидийский, Балеарский и Критский. Именно первому из них Веллеус Патеркул поет славу - Lib. i., са. xi., а старший Плиний повторяет эту историю, Hist. Nat., vii., 44) о том, что его несли в могилу четыре сына, из которых на момент смерти трое были консулами, один - претором, двое - триумфаторами, а один - цензором. Просматривая консульский список при жизни Цицерона, я обнаружил, что в нем было не менее семи человек из семьи Метеллов. Эти два брата, Метелл Непос и Целер, снова стали друзьями Цицерона; Непос, который прервал его речи и помог отправить его в

изгнание, в качестве консула помог добиться его отзыва из ссылки. Очень трудно уследить за поворотами и переменами римской дружбы в этот период.

217 Веллий Патеркул, lib. ii., ca. xiv. Патеркул рассказывает, как, когда архитектор предложил построить дом так, чтобы скрыть его внутреннее убранство от посторонних глаз, Друз пожелал, чтобы тот построил его так, чтобы весь мир мог видеть, что он делает.

218 Возможно, стоит привести перевод этого анекдота, рассказанный Аулуsom Геллием, и отметить, что автор хотел показать, каким умным человеком был Цицерон. В этом году Цицерон действительно защищал П. Суллу; но откуда взялась история о деньгах, взятых у Суллы, мы не знаем. "Риторика - это хитрая уловка признавать выдвинутые обвинения, чтобы не попасть в поле зрения закона. Так что, если будет выдвинуто какое-нибудь обвинение, которое нельзя опровергнуть, можно отвести его в сторону шуткой и сделать его предметом смеха, а не позора, как, например, поступил Цицерон, когда с помощью шутливого слова он сделал малозначительным обвинение, которое не мог опровергнуть. Когда ему захотелось купить дом на Палатинском холме, а готовых денег не было, он незаметно занял у П. Суллы, который в то время должен был предстать перед судом, "sestertium viciens" - двадцать миллионов сестерций. Когда об этом стало известно, еще до совершения покупки, и ему возразили, что он занял деньги у клиента, Цицерон, подстрекаемый неожиданным обвинением, отказался от займа, а также от того, что собирался купить дом. Но когда он купил его и фибра была брошена ему в зубы, он от души рассмеялся и спросил, неужели люди настолько потеряли рассудок, что не понимают, что благоразумный отец семейства скорее откажется от намеченной покупки, чем поднимет цену на товар против себя" - *Noctes Atticae*, xii., 12. Аулуc Геллий, хотя и сообщает нам, что эта история была написана, не говорит, где он ее прочитал.

219 Я должен сказать, что это "темп" г-на Тиррелла, который в своем примечании к письму к Аттику, lib. i., 12, пытается показать, что была заключена некая сделка за такой профессиональный гонорар. Считая мистера Тиррелла критиком всегда справедливым и почти всегда удовлетворительным, я сожалею, что вынужден с ним расходиться; но мне кажется, что и он увлекся ощущением, что, защищая характер человека, лучше всего отказаться от некоторых пунктов.

220 Меня позабавило, что я нашел красноречивую и самую восторженную речь в похвалу Цицерону и особенно этой оратории, произнесенную М. Герольтом в Колледже Франции в июне 1815 года. Худшие литературные недостатки, вменяемые в вину Цицерону, если они были совершены им - что, по мнению месье Герольта, сомнительно, - были совершены даже Вольтером и Расином! Ученый француз, которому я полностью симпатизирую, впадает в экстаз бурного восхищения, и это в тот самый момент, когда происходило сражение при Ватерлоо. Но на самом деле великие дела мира мало влияют на индивидуальную жизнь. Мы должны были бы играть в вист в клубах, даже если бы в это время происходила битва при Доркинге.

221 Pro P. Sulla, iv.: "Scis me * * * illorum expertem temporum et sermonum fuisse; credo, quod nondum penitus in republica versabar, quod nondum ad propositum mihi finem honoris perveneram. * * * Quis ergo intererat vestris consiliis? Omnes hi, quos vides huic adesse et in primis Q. Hortensius."

222 Ad Att., lib. i., 12.

223 Ad Att., lib. i., 13.

224 Ibid., i., 14.

225 Ibid., i., 16: "Vis scire quomodo minus quam soleam praeliatus sum".

226 "Ты купил прекрасный дом", - сказал Хлодий. "В твоих словах было бы больше смысла, если бы ты мог обвинить меня в покупке судей", - ответил Цицерон. "Судьи не доверят тебе под твоей клятвой", - сказал Клодий, имея в виду алиби, с помощью которого он скрылся от клятвы Цицерона. "Да, - ответил Цицерон, - двадцать пять доверились мне; но ни один из тридцати одного не доверился бы тебе, не получив предварительно взятку".

227 Ad Att., i., 14: "Proxime Pompeium sedebam. Intellexi hominem moveri".

228 Там же: "Quo modo ἐνεπερπερευσάμην, novo auditori Pompeio".

229 Mommsen, book v., chap. vi. Это, вероятно, взято из высказывания Патеркула, lib. ii., 40: "Quippe plerique non sine exercitu venturum in urbem adfirmabant, et libertati publicæ statuturum arbitrio suo modum. Quo magis hoc homines timuerant, eo gratior civilis tanti imperatoris reditus fuit." Несомненно, многие боялись, что Помпей вернется так же, как Сулла: не из-за признаков, которые можно найти в характере Помпея, а потому что так поступил Сулла.

230 Флор, lib.ii., xix. Описав нам осаду Нумантии, он продолжает: "Hactenus populus Romanus pulcher, egregius, pius, sanctus atque magnificus. Reliqua seculi, ut grandia æque, ita vel magis turbida et fœda".

231 Мы не располагаем поэмой Поллио о заговоре, но у нас есть запись Горация о поэме Поллио:

Motum ex Metello consule civicum, Bellique causas et vitia, et modos, Ludumque Fortunæ, gravesque Principum amicitias, et arma Nondum expiatis uncta cruoribus, Periculosæ plenum opus aleæ, Tractas, et incedis per ignes Suppositos cineri doloso.-Odes, lib. ii., 1.

232 Немецкий индекс появился - намного позже оригинальной работы - в 1875 году.

233 Моммзен, lib. v., гл. vi. Я не могу признать, что Моммзен строго точен, поскольку у Сезара не было реальных представлений о демократии. Он хотел быть главой олигархов и, как таковой, заискивать перед народом.

234 Что касается характера Сезара в целом, я бы отослал читателей к Суетонию, чья жизнь великого человека, на мой взгляд, более наглядна, чем все, что было написано с тех пор. Для его анекдотов практически нет доказательств. Его факты не все исторические. Его знания были гораздо менее точными, чем у современных писателей, которые имеют возможность исследовать и сравнивать. Но в нем было достаточно истории, биографии и традиций, чтобы составить верное представление о человеке. Сам он как рассказчик не был ни особо дружелюбным, ни особо враждебным. Он рассказал то, во что верили в то время, и нарисовал характер, который прекрасно согласуется со всем, что мы узнали с тех пор.

235 Никто не описывал так хорошо характер и цели Триумvirата, как Лукан, которому, как бы он ни был напыщен, все же удастся донести до читателя те идеи относительно лиц и событий, которые он хочет передать. Я рискнул привести в Приложении Е упомянутые отрывки с таким переводом в прозе, какой мне удалось сделать. Его можно найти в конце этого тома.

236 Плутарх-Красс: καὶ συνέστησεν ἐκ τῶν τριῶν ἰσχυρὸν ἄραχον.

237 Velleius Paterculus, lib. ii., 44: "Hoc igitur consule, inter eum et Cn. Pompeium et M. Crassum inita potentiæ societas, quæ urbi orbique terrarum, nec minus diverso quoque tempore ipsis exitiabilis fuit." Suetonius, Julius Cæsar, xix., "Societatem cum utroque iniit". Офицеры, называемые триумвирами, были довольно распространены, как и квинквiry и децемвiry. Ливий говорит о "триумвирате" - точнее, о двух таких должностях, занимаемых одним человеком -ix., 46. Мы также помним того негодяя, которого Гораций приговорил к смерти, Epod. iv.: "Sectus flagellis hic triumviralibus". Но это слово, хотя и было в обиходе, не применялось к этому заговору.

238 Ad Att., lib.ii., 3: "Is affirmabat, illum omnibus in rebus meo et Pompeii consilio usurum, daturumque operam, ut cum Pompeio Crassum conjungeret. Hic sunt hæc. Conjunctio mihi summa cum Pompeio; si placet etiam cum Cæsare; reditus in gratiam cum inimicis, pax cum multitudine; senectulis otium. Sed me κατακλεις mea illa commovet, quæ est in libro iii.

"Interea cursus, quos prima a parte juventæ Quosque adeo consul virtute, animoque petisti, Hos retine, atque, auge famam laudesque bonorum."

239 Гомер, Илиада, lib. xii., 243: Εἷς οἰωνὸς ἄριστος ἀμύνεσθαι περὶ πάτρας.

240 Middleton's Life of Cicero, vol. i., p. 291.

241 Pro Domo Sua, xvi. Это была оратория, как читатель вскоре узнает более подробно, в которой оратор просил восстановить его городское поместье после возвращения из изгнания. Однако есть сомнения в том, что эта речь в том виде, в котором мы ее имеем, вообще была произнесена Цицероном.

242 Суетоний, Юлий Цезарь, xx.

243 Ad Att., lib.ii., 1: "Quid quæris?" - говорит Цицерон. "Conturbavi Græcam nationem" - "Я привел в трепет всю Грецию".

244 De Divinatione, lib. i.

245 Ad Quin. Fratrem, lib.i., 1: "Non itineribus tuis perterreri homines? non sumptu exauriri? non adventu commoveri? Esse, quocumque veneris, et publice et privatim maximam lætitiā; quum urbs custodem non tyrannum; domus hospitem non expilatorem, recipisse videatur? His autem in rebus jam te usus ipse profecto erudivit nequaquam satis esse, ipsum hasce habere virtutis, sed esse circumspiciendum diligentur, ut in hac custodia provinciæ non te unum, sed omnes ministros imperii tui, sociis, et civibus, et reipublicæ præstare videare."

246 Ad Quin. Fratrem, lib. i., 1: "Ac mihi quidem videntur huc omnia esse referenda iis qui præsent aliis; ut ii, qui erunt eorum in imperio sint quam beatissimi, quod tibi et esse antiquissimum et ab initio fuisse, ut primum Asiam attigisti, constante fama atque omnium sermone celebratum est. Est autem non modo ejus, qui sociis et civibus, sed etiam ejus qui servis, qui mutis pecudibus præsit, eorum quibus præsit commodis utilitatique servire."

247 "Hæc est una in toto imperio tuo difficultas".

248 Моммзен, кн. v., прим. 6.

249 Моммзен, т. v., прим. vi.

250 Ad Att., lib.ii., 7: "Atque hæc, sin velim existimes, non me abs te κατὰ τὸ πρακτικὸν quærere, quod gestiat animus aliquid agere in republica. Jam pridem gubernare me tædebat, etiam quum licebat."

251 Ad Att., lib.ii., 8: "Scito Curionem adolescentem venisse ad me salutatum. Valde ejus sermo de Publio cum tuis litteris congruebat, ipse vero mirandum in modum Reges odisse superbos. Peræque narrabat incensam esse juventutem, neque ferre hæc posse." "Превосходными" были Цезар и Помпей.

252 Ad Att., lib.ii., 5: Αἰδέομαι Τρῶας καὶ Τρῳάδας ἑλκεσιπέπλους.-Il., vi., 442. "Я боюсь, что сказала бы обо мне миссис Гранди", - такова домашняя версия мистера Тиррелла. Я думаю, что Цицерон, когда приводил слова Гектора, парил выше, чем обычная ссылка на нашего старого знакомого критика.

253 Quint., xii., 1.

254 Enc. Britannica on Cicero.

255 Ad Att., lib. ii., 9.

256 Там же: "Festive, mihi crede, et minore sonitu, quam putaram, orbis hic in republica est conversus". "Orbis hic", это круглое тело из трех человек - Триумвират.

257 Мы не можем не вспомнить угрозу Горация, Sat., lib. ii., 1:

"At ille Qui me commorit, melius non tangere! clamo, Flebit, et insignis tota cantabitur urbe".

258 Ad Att., lib.ii., 11: "Da ponderosam aliquam epistolam".

259 Josephus, lib. xviii., ca. 5.

260 Ad Att., lib. ii., 16.

261 Ad Att., lib. ii., 18: "A Cæsare valde liberaliter invitor in legationem illam, sibi ut sim legatus; atque etiam libera legatio voti causa datur."

262 De Legibus, lib.iii., ca.viii.: "Jam illud apertum prefecto est nihil esse turpius, quam quenquam legari nisi republica causa."

263 Отсюда видно, как стремился Цезар обеспечить его молчание, и в то же время как решительно он был настроен не отстранять его, если не сможет обеспечить его молчание.

264 Ad Quintum, lib. i., 2.

265 Из этого последнего предложения я взял перевод, сделанный г-ном Тирреллом, который ввел особое прочтение оригинала, которое, кажется, оправдывается смыслом.

266 Макробий, Сатурналии, lib.ii., ca.i.: Нам рассказывают, что Цицерона называли консульским шутом. "И я, - говорит Макробий, - если бы это не было слишком долго, мог бы рассказать, как своими шутками он выводил из игры самых виновных преступников". Затем он рассказывает историю Луция Флакка.

267 См. свидетельство Аскония по этому вопросу, в отношении которого поведение Цицерона было во многом ошибочным. Вскоре мы перейдем к суду над Милоном.

268 Это утверждение сделано г-ном Тирреллом в его биографическом введении к Посланиям.

269 600 лет, или annī DC., используется для обозначения неограниченной будущности.

270 История Моммзена, книга v., ок. v.

271 Αὐτόμαλος ὠνομάζετο - фраза Дио Кассия. "Levissume transfuga" - перевод, сделанный автором "Декламации в Цицероне". Если бы я мог отважиться на жаргонную фразу, то сказал бы, что αὐτόμαλος был человеком, который "срывался с крючка". Но ни один человек не был более верным политическим приверженцем, чем Цицерон.

272 Ad Att., ii., 25.

273 Мы не знаем, когда состоялся этот брак и каковы были его обстоятельства, но нам известно, что когда Туллия в следующем, 57 году до н. э., приехала к отцу в Брундизий, она была вдовой.

274 Suetonius, Julius Cæsar, xii.: "Subornavit etiam qui C. Rabirio perduellionis diem diceret".

275 "Qui civem Romanum indemnatum perimisset, ei aqua at igni interdiceretur".

276 Плутарх рассказывает нам об этом прозвище, но называет другую причину, столь же пагубную для репутации дамы.

277 Ad Att., lib. iii., 15.

278 In Pisonem, vi.

279 Ad Att., lib. x., 4.

280 Корнелий Непос в своей жизни Аттика сообщает, что, когда Цицерон бежал из своей страны, Аттик дал ему двести пятьдесят сестерций, или около 2000 фунтов стерлингов. Однако я сомневаюсь, что бегство, о котором здесь идет речь, не было тем ранним визитом в Афины, который Цицерон, как предполагается, совершил в страхе перед Суллой.

281 Ad Fam., lib. xiv., iv.: "Туллий к своей Теренции, и к своей молодой Туллии, и к своему Цицерону", то есть к своему мальчику.

282 Pro Domo Sua, xxiv.

283 Ad Quin. Fra., 1, 3.

284 Читатель, желающий понять, в условиях какой анархии мог до сих пор существовать самый большой город в мире, должен обратиться к главе viii. книги v. "Истории" Моммзена.

285 Ad Att., lib. iii., 12.

286 Гораций, Epis., lib. ii., 1.

287 Ad Att., lib. i., 8.

288 Гораций, Epis., lib. ii., 11. Перевод принадлежит Конингтону.

289 Vell. Pat., lib. i., xiii.

290 "Civile"; когда Сулла с Помпеем под его началом сражался с молодым Марием и Цинной.

291 "Africanum"; когда он сражался с Домицием, зятем Цинны, и с Гиарбасом.

292 "Трансальпинум"; во время похода через Галлию в Испанию.

293 "Hispaniense", в котором он победил Сертория.

294 "Сервилий"; война со Спартаксом, с рабами и гладиаторами.

295 "Navale Bellum"; война с пиратами.

296 Для полного понимания этой часто цитируемой строки читатель должен ознакомиться с походом Катона по Ливии после смерти Помпея, о котором рассказывает Лукан в 9-й книге.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ТОМА.